ЭРОС



ЭРОС

СТРАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

СТРАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ





ЭРОС

МОСКВА
ГА «АСПОЛ» · ОЛИМП
РИК «МИЛОСЕРДИЕ»
1992

ББК 84(0)
Э81

В этой книге читатель встретится с произведениями. вошедшими в сокровищницу мировой литературы, истории и философии. Библия и древнегреческий писатель Лонг, русский философ Владимир Соловьев и французский прозаик Симона де Бовуар, всемирно известная «Лолита» Владимира Набокова и нашумевшие романы маркиза де Сада, приключения любовницы Наполеона I — Марианны и средневековый трактат о ведьмах... Так писали о любви в давние времена, так пишут о ней сегодня.

Философские маргиналии профессора **П. С. Гуревича**

В оформлении книги использованы работы Обри Бердслея и других художников

Э $\frac{4701000000-006}{Б\ 69(01)-91}$ без объявл.
ISBN 5—87056—006—3



Все женское, текучее, земное.
М.ВОЛОШИН

Эта книга необычна и по замыслу, и по жанру. Читатель не отыщет здесь утилитарных советов, направленных на устранение недавней неосведомленности. Но менее всего автору хотелось бы увлечь тех, кто купил книгу, в область выморочных аскетических мудростей. Ирония не изгоняет здесь романтические чувства, а идеальное переживание не чуждо живой страсти, острому и неодолимому вожделенню...

Как литератор я не могу не поразиться тем эксцентрическим формам, которые сопутствуют неожиданному высвобождению страстей в стране, пережившей долгое принудительное пуританство. Но как ученый, обратившийся к проблемам философии любви, я знаю, что такие волны (от аскетизма к шабашу и наоборот) — не редкость в истории. Новое поколение как бы заново открывает для себя тайны эроса. А он — многолик...

Загадочен, необъясним человек. Мы так много рассуждаем о нем. Но так редко обращаем на него свой взор, когда он захвачен страстью. А ведь именно в этот миг открывается в нем всечеловеческое, надмирное и земное. Ближе всех к осознанию этой мысли подошли экзистенциалисты, представители видного философского течения на Западе. Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Габриэль Марсель пытались понять, как влияют на человеческое существование такие состояния конкретного индивида, как забота, страх, надежда. Вероятно, о многих проявлениях человеческой души можно сказать словами Марины Цветаевой: «Я, ваша бессмертная страсть».

Страсти человеческие... Уникальные и бессмертные. Они возобновляются в каждом поколении и вместе с тем

сохраняют свою цельность на фоне другой эпохи. Любовь, страх, вера, властолюбие, фанатизм... Не они ли правят миром? Не через них ли проступает человеческое бытие? Проницательные мудрецы, писатели разных времен, стремились вглядеться в человека, захваченного сильнейшим порывом, войти в мир тончайших душевных переживаний, распознать в них тайны жизни. Вот и мы книгой «Эрос» хотим начать серию, куда войдут «Страх», «Вера», «Гнев», «Тоска»...

Долгие годы человек казался нам социологической абстракцией. Мы рассуждали о нем как о совокупности социальных ролей. Вот он — крестьянин, отец семейства, умелец, член партии... Но разве тайна человека исчерпывается его общественными функциями? Теперь мы все чаще задумываемся о том, что именно нечто хрупкое, не вполне гармоничное, неукротимо-стихийное и делает человека неизмеримо более значительным, интересным, нежели, скажем, идеально спроектированная машина.

Когда древние говорили: «Я человек и ничто человеческое мне не чуждо», они подразумевали эмоции и вожделения, тайные умыслы и страсти. Эти движения души уникальны: их нет в животном мире. Драма человеческого существования раскрывается именно в «упоении страстями». Среди них первозванной кажется нам любовь... Ведь человечество ни одного дня не могло бы прожить без нее.

В этой книге мы будем размышлять о глубинном человеческом влечении, захватывающем все существо потомка Адама. Будучи универсальной и напряженной страстью, эрос пронизывает человеческое существование на протяжении всей жизни. Он, по сути дела, определяет фундаментальные основы бытия. И в то же время проявляет себя как глубоко индивидуальное, сугубо личностное, уникальное чувство. Эта страсть всеобъемлюща и неповторима, она принадлежит человеческому роду и лично мне, вам, ему. Знойное пламя эроса — вечное повторение и вечное открытие...

Итак, размышления об эросе, о том, как он проявляется в разных культурах, раскрывая глубинную тайну пола, о пасторальной и темной страсти, об удивительных сексуальных существах, о неожиданных и поразительных соблазнах сладострастия, о могучем предвозвещении необыкновенного чувства, о любви, которую Максимилиан Волошин назвал «лампадой снов, владычицей зачатий!». Эрос как одна из человеческих страстей, приближающих нас к философскому постижению человека...

У книги есть еще одна особенность. В ней соединены как собеседники писатели разных эпох, мудрецы, ученые, пророки. Диалог с ними призван побудить к раздумью. Зачем нужна такая книга? Прежде всего, чтобы отразить совокупный духовный опыт человечества. Люди на протяжении всего своего существования через литературу, через слово, осмысляли великое чувство — любовь и сопутствующие ей темные страсти.

Что такое любовь? Чем она отличается от эроса, от молитвенного экстаза? В библейской Песне Песней: «Стрелы любви — стрелы огненные...» Средневековый мистик Мейстер Экхарт также цитирует Библию: «Сильнее чем смерть любовь». Это она повелевает любить ближнего своего. Кромешные страсти так же изначальны, как и любовь. Они ее неизменный шлейф. В наш век психологи и философы пытаются осознать тайны психики. Вот почему в беседе принимают участие и современные ученые, приоткрывающие завесу над миром эроса.

Поговорим о странностях любви, о женском, текучем, земном... Начнем, разумеется, не от истоков, а с того, чем живы сегодня. Возможно, с элегической ноты, почти как у Ильи Ильфа: «Вот и пронеслась сексуальная революция, а счастья все нет...» Кажется, совсем недавно наши бабушки, в ту пору юные и очаровательные, молитвенно заклинали: «О любви не говори, о ней все сказано!..»

Неужели и в самом деле все? Вот прельстительная героиня давнего советского фильма «Моя любовь» говорит своему воздыхателю: «Если любишь, то крикни громко: «Я люблю!» Но надо ли о нахлынувшем чувстве оповещать всю страну? Особенно если вспомнить, какая наивная скопческая сексуальность проглядывала в лирических комедиях тех лет. В те годы «дальние, глухие» любовь воспринималась в нашей стране как нечто бесполое и победоносное.

Максим Горький прочитал великому вождю всех времен и народов свою сказку «Девушка и смерть». Тот не удержался от хвалебного отзыва: «Эта штука, — начертал он, — сильнее, чем «Фауст» Гете», и расшифровал: «Любовь побеждает смерть...» Состязаться с великим Гете, оказывается, совсем нетрудно. Тем более, что в «Фаусте» эта тема блистательно отсутствует. Но «штука», прославляющая всепобеждающее чувство, была так нужна нашему народу.

Мы, конечно, и тогда кое-что знали о любви... Седовласая учительница, полыхая смущением, рассказывала

нам о тычинках и пестиках, жаждущих опыления. Восторженно говорилось об ослепительном и прекрасном преклонении Маркса перед своей законной подругой. Владимир Ильич, храня верность Надежде Константиновне, увлеченно дискутировал с Инессой Арманд относительно захватанного стакана. Речь шла о свободной любви, и метафора призывала к целомудрию. Нравственной проповеди, как выяснилось, было недостаточно для очищения нравов. Карающий меч обрушивался на каждого, кто не сумел удержать собственные страсти в пределах, отмеченных тоталитаризмом...

Давно ли все это было? Рассказывая коллегам, как в конце 60-х годов закрыли руководимую мною социологическую лабораторию, я вдруг встретил изумленные взгляды. В распространенной нами анкете был вопрос, который обернулся для меня катастрофой. «Как вы относитесь к супружеской измене?» — спрашивали мы, чтобы получить хоть какое-нибудь представление о человеческих предпочтениях. Но разве можно провоцировать советского человека, который на голову выше любого зарубежного индивида, на ответ о его безоговорочной и домостроевской верности? Безнравственный вопрос получил должную оценку партократов, и это на долгие годы отшибло мою любознательность...

Сегодня — совсем иное... Буревестники сексуальной революции реют едва ли не на каждом углу. Гласность, как подметил один из публицистов, сделала открытыми все зоны — от исправительно-трудовых до эрогенных. Можно, например, купить по сходной коммерческой цене древние китайские трактаты об «искусстве спальни» или индийскую «Камасутру». Издатели добросовестно освобождают изложение от философских размышлений, от поэзии и романтизма. О любви не говори... Эротические гороскопы, рекомендации, как стать сексуальной женщиной, и «совершенно интимно» — техника секса. Из выброшенной на книжные прилавки продукции можно без труда составить небольшую библиотечку для сексуального маньяка...

Уже и психологи встревожились: их пациенты все чаще воспринимают собственного партнера как аналога машины. То же стремление добиться максимальной безотказности и полезности, такое же избирательное отношение к отдельным частям человеческого тела при безразличии к индивиду в целом. Прагматика чувств, освобожденных от личностного, индивидуального своеобразия...

Есть ли нужда в пылком осудительном слове? Не думаю... Изживая пуританство, невозможно не впасть в противоположную крайность. Предостережение, само собой понятно, не исключено. Но ситуация преходяща. В истории человечества так было не раз. На протяжении веков оценка человеческой телесности не оставалась неизменной. Плоть восхваляли, поносили, вновь восторгались. Эросу открывали невиданные горизонты и опять душили, истребляли. Между тем он постоянно возрождался, демонстрируя все новые и новые свои грани.

Эрос — это таинство. Человеческое бытие изначально разломлено, расколото. Каждый из нас воплощен творением конкретного пола. Только в этом, заведомо очерченном пространстве, человек может ощутить себя личностью. Не преступить поставленные пределы. Любой из нас лишен другой половины существования. Иная, мужская или женская, форма жизни оказывается невозможной. Обе начала заключены в человеке. Они властно зовут к несбыточному воссоединению. «Я знаю пламя, тоскующее в разделенности тел...»

Но ведь мы читали о так называемых транссексуалах, то есть о тех, кто, томясь своим природным предназначением, с помощью хирургии порывает с прежней, уготованной богом, ролью. Мужчина становится женщиной, а женщина — мужчиной... Но сбрасывается ли при этом ярмо пола? В предельном смысле, конечно, нет. Возможно, обретя иной физический и сексуальный облик, человек на протяжении одной жизни познает достоинство полярных биологических амплуа. Но, отчаливая в пространство другого естества, он утрачивает то, что было сопряжено с его прежним полом. Роковая разъединенность и для него остается непреодолимой. В иной ипостаси он продолжает искать недостижимую восполненность...

Та же картина и в универсальном космическом плане. Тоскуя по любимому существу в смертный час, человек, согласно древней мистической традиции, может воплотиться в последующей жизни в иной образ. Мысленно сливаясь с бесконечно дорогим созданием в миг земной кончины, он по звконам многократных возрождений обретает сходство с возлюбленной. Но это лишь усиливает трагическую сторону бытия. Как определится ее судьба в новом телесном облачении? Во что воплотится она в грандиозной космической драме? Ничто не соединит их. Ни смерть, ни могучий порыв чувств не разрывает круга заклятья...

Так, может быть, эрос — это и есть величайшая, неостановимая страсть, смутное томление по единению, таинственная устремленность людей, обреченных на смерть, к некоей вечной жизни? Влечение и утрата, гибель и обретение... Эту догадку высказал античный философ Платон в своем произведении «Пир» устами пророчицы Диотимы: тайна всякой любви — тоска по вечности, стремление человека устоять перед разрушительным потоком времени. Гонимый страхом смерти, человек возрождает себя в другом существе. Любовь — это вызов вечности перед фактом человеческой бренности.

Согласно Платону, рождение пола — это разрыв в первоначальной, единой и могучей природе. Переживание вечности, которое достигается в эросе, обеспечивает постижение божества, бессмертного и неустранимого. Бытие разделено на два мощных потока — бытие во времени и бытие вне всякого времени. Любовь — это томительное чувство воссоединения в целую индивидуальность.

Разгадать тайну любви означает, по существу, распознать феномен человека. Ведь каждый из нас, независимо от того, к какой культуре он принадлежит, пытается преодолеть одиночество, выйти за пределы собственной жизни, обрести сладчайший миг единения. В человеческой любви коренится та поэтическая сила, которая создала миф. По словам русского философа Николая Бердяева, Платон с гениальной божественной мощью постиг различие между Афродитой небесной и Афродитой простонародной, то есть любовью неземной, личной, ведущей к индивидуальному бессмертию, и любовью вульгарной, безлично-родовой, природной... Эрос, по-видимому, и в самом деле древнейший из богов, а любовь — универсальное чувство. Нет на земле такой культуры, где бы она отсутствовала. Эрос свойствен человеческой природе. Но как причудливо и неповторимо проявляется он в отдельной судьбе! Кто-то через всю жизнь проносит печать воздержания, преобразуя энергию секса в романтические чувства. Кто-то, напротив, в полной мере предается страстям, погружаясь в оргиастическую стихию. Любовь одухотворяет не только родительские или братские переживания. Она питает также молитвенное поклонение Богу.

Однако, несомненно, зачатки самых различных проявлений Эроса есть в каждом человеке. Будучи целомудренным, он знает подземные толчки страсти. Предаваясь вожделению, тоскует о романтическом обожании. Посвящая себя Богу, испытывает силу земных наважде-

ний. Трепеща от дьявольских внушений, обретает себя в живой любви. Ведая об утонченных изысках страсти, вместе с тем догадывается о ее неисчерпаемости...

Любовные чувства архетипичны, но культура, несомненно, оказывает воздействие на эротику. Господствующие стандарты поведения определяют форму массовых переживаний. Мне хотелось бы показать, как аскетизм замещает оргиастические страсти, как сексуальное буйство сменяется целомудрием. Прослеживая различные культурные воплощения Эроса, я менее всего хотел бы, чтобы они воспринимались читателем как исторические экскурсы. Каждый из нас может отыскать в себе отзвук тех или иных страстей, будь то любовь Суламифи и царя Соломона, Дафниса и Хлои, Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, маркиза де Сада и его подруг, почтенных бюргеров или современных панков. Захваченный любовным экстазом или, напротив, хранящий целомудрие, любой из читателей этой книги может увидеть в истории человечества проекцию собственных чувств.

В древних космогониях Эрос — это изначальная стихийная мощная страсть, которая приводит в действие механизм порождения мира. Образ живительной природы, вечной царицы бытия, был, скажем, неотторжимым компонентом мистических культов начала времен. Поклонение ей проявлялось в разнообразных формах, иногда аскетических, иногда бурных, оргиастических. Так, культ богини Изиды из древнеегипетской мифологии был сопряжен с отречением от земных радостей, с подвигами в честь богини плодородия. Жрецы даже оскопляли себя ради этого вечного символа супружеской верности и материнства. А вот в храмах Афродиты вершился обряд освященной проституции...

Древний человек стремился достичь оргиастических состояний с помощью природных наркотиков. Многие ритуалы первобытных племен подтверждают это. Сексуальное переживание усиливалось в группе, в первобытном коллективе. Массовые эротические оргии были частью первобытных обрядов. Чувство вины и стыда обычно исчезало. Если все поступают именно так, как предписывается знахарями и жрецами, если каждый испытывает при этом неизъяснимое блаженство, значит, это правильно и добродетельно. Когда я читаю сегодня в теологическом журнале прогноз: в храмах будущего века будут разрешены сексуальные оргии, я ощущаю связь времен...

В старинных мистериях разыгрывался акт кровавой оргиастической драмы. Люди превращались в исступ-

ленных богоубийц, а жестоких сладострастников. Они терзали тело бога, превращенное в пищу, вступали в мерзкое соитие с животными, с родными по крови. Вершились дела, о которых в нормальное время никто и не помышлял. Эрос обижал свою природную стихию. Темные, слепые страсти приводили к злодеянию. И вместе с тем несли в себе символический смысл. Этим достигался эффект катарсиса, целебного психологического взрыва.

Ужаснувшись разверзающейся бездне, участники мистерии завершали драму глубочайшим раскаянием. Они оплакивали жертву, рвали на себе одежды, покрывали собственное тело ранами, посыпали пеплом головы. Эрос не только увлекал в «недр души помраченье» (М.Цветаева), он просветлял душу, пробуждал совесть. Не позволяйте себе превратить этот ужас в повседневность — таков урок древних мистерий... Оказавшись действующими лицами драмы, опомнитесь, остановитесь, прокляните разрушительные страсти...

Проглядывая сегодня криминальную хронику, разве не ощущаем мы давний мистериальный шок? Любовь, оказывается, не только погоня за наслаждениями. Она связана с жестокостью, с азартом охоты... Мало получить обычное сексуальное удовольствие, надо еще выследить жертву, настичь, совокупиться и... убить. Какой непостижимый замес чувств! Не сталкиваемся ли мы тут с гримасой древнего мифа? Ведь философы усматривали в разъединенности человеческого существа вековечную драму. А здесь — совсем иное: отыскать свою половинку, чтобы непременно уничтожить. Есть от чего ужаснуться античному мудрецу. Неужели человек так отчаянно и злодейски реагирует на гибельный парадокс собственного бытия?

Но отчего в истории эти кровавые оргии соседствуют с примерами возвышенного целомудрия, одухотворенной любви? Почему романтические платонические чувства сменяются почитанием разнузданных наслаждений? Отчего даже в одной культуре мы видим разноликость Эроса? Ответ отчасти прост: все это заложено в человеческой природе. Он способен на самопожертвование и на предельное господство над телом другого человека. Спектр этих чувств необычайно широк. Отдельному индивиду или конкретной культуре остается только сделать то или иное предпочтение...

Что думает человек о любви? Ценит ли свое тело? Воспринимает его как священный сосуд или как вместилище мерзких вожделений? Ощущает универсальность Эроса или знает только одну его грань? Например,

в греческой философии и искусстве природа человека, его облик, его тело — ничто не подлежало сомнению, все представлялось идеалом совершенства и гармонии. Поскольку сын природы воспринимался как перл создания, греческое искусство стремилось воспроизвести, выразить человеческое тело в порыве одухотворенной страсти. Пластика эллинского искусства красноречиво говорит об этом. Древние философы высоко отзывались и о духе человека. Они говорили о достоинстве человека, о предназначенности любого его свойства. Любовь соответственно воспринималась как глубокое чувство, освященное богами. У изголовья влюбленных стояла Афродита, которая благословляла сближение тел и душевное влечение как радость жизни.

Постепенно в сознании античных греков возникло различие любви плотской и духовной. Чувственное влечение отражает представление о красоте человеческого тела. Поэтические переживания все более индивидуализируются. Платон полагал, что наслаждение, к которому стремится человек, должно быть в определенной степени обуздано. Аристотель же в противовес ему считал, что услаждение тела есть все-таки благо...

Однако любовь — это не только вихрь наслаждений. К концу древней эпохи эллинское представление о человеке сменилось другим воззрением. Сенека, например, не мог совместить моральные нормы стоиков с господствовавшим благоговением перед человеческой природой и чувственным наслаждением. Он отверг идею благости человеческого существа. Убеждение, согласно которому индивид нравственно нестоек и не может противостоять всесильному пороку, подвело Сенеку к мысли, что в самом человеке гнездятся неразумие, греховность. Поэтому тело может рассматриваться лишь как временное хранилище души. Ей же надлежит бороться с телом, ибо плоть приносит человеку одни муки. Культ тела сменился прославлением нетленной души, которая понималась как чистая и неприкосновенная.

Любовь имеет в качестве истока сексуальную чувственность. Но не исчерпывается ею. В ней есть нечто неизмеримо большее. Союз душ, самораскрытие личности. Поэтому древние греки различали разные формы любви. Выделяли, например, Эрот — обожествленный эрос. Или любовь-страсть, которая отождествлялась с безрассудством. Безумная любовь предполагала отреченность от разума. Отмечалась любовь как влечение, без роковых последствий. В целом же человеческая субъективность понималась как сплетение ума, страстей и воли.

Христианство принесло с собой радикальное переосмысление любви. Отныне она стала пониматься не только как человеческая страсть, но и как державная основа человеческого бытия. Братская любовь — это любовь ко всем людям. Не случайно главный объект человеческой любви в Ветхом Завете — бедняк, чужестранец, вдова и сирота и даже тот, кто является национальным врагом — египтянин и эдомит.

Личность при христианстве несет на себе отпечаток абсолютной благости творца. Она обретает некую самоценность. Реальный земной человек во всей неповторимости присущих ему физических и психических черт оценивается теперь как непреходящая и неоспоримая ценность. Телесность, которую прославляли древние эллины, в христианском идеале соотносится с духовностью. Любовь воспринимается отныне как святыня. Человеку, захваченному страстью, надлежит взращивать в себе чувства, через которые и раскрывается личностное богатство. Любовное переживание не только уникально. Оно носит также всеобъемлющий характер, потому что безграничны объекты этого чувства — Бог, ближний, дальний...

Разве нам не близки сегодня идеалы универсальной любви? Неужто мы глухи к индивидуальному содержанию эроса? Средние века нередко называют временем развития личности. Однако человек той эпохи находился в потоке самых различных культурных феноменов. Рыцарские возвышенные чувства соседствуют с образами грубой телесности, животной чувственности. Романтические куртуазные переживания нередко сочетаются с культом разнузданных наслаждений. С одной стороны, распространение христианства породило поклонение «вечной девственности». С другой, культура средневековья демонстрирует раблезианские образы «материально-телесного низа» (М.Бахтин).

Плоть в христианстве рассматривается как причина всех человеческих злоключений. Подлинной святостью окружается лишь фигура аскета, великомученика, страстотерпца. Победа над тягой к наслаждениям, половое воздержание становились смыслом земного бытия. Борьба с испорченными чувствами велась по всем направлениям. Даже самые невинные наслаждения объявлялись непозволительными. Но эротическое влечение приобретало при этом иной облик.

В самом деле, если кто-то отказывается от полового акта, это вовсе не означает, что он отрекается от любви. Ведь в эросе есть духовное начало. В эпоху средневековья

возник брак особого типа. Мужчина и женщина жили вместе под одной крышей. Однако не вели половой жизни. Это был так называемый духовный брак. Отшельники, отправляясь в пустыню, брали с собой служанок, но вовсе не для любовных утех. Делались попытки возвысить сексуальную любовь до сферы любви духовной.

Но в противовес этой романтической традиции укреплялась другая — прозаическая, низменная, реалистическая. В ней любовь содержала в себе лишь земные грубые черты. Все возвышенное третировалось как призрак, выдумка. Зато телесная любовь представала во всем великолепии своих мирских проявлений. На этой основе возник культ чувственности. У французского писателя Франсуа Рабле он находит преувеличенные, гротескные формы. Можно ли, например, нафантазировать, чтобы женщина могла забеременеть от тени монастырской колокольни? Писателю этот образ важен, чтобы усилить впечатление от земного сладострастия.

Церковь средних веков в целом не проводила различия между чувственностью и развращенностью. Человеческая сексуальность трактовалась как погибельная страсть. Но вот следующая эпоха ознаменовалась новым отношением к эросу, которое сопровождалось облагораживанием нравов и чувств. В культуре Возрождения получило признание эллинское воззрение о том, что жизнь соотнесена с человеческой природой. Мыслители той эпохи не сомневались, что человеческая красота сообразна с красотой божественной. Люди оценивались как лучшее создание природы и божества.

В противоположность учению римско-католической церкви гуманисты Возрождения утверждали, что человек полностью принадлежит земному миру. Был провозглашен идеал «человечного человека». Культ телесных, плотских радостей пронизывает творчество такого известного итальянского гуманиста, как Джованни Боккаччо. Читателю наверняка знаком его «Декамерон». Писатель рисует мир интимных и сокровенно лирических переживаний. Любовь осмысливается как начало человечности и очищения. Откровенность, которая сопутствует описаниям лирических сцен, продиктована представлением о том, что любовь — это естественное человеческое чувство.

Казалось бы, такое признательное и трепетное восприятие любви должно было закрепиться в европейской культуре. Но вот грядет эпоха Просвещения с ее культом разума. Многие возрожденческие идеалы критически переосмысливаются. В частности, провозглашается, что

душа не имеет пола. Это означает на деле, что неповторимость чувства отвергается. Делается определенная ставка на нивелировку переживаний. Любовь все чаще трактуется как чистое безумие, недостойное разумного человека.

Эпоха Просвещения кичливо тешилась разумом. По его меркам она пыталась выстроить все человеческие отношения. Однако мир человеческих страстей оказался принципиально нерегулируемым, неисчислимым. Не случайно именно в XVIII веке родилось слово «садизм». Оно было связано с именем французского маркиза де Сада, который полжизни провел в тюрьме, куда он попал за сексуальные бесчинства и неистовства. Слово «садизм» вошло в обиход и стало синонимом половых извращений, сопряженных с жестокостью и острым наслаждением чужими страданиями.

Ну, кажется, теперь-то мы знаем об Эросе все: это и лирическое обожание и сладострастное бичевание. Но оказывается, на холсте нет еще одного мазка. Любовь, как выясняется, можно вообще свести на нет. Чувство это пагубное и стыдное. Его надлежит прятать подальше. Так называемая пуританская этика, которая сопутствовала становлению капитализма, предписывала людям чопорное благонравие. В викторианской Англии столы и стулья до самого пола покрывались белоснежными чехлами. Ножки, разумеется, деревянные, но обнажать их перед посторонним и дерзко-пытливым взглядом неприлично. Считалось непристойным попросить соседку положить на тарелку ножку цыпленка. Слово «ножка» так много сообщало необузданному викторианскому воображению... Запрещались произведения видных европейских писателей, которые, как предполагалось, оказывают порочное воздействие на нравы. Французский поэт Шарль Бодлер был даже осужден за «Цветы зла»...

Новое раскрепощение страстей началось в нашем столетии. Сначала оно было связано с распространением фрейдизма, учения о главенствующей роли сексуальности в жизни человека. С конца XIX века в обиход вошло еще одно слово — либидо, которое переводится как желание, влечение, страсть. Немецкий ученый Альберт Молль, который ввел это слово в повседневную речь, полагал, что глубинное сексуальное переживание воздействует на всю психическую и нервную деятельность человека.

Для Фрейда понятие либидо стало одним из ключевых. Он отождествлял это с эротической психической энергией. Секс, по мнению Фрейда, лежит в основе всей

человеческой жизни. Созданный Фрейдом психоанализ, став массовой терапевтической практикой, естественно, содействовал изменению сложившихся в обществе установок. О сексе стали говорить открыто, как о чем-то существенно значимом для человека...

После второй мировой войны западное общество стало постепенно превращаться в потребительское. Сказались результаты научно-технического прогресса. Накопленное богатство, естественно, меняло ценностные ориентации людей. Прежняя протестантская этика, предписывающая людям воздержание, самоограничение, утрачивала популярность. Недавний производитель оказывался одновременно и потребителем. Обнаружился невиданный запрос на гедонистические установки. В этих условиях и разразилась так называемая сексуальная революция, которая отвергла пуританские взгляды на эрос.

Нынешняя сексуальная революция началась в Америке, потом перекинулась в Европу. Своего предельного пика она достигла в Швеции. Недаром советские школьники написали в молодежную газету восторженное письмо о шведском семейном стереотипе. Они, мол, уже изведали его прелести и призывают взрослых последовать их примеру. Но вот парадокс. Когда Швеция превратилась в потребительский рай, она неожиданно поразила мир самой высокой цифрой самоубийств. Многие, обретя безграничное счастье, покончили с собой...

Пошла на спад волна секса... Революция полов, взбудоражив сдержанных северян, обнаружила вдруг острую тоску по обыкновенной любви. С ухаживанием и цветами. С застенчивостью и добровольно принимаемыми ограничениями. С преклонением и любовными ласками вместо демонстрации технических приемов. Да что Швеция! Аналогичные процессы происходят сегодня во многих западных странах.

А у нас? Конечно, мы переживаем прилив запоздалой моды на секс. Но и романтика чувств, судя по всему, нам не чужда. Недавно я подготовил к изданию замечательную книгу американского философа Эриха Фромма «Искусство любить». Пока рукопись была в наборе, меня одолевали сомнения: может ли философский очерк, написанный несколько десятилетий назад, заинтересовать современного читателя? На книжном рынке появились десятки названий. И все про секс. А тут размышление о духовной стороне любви... Не отдает ли викторианством, унылой архаикой?

Нет, читатели прекрасно приняли книгу Фромма. И не удивительно. Никакая сексуальная революция не способна истребить поэзию лирических переживаний. Ведь не оставила же равнодушными наших соотечественников романтическая история Кончиты, ее любви к русскому путешественнику Николаю Резанову, воссозданная в рок-опере Алексея Рыбникова "«Юнона» и «Авось»"! Разве нас не волнует внезапно вспыхнувшее чувство, слезы радости, разлуки и встречи? Не трогает верность единственному избраннику, потупленный взор, стыдливый румянец?

Во время Великой Отечественной войны известная советская актриса Зоя Федорова влюбилась в американца Джексона Роджера Тэйта. Это чувство было насильственно загублено... В счастливые дни своего романа влюбленные условились: если у них родится дочь, назвать ее Викторией. Много лет спустя в Америке знакомая позвонила Тэйту. «Значит ли что-нибудь для вас имя Зоя?» И вот строчки из воспоминаний Виктории Федоровой: «...Была долгая пауза, и папа сказал: «Все». И в первый раз она сказала: «А знаете ли вы, что у вас есть дочь в Советском Союзе?» И он спросил: «Ее зовут Виктория?» Она сказала: да. Он начал плакать и сказал: «Я вам перезвоню»...

Спросим вслед за Фроммом: много ли вы знаете по-настоящему любящих людей? Пусть ответят на этот вопрос не только наши современники, но писатели и мудрецы других веков.



ЛЮБВИ
СТАРИННЫЕ
ТУМАНЫ



... Так, руки заложив в карманы,
Стою. Меж нами океан.
Над городом — туман, туман.
Любви старинные туманы.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

В чем искать исток неугасимой страсти? Как «в крушении всего земного» опереться на «души любвеобильной неисчерпаемый запас»? (Ф.Тютчев). С чего начать размышление о любви романтической, лучезарной и всепобеждающей? Может быть, с Ветхого завета Библии? Ведь именно в нем собраны лирические песни о страстном, преодолевающем все преграды чувстве. «Песнь Песней» предположительно относят к III веку до н.э. Она оказала влияние на развитие лирической поэзии многих народов. Повесть Александра Куприна «Суламифь» написана по мотивам «Песни Песней»...

Царь Соломон не достиг еще среднего возраста — сорока пяти лет, — а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его двора распространилась далеко за пределами Палестины. Бог дал ему неиссякаемую силу страсти. Но одну из всех женщин любил царь всем сердцем. Бедную девушку из виноградника, Суламифь...

Однажды утром подумал царь Соломон: — Все суета сует и томление духа, — не зная еще, что вечером ему бог пошлет нежную и пламенную, преданную и прекрасную подругу, которая станет царю дороже богатства, славы и мудрости, дороже самой жизни.

Книга Песни Песней Соломона

Глава 1. Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.

2. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя.

3. Влеки меня, мы побежим за тобою; — царь ввел меня в чертоги свои, — будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!

4. Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы.

5. Не смотрите на меня, что я смугла; ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, — моего собственного виноградника я не устерегла.

6. Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?

7. Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец, и паси козлят твоих подле шатров пастушеских.

8. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя.

9. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях;

10. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками.

11. Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое.

12. Мирровый пучек — возлюбленный мой у меня; у грудей моих пребывает.

13. Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских.

14. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные.

15. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас — зелень;

16. Кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы.

Глава 2. Я нарцисс Саронский, лилия долин!

2. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами.

3. Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.

4. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь.

5. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.

6. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.

7. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.

8. Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам.

9. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку.

10. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!

11. Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал;

12. Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;

13. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!

14. Голубица моя в ущелии скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой; потому что голос твой сладок и лице твое приятно.

15. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете.

16. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями.

17. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор.

Глава 3. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его.

2. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его, и не нашла его.

3. Встретили меня стражи, обходящие город: «не видали ли вы того, которого любит душа моя?»

4. Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя; ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей.

5. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.

6. Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника?

7. Вот одр его — Соломона: шестьдесят сильных вокруг него, из сильных Израилевых.

8. Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого меч при бедре его ради страха ночного.

9. Носильный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских;

10. Столпцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани; внутренность его убрана с любовию дщерями Иерусалимскими.

11. Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его.

Глава 4. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской;

2. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними;

3. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими;

4. Шея твоя, как столп Давидов, сооруженный для оружия, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных.

5. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.

6. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм фимиама.

7. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе.

8. Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых!

9. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста; пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей.

10. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста; о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!

11. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!

12. Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник;

13. Рассадники твои — сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами;

14. Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алоэ со всякими лучшими ароматами;

15. Садовый источник — колодезь живых вод и потоки с Ливана.

16. Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, — и польются ароматы его! — Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его.

Глава 5. Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья; пейте и насыщайтесь, возлюбленные.

2. Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который стучится: «отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои — ночною влагою».

3. Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? я вымыла ноги мои; как же мне марать их?

4. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него.

5. Я встала, чтоб отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка.

6. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его, и не находила его; звала его, и он не отзывался мне.

7. Встретили меня стражи, обходящие город; избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены.

8. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви.

9. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?»

10. Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других.

11. Голова его — чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон;

12. Глаза его — как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве;

13. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его — лилии, источают текучую мирру;

14. Руки его — золотые кругляки, усаженные топазами; живот его — как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами;

15. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях; вид его подобен Ливану, величествен, как кедры.

16. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские!

Глава 6. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился возлюбленный твой? мы поищем его с тобою.

2. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии.

3. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне; он пасет между лилиями.

4. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами.

5. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня.

6. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада; зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними;

7. Как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими.

8. Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа;

9. Но единственная — она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и — превознесли ее, царицы и наложницы, и — восхвалили ее.

10. Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?

11. Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?

12. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.

Глава 7. Оглянись, оглянись, Суламита; оглянись, оглянись, — и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?

2. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника;

3. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями;

4. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны;

5. Шея твоя, как столп из слоновой кости; глаза твои — озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску;

6. Голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями.

7. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностию!

8. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти.

9. Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков;

10. Уста твои, как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных.

11. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его.

12. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах;

13. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони; там я окажу тебе ласки мои.

14. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный.

Глава 8. О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы.

2. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих.

3. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.

4. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.

5. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблонью разбудила я тебя: там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя.

6. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она — пламень весьма сильный.

7. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением...»

Любовный экстаз, упоительный восторг влюбленных исстари привлекали внимание писателей. О том, как возникла любовь, размышлял, как мы уже упоминали, античный мудрец Платон. Вот как комментирует его произведение «Пир» американский ученый Уолтрауд Айерлэнд:

УОЛТРАУД АЙЕРЛЭНД

Миф о рождении любви

Любовные традиции западного мира берут свое начало в Древней Греции. Вспомним диалог Платона «Пир». Он пересказывает миф о рождении любви, в котором так же, как и в современном психоаналитическом учении о любви, преобладают темы утраты, страстного влечения и обретения утраченного. По мифу люди изначально делились на три пола: мужчины, женщины и ныне исчезнувшие гермафродиты, соединявшие в себе мужские и женские признаки. Тело человека было округлым, с удвоенным числом частей и органов: четырьмя рука-

ми, ногами и ушами, двумя половыми органами и двумя повернутыми в противоположные стороны лицами. Эти люди оказались настолько хорошо приспособленными к жизни, что боги, почувствовав в них соперников, решили ослабить человеческий род, разделив каждого из людей пополам и вызвав у половинок страстное непреодолимое желание воссоединиться друг с другом. Таким образом, вместо того, чтобы конкурировать с богами, человечество сосредоточилось на себе и на желании обрести изначальную целостность. Вот с каких давних пор, по словам Платона, людям свойственно влечение друг к другу, которое, соединяя изначальные половины, пытается сделать из двух — единое и тем самым исцелить человеческую природу.

Поделив людей пополам, Зевс создал гомосексуалистов (мужские половины, стремящиеся воссоединиться с мужскими половинами), лесбиянок (женские половины, которые хотят слиться с женскими половинами) и гетеросексуалов (мужские и женские гермафродиты), которые считались низшей сексуальной категорией.

В этом случае любовь рассматривается как наказание за гордыню, ниспосланное человечеству за попытку бросить вызов богам. Такое представление о сущности любви, по крайней мере, о ее происхождении неразрывно связано с идеями утраты, собственной неполноценности и пылкого стремления к союзу с другим человеком.

Многие исследователи считают заслугой Платона перенесение рассуждений о любви с мифологического на философский уровень. По мнению античного мудреца, эрос является всеобщим принципом, который проявляется в любом стремлении к благу и к счастью. Такое тяготение вызвано желанием восполнить недостаток блага или счастья; предполагается, что человек осознает собственную неполноценность и верит в существование объекта, наделенного недостающими качествами.

Это стремление, однако, может принимать различные формы в зависимости от того, ищет ли любящий земную или небесную Афродиту. Платон создал учение об иерархии видов любви, придумав знаменитую лестницу страсти, по которой может подняться человек, способный к самосовершенствованию. На низшей ступени эрос выражает себя в стремлении получить физическое удовольствие, а его естественной целью является рождение детей. Следующими ступенями в восходящем порядке являются любовь к конкретным образцам физической красоты, затем любовь к красоте в целом и, наконец,

агапэ — любовь к мудрости, которая, как и религиозные переживания, позволяет познать абсолютную истину.

Таким образом, по мнению Платона, любовь высочайшего уровня является делом души, делом двух благородных умов, соединившихся с целью создания духовного потомства, к которому способны лишь мужчины. Остальные формы эроса — всего лишь несовершенные этапы на пути к идеалу. Будучи философом, на первое место в пантеоне любви Платон ставил наиболее знакомую ему деятельность — философствование. Он почти не говорил о любви людей друг к другу, однако уделял много внимания тому, что позднее рассматривалось психоаналитиками как сублимация эроса. Так же, как и в политике, в любви Платона интересовали лишь моменты, облагораживающие жизнь человека.

В «Пире» читателя поражает полное отсутствие упоминаний о женщинах как объектах или субъектах эроса, а также о плотской любви. Если во времена Гомера и великих греческих трагиков женщина обладала значительной властью и влиянием, принимала участие в общественной жизни, то в эпоху Платона ее роль значительно уменьшилась. Женщин из высших слоев общества выдавали замуж для того, чтобы рожать детей и вести хозяйство. Женщины не получали образования и не принимали участия в общественной жизни. Жены не воспринимались как объект, достойный любви. Их функции перечислил общественный деятель того времени Демосфен: «Любовницы нужны нам для удовольствия, наложницы — для каждодневной заботы о нас, а законные жены — для того, чтобы рожать законных детей и вести домашнее хозяйство». В этой фразе не упоминается о масштабах распространения гомосексуализма и о терпимом отношении к нему высших слоев древнегреческого общества, а также о романтической функции гомосексуализма. Идеальная любовная пара того времени состояла из пожилого, но не старого мужчины и мальчика, получавшего столько эмоций, заботы и внимания, сколько в другие исторические времена выпадало на долю объекта гетеросексуальной любви. Считалось, что роман подходит к концу, когда мальчик достигал зрелости. Любовь между мужчинами занимает значительное место на платоновской лестнице любви, по которой, как он считал, можно подняться лишь благодаря сублимированию гомосексуальных влечений. Не осуждая физическую сторону такой любви, по крайней мере, в «Пире», он, без сомнения, предпочитал ее сублимированный вариант.

Возможно, что отсутствие упоминаний о женщинах в трактате о любви объясняется интеллектуальной революцией, произошедшей в античные времена. Одним из ее проявлений стали произведения Платона. Эта революция заключалась в последовательных попытках заменить мифологические способы восприятия и объяснения мира аналитическим мышлением, которое считалось исключительно мужским качеством. Это был исторический момент, когда разум восстал против эмоций, а культура — против естества. Превосходство духовного творчества над физическим (деторождением) основывалось на независимости от естества и от женщин.

Новые значительные изменения в представлениях о любви произошли благодаря христианству, расцвет которого пришелся на первые века нашей эры. К тому времени древнегреческие традиции и традиции других культур вошли в жизнь Римской Империи, испытывавшей постоянное давление варварских племен и раздираемой собственными внутренними противоречиями. Женская эмоциональность, осмеянная древнегреческой культурой с ее «мужской» рационалистической ориентацией, нашла прибежище в поклонении мистическим культам, пришедшим с Ближнего Востока. Христианство представляло собой творческий сплав древнегреческого мышления, мессианской веры и нравственности, заимствованных из иудаизма, символизма и эмоциональности мистических культов. Новое вероучение оказало на повседневную жизнь мужчин и женщин большее влияние, чем учение о платонической любви.

В основе христианского учения лежит понятие о любви. Являясь сущностью Бога, любовь расценивается как абсолютная истина, а любовь к Богу считается равнозначной любви и к человечеству в целом, и к каждому человеку в отдельности, независимо от его личных качеств. Как сказано в «Евангелии от Матфея», «Он (Бог) повелевает солнцу Своему выходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Любовь человека к Богу складывается из его любви к самому себе и любви к другим людям. Примером тому является типично христианское изречение из «Послания к Галатам»: «Люби ближнего своего, как самого себя». Снова и снова христианские проповедники говорили о необходимости любить прежде всего тех людей, которые нам не нравятся. В конце концов, именно благодаря такой любви мы осознаем, что любовь к духовно близким людям не требует усилий. Эта мысль выражена еще в одном изречении из «Евангелия от

Матфея»: «Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас». Новое вероучение считало способность платить добром за зло признаком истинного христианина и призывало разорвать порочный круг мести, соединив любовь с состраданием и прощением. Эта непостижимая идея, воплотившаяся в христовых муках, изображалась как знак любви Господа к человечеству. На протяжении веков она привлекала внимание христианских писателей, пытавшихся разгадать ее значение и смысл. Эту же идею подчеркивал Кьеркегор, писавший, что «совершенная любовь — это любовь к тем, кто приносит нам несчастье». Американский писатель Готорн выразил собственное понимание этой идеи следующим образом: «Человек не должен отрекаться даже от самых грешных людей».

Предполагалось, что, распространившись, новое вероучение, основанное на принципах любви, милосердия, смирения и целомудрия, войдет в повседневную семейную и общественную жизнь христиан и изменит ее. Под влиянием христианских принципов преобразились все стороны жизни людей. Проповедуя пылкую, страстную любовь, христианство отделило ее от секса. Христианство с его неприятием чувственности подчеркивало неправедный, преступный характер многих видов поведения, которые без особых сложностей осуществлялись в античном мире. Оно запретило получать удовольствие от секса, любви и брака как таковых, осудив проституцию, супружескую измену и гомосексуализм. В то же время оно затруднило возможность получения одновременного удовольствия от любви и от брака, поскольку, как указывал Апостол Павел в «Послании к Галатам», «плоть желает противного духу, а дух — противного плоти». Обет безбрачия и девственность прославлялись в качестве высочайших идеалов, а мужчин и женщин поощряли к сожительству в духовном браке. Как ни странно, неприятие секса в христианстве привело к противоположному результату, придав любви и сексу такую ценность, какой они никогда прежде не имели. Как отмечал Фрейд, «легко доказать, что психическая значимость эротических потребностей снижается, как только упрощается возможность их удовлетворения. Для усиления либидо необходимо появление препятствия... В связи с этим можно утверждать, что аскетическое течение в христианстве придало любви такую психическую значимость, какой она никогда не обладала для древних язычников».

После крушения Римской Империи и возникновения первых христианских государств обнаружилось, что пропаганда обета безбрачия мешает рождаемости. Предпочтительнее ста-

ло «не пылать от страсти, а жениться». Со временем брак превратился в священный обет, защищающий супругов от беспорядочных связей и прелюбодеяния и служащий цели деторождения. В противоположность античному браку он провозглашался нерасторжимым. Все, что в браке считалось законным и незаконным, в одинаковой степени относилось как к мужчинам, так и к женщинам. Как отмечается в «Первом послании к Коринфянам», секс ради удовольствия достоин преданию анафеме: «Блудник тот, кто слишком пылко любит свою жену». Многие сочли поставленную новым вероучением дилемму неразрешимой и предпочли вести безбрачную жизнь в монастыре.

Тем не менее, под эгидой христианской любви брак приобрел значение, которого он не имел в античном мире. По крайней мере, дружеское расположение, взаимная привязанность и уважение стали идеалами, к которым должна была стремиться каждая супружеская пара. Эта идея отражена в «Послании к Ефесянам»: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь». В данном случае Церковь расценивает собственную сущность как женскую.

Возникновение женского элемента в христианстве можно проследить на примере постепенной эволюции культа Богоматери, величайшей посредницы между небом и землей, напоминающей в этой роли матерей в обыкновенных семьях. Дева Мария не была включена в Святую Троицу по причине своей смертности, однако в XI веке во времена Крестовых походов она по своей популярности превзошла Троицу. В те времена даже ходили слухи о том, что Господь изменил свой пол. Деве Марии приписывались бесчисленные чудеса; она была вдохновительницей создателей готического стиля в архитектуре, в ее честь было воздвигнуто множество храмов и церквей, строительство которых потребовало колоссальных людских и материальных затрат.

Культ Девы Марии привел к появлению совершенно нового объекта любви. Им впервые стала не священная богиня, а земная смертная женщина.»

Многолика земная любовь... Французский писатель Стендаль обратил внимание на то, что Эрос имеет множество оттенков. Он даже попытался выделить четыре рода любви. Первая в его классификации «любовь-страсть». В качестве примера он называет трагическую историю любви французского философа XII века Пьера Абеляра в Элоизе, которая закончилась их уходом в монастырь.

Другой род любви — влечение. Примеры этого чувства Стендаль находит в мемуарах и романах XVIII века. Физическую любовь он рассматривает особо. Всем знакомо любовь, рассуждает он, которая проявляется в том, чтобы подстеречь на охоте красивую и свежую крестьянку, убегающую в лес. Последний род любви по классификации французского писателя — «любовь-тщеславие».

Прослеживая переход от романтического чувства к влечению и любви физической, мы невольно вспоминаем роман древнегреческого писателя Лонга (II-III века н.э.) «Дафнис и Хлоя», который оказал огромное влияние на пасторальную тему в европейской литературе XVI-XVIII веков. В греческой мифологии Дафнис — сицилийский пастух необыкновенной красоты, создатель пастушеских песен. По одной версии мифа — он умер от безнадежной любви, по другой — ослеплен своей возлюбленной за то, что не сохранил ей верности.

Роман пропитан мифологическим мироощущением. Древний бог Эрот определяет жизнь Дафниса и Хлои еще до того, как они родились. Приемные родители делают их пастухами. Эрот внушает им любовь друг к другу. Влечение Дафниса и Хлои — это еще не страсть, а только ее наивное и самоотверженное обещание. События разворачиваются в лесах и полях. Пасторальные герои как бы слиты с природой.

ЛОНГ

Дафнис и Хлоя

«...**12.** Начиналась весна, и таял снег. Стала земля обнажаться, стала трава пробиваться, и пастухи погнали стада на пастбища, а раньше других Дафнис и Хлоя, — ведь служили они пастырю могущества несравненного. И тотчас бегом они побежали к нимфам в пещеру, а оттуда к Пану, к сосне, а затем и к дубу. Сидя под ним, и стада свои пасли, и друг друга целовали. Стали они и цветов искать, чтоб статуи богов венками украсить; цветы едва-едва появляться стали, — зефир их пестовал, а солнце пригревало. Все ж удалось найти и фиалки, и нарциссы, и курослеп, и все, что ранней весною земля нам приносит. Хлоя и Дафнис свежего надоили козьего и овечьего молока и, украсив венками статуи богов, совершили молоком возлиянье. И на свирели стали они снова играть, как бы соловьев вызывая поспорить с ними в пенье; а соловьи уже откликались в чаще лесной, и скоро все лучше стала удаваться им песнь об Итисе, словно вспомнили они после долгого молчания свою прежнюю песню.

13. Заблеяли овечьи стада; ягнята прыгали, залезая под маток, и за соски их тянули. А за овцами, еще не рожавшими,

гонялись бараны, сзади взбирались на них, каждый выбрав себе одну. И козлы гонялись за козами и наскакивали на них с любовной страстью и бились за коз; у каждого были свои, и каждый их охранял, чтоб как-нибудь с ними другой козел тайком не связался. Даже старых людей, случись им это увидеть, к делам любви побудило бы такое зрелище. А тем более — Дафнис и Хлоя, юные, цветущие и давно уже искавшие наслаждений любовных: распалялись они, слыша все это, млели, видя это, и сами искали чего-то получше, чем поцелуи и объятия, — особенно Дафнис. За время зимы, сидя дома без всякого дела, он возмужал; поэтому рвался он к поцелуям, и жаждал объятий, и во всем стал гораздо смелей и решительней.

14. Вот он и стал просить, чтобы Хлоя уступила ему в том, чего он желал: нагою с нагим полежала бы с ним подольше, чем делала раньше. «Ведь это одно, — говорил он, — осталось, чего не исполнили мы из советов Филета. Единственно здесь ведь, наверно, то средство, что нашу любовь успокоит».

Когда же она задавала вопрос, что ж есть еще больше, чем целовать, обнимать и вместе лежать, и что же еще он делать задумал, если будут они, оба нагие, вместе лежать, он ей отвечал: «То же, что бараны с овцами и козлы с козами. Разве не видишь, что после того, как дело сделано, овцы и козы от них не бегут, а те не томятся, гоняясь за ними, но, как будто взаимно вкусив наслаждения, вместе пасутся. Видимо, дело это сладостно и побеждает горечь любви». — «Но разве не видишь ты, Дафнис, что и козлы с козами, и бараны с овцами все это делают стоя, и козы и овцы, тоже стоя, их принимают. Те на них скачут, они же спину им подставляют. А ты хочешь, чтобы я вместе с тобою ложилась, да еще и нагая; смотри, ведь их шерсть гораздо плотнее моей одежды». Послушался Дафнис и, вместе с нею улегшись, долгое время лежал, но, не умея то сделать, к чему страстно стремился, он поднял ее и, сзади обняв, к ней прижался, козлам подражая. И, еще больше смутившись, он сел и заплакал: неужели ж он даже баранов глупее в делах любви?

15. Жил с ним по соседству землевладелец, по имени Хромис, уже в преклонных годах; привел он к себе из города бабенку, молодую, цветущую, гораздо более изящную, чем поселянки. Звали ее Ликэнион. Видя, как Дафнис каждое утро гнал

своих коз на пастбище, а к ночи обратно с пастбища, она загорелась желаньем его своим любовником сделать, подарками соблазнив. И вот однажды, подстерегши его одного, она подарила ему свирель, и сотового меду, и сумку из кожи оленьей. Но сказать ему что-либо прямо она опасалась, поняв, что любит он Хлою: заметила — к девушке льнет он. Сначала она догадалась об этом, видя взаимные приветствия их и улыбки, а потом как-то, ранним утром, мужу сказавшись, чтоб глаза отвести, будто к соседке пойдет, которой время рожать наступило, незаметно пошла она следом за ними и, спрятавшись в чаще, чтоб не было видно ее, все услыхала, о чем они говорили, все увидала, что делали. Не ускользнули от взоров ее и слезы Дафниса. Пожалела она этих несчастных и, решив, что ей представился случай удобный сделать сразу два дела, — им дать от мук избавление, свое ж удовлетворить вожделение, — такую придумала хитрость.

16. На следующий день, будто опять направляясь к той же роженице, открыто идет Ликэнион к дубу, где сидели Дафнис и Хлоя, и, ловко притворившись, будто она чем-то огорчена, говорит: «Спаси, Дафнис, меня, злополучную! Из моих двадцати гусей самого лучшего орел утащил. Но слишком тяжелую ношу он поднял, и, кверху взлетевши, не смог он ее унести на привычное место, — вон на этот высокий утес; и опустился вот здесь, в мелколесье. Ради нимф и этого Пана! Пойди ты со мною туда, — одна я идти боюсь, — спаси моего гуся, не оставь без вниманья ущерба в моем стаде. Может быть, и орла самого ты убьешь, им не будет уж он у вас без конца таскать и ягнят и козлят. Тем временем стадо твое сторожить будет Хлоя. Козы твои хорошо ее знают; ведь всегда вы вместе пасете».

17. Даже и не подозревая, что будет дальше, Дафнис тотчас встал, взял посох и следом пошел за Ликэнион. Его уведя возможно дальше от Хлои, когда они оказались в чаще густой близ ручья, она велела ему присесть и сказала: «Любишь Хлою ты, Дафнис: это узнала я ночью от нимф; явившись во сне, они мне рассказали о слезах вчерашних твоих и мне приказали спасти тебя, научивши делам любовным. А дела эти — не только поцелуи и объятья и не то, что делают козлы и бараны: другие это скачки, и много слаще они тех, что бывают у них, ведь наслаждение даруют они куда более длительное. Так вот,

если хочешь избавиться от мук и испытать те радости, которых ты ищешь, то отдай себя в руки мои, радостно стань моим учеником; я же, в угоду нимфам, всему тебя научу».

18. Не в силах сдержать своего восторга, Дафнис, простодушный деревенский козопас, а к тому же еще влюбленный и юный, пал к ногам Ликэнион, моля возможно скорее искусству этому его обучить, которое ему поможет с Хлоей совершить то, чего ему так хочется; и, как будто готовясь постигнуть поистине нечто великое, ниспосланное ему самими богами, он обещает ей подарить упитанного козленка, нежного сыру из сливок и даже козу. Увидя в нем такое пастушеское простодушие, какого она никак не ожидала, вот как стала Ликэнион Дафниса делу любви обучать. Она приказала ему, не думая долго, сесть поближе к себе, целовать ее такими поцелуями и столько раз, как вошло у него в привычку, а целуя, обнять ее и лечь на землю. Когда юноша сел, ее поцеловал и лег с нею рядом, она, увидав, что он в силе к делу уже приступить и весь полон желанья, приподнявши его, — ведь он лежал на боку, — ловко легла под него и навела его на ту дорогу, которую он до сих пор отыскивал. А потом уже все оказалось простым и понятным: природа сама научила всему остальному.

19. Лишь только окончился этот любовный урок, Дафнис, как истый пастух простодушный, стал порываться к Хлое бежать и тотчас же сделать с ней то, чему здесь научился, как будто боясь, что если промедлит, то все позабудет. Но Ликэнион, его удержавши, сказала: «Вот что еще нужно тебе, Дафнис, узнать. Я ведь женщина, и теперь я ничуть от всего этого не пострадала; давно уж меня всему научил мужчина другой, а в уплату взял невинность мою. Хлоя ж, когда вступит с тобой в эту битву, будет кричать, будет плакать, будет кровью облита, словно убитая. Но ты не бойся той крови, а когда убедишь ее отдаться тебе, приведи сюда: здесь, если и будет кричать, никто не услышит, если расплачется, никто не увидит, а если кровью своей замарается, в этом ручье искупается. И помни, что первая я, раньше Хлои, тебя мужчиною сделала».

20. Преподав ему указанья такие, Ликэнион ушла в другую часть леса, как будто все еще продолжая гуся разыскивать. За-

думался Дафнис над сказанным ею, остыл его первый порыв, стал он сомневаться, следует ли ему Хлое докучать и просить во время объятий большего, чем поцелуи. Он не хотел, чтобы кричала она, будто ее схватили враги, или чтоб плакала от боли, или кровью исходила, словно ее убивают. Новичок в любви, боялся он крови и думал, что кровь может литься только из раны. И, твердо решив наслаждаться с нею обычными ласками, вышел из лесу Дафнис. Придя туда, где Хлоя сидела, плетя из фиалок веночек, он обманул ее, сказавши, что вырвал гуся из орлиных когтей, и, крепко обняв, стал ее целовать, как целовал Ликэнион в миг наслажденья: ведь это можно было делать без опаски. Она же надела на голову Дафниса ею сплетенный венок и кудри его целовала, ей казались они лучше фиалок. И, вынув из сумки кусок сладкой лепешки из фруктов сушеных и несколько хлебцев, дала ему есть. Когда же он ел, она у него изо рта хватала кусочки и сама, как птенчик, глотала.

21. Когда они так угощались, — а больше целовались, чем ели, — показалась лодка рыбачья, плывшая вдоль берега. Не было ветра, на море было затишье, грести приходилось, и крепко гребли рыбаки. Они торопились доставить в город к столу одного богача рыбу живую. То, к чему прибегают всегда моряки, чтоб забыть про усталость, — прибегли к тому же, под взмахи весел, гребцы. Один из них, старшой, песни морские пел, остальные ж, как хор, все разом и в лад на голос его откликались. Когда они пели так в море открытом, то клики их пропадали — голоса звук исчезал в воздушном просторе. Когда же, объехавши мыс, они вошли в глубокий залив, изогнутый словно месяца серп, громкие клики стали слышней, ясней стал доноситься на берег запев. Глубокая расщелина к равнине прилегала, и будто полая флейты труба, звук в себя принимая, всем голосам подражала, на все откликалась. Слышны были ясно весел удары, ясно гребцов голоса. И все это радостью было для слуха. Сначала с моря звук долетал, а звук, на земле родившийся, на столько поздней замолкал, на сколько позднее он возникал.

22. Дафнис, которому все это было знакомо уже, вниманье свое обратил лишь на море; он любовался, смотря, как птицы быстрее корабль пролетал, минуя равнину, старался запом-

нить те песни, чтобы сыграть их потом на свирели. Хлоя же тогда в первый раз услыхала то, что эхом зовется. Она то на море смотрела, когда мореходы песнь запевали, то, к земле обернувшись, искала, кто же им вторит? Когда они мимо проплыли и тихо стало в расщелине, она спросила у Дафниса, нет ли за мысом другого моря и не плыл ли другой там корабль, не пели ль мореходы другие такую же песню, а потом разом все замолчали? Нежным смехом рассмеялся Дафнис, еще нежнее Хлою он целовал, а затем, увенчавши ее венком из фиалок, стал рассказывать преданье об Эхо, вперед у нее попросивши как плату за этот рассказ еще поцелуев десяток.

23. «Много, девушка, нимф различного рода живет и в ясеннике, и в дубравах, и в болотах. Все прекрасны они, все певуньи. Из них у одной была дочка Эхо; смертной была она, — так как смертным отец ее был, — и в красавицу мать красотою: нимфы ее воспитали, Музы играть на свирели, на флейте ее научили, под лиру, под кифару песни всякие петь. И, достигнув расцвета девичьей своей красоты, хороводы водила она с нимфами, песни пела с Музами. Но всех мужчин избегала она — и людей и богов, любя свою девичью жизнь. Рассердился на девушку Пан, — песням ее он завидовал, красота же ее была для него недоступна, — и в безумие вверг пастухов, что коз пасли и овец. Как злые собаки иль волки, они ее растерзали и члены тела ее, — а все еще пело оно, — по всей разметали земле. Но песни ее нимфам в угоду скрыла Земля в лоне своем и напев сохранила; и по воле Муз подает она голос, всему подражая, как некогда девушка всем подражала: богам и людям, инструментам, зверям, — даже и Пану, когда на свирели играть он начнет. И он, услыхав, вскочит и долго бежит по горам, поймать не надеясь, но только желая узнать, кто же такой этот тайный его ученик».

Такое сказанье Дафнис ей поведал, и поцелуев не только десяток Хлоя ему подарила, но без конца целовала его: ведь то же почти за ним повторяла и Эхо, словно тем подтверждая, что ни слова лжи он не сказал.

24. С каждым днем становилось солнце теплее: весна кончалась, лето начиналось. И опять у них летней порой начались новые радости. Он плавал в реках, она в ручьях купалась, он играл на свирели, соревнуясь с песней сосны. Она же в состя-

зание с соловьями вступала. Гонялись они за болтливыми цикадами, ловили кузнечиков, сбирали цветы, деревья трясли, ели плоды; бывало, нагими вместе лежали, покрывшись козьей шкурой одной. И Хлоя легко могла бы женщиной стать, когда бы не смущала Дафниса мысль о крови. Однако, боясь, чтоб решенье разумное страсти порывом как-нибудь сломлено не было, не позволял он Хлое сильно себя обнажать; этому Хлоя дивилась, но спросить о причине стыдилась.

25. Этим летом у Хлои женихов было много, и отовсюду много народу ходило к Дриасу с просьбой отдать ее замуж; иные уже приносили подарки, иные ж много богатых даров обещали, если ее заполучат. Напа, прельстившись надеждой на это, хотела выдать Хлою скорей и не держать дольше в доме взрослую девушку; ведь, того и гляди (она говорила), пася свое стадо, она себя потеряет и в мужья себе пастуха возьмет за несколько яблок или роз. Лучше сделать ее госпожой в собственном доме, а самим, получивши большие подарки, их сохранить своему родному дитяти — недавно мальчик родился у них. Случалось, Дриасу заманчивы речи такие казались, каждый жених сулил подарки получше, чем можно бы взять за простую дочь пастуха; но иной раз он думал, что девушка стоит дороже простых женихов-землепашцев и что если она вдруг найдет своих настоящих родителей, то она и его и жену богатством осыплет; он отлагал свой ответ, время тянул со дня на день, а меж тем перепадало ему немало подарков. Хлоя, узнавши об этом, очень грустила и от Дафниса долгое время скрывала, его огорчать не желая. Когда ж он настаивать стал, спрашивая, что с нею такое, и огорчался, не получая ответа, больше, чем если бы все он узнал, она ему все рассказала: о Напы речах, торопившейся выдать замуж ее поскорее, сказала о том, что Дриас наотрез никому не отказывает, но решенье свое отложил до поры, когда виноград соберут.

26. От этих рассказов Дафнис стал сам не свой и, севши, заплакал; он говорил, что умрет, если Хлоя больше не будет с ним вместе стада пасти; и не только погибнет он сам, но и овцы, лишившись пастушки такой. Затем, собравшись с мыслями, он ободрился и надеяться стал, что сумеет отца убедить, и себя уж считал в числе женихов, и надеялся, что всех он других легко победит. Одно смущало его: не был богат Ламон, и это

одно делало шаткой надежду. Однако решил он посвататься, и Хлоя с ним согласилась. Ламону он об этом сказать не решился. Миртале же, набравшись храбрости, поведал о своей любви и о браке речь завел. Она ночью сказала об этом Ламону. Холодно принял он ее слова и стал ее бранить, что дочку простых пастухов сватать она захотела юноше, чьи приметные знаки счастливую судьбу сулят; ведь если найдет он своих родных, то тех, кто призрел его, он и на волю отпустит, и даст им участки земли покрупнее. Миртала, боясь, как бы Дафнис, совсем потерявши надежду на брак, из-за любви не решился б с собой покончить, другие причины ему привела, почему возражает Ламон: «Бедны ведь мы, сынок, и нам нужно невесту с приданым побольше; они же богаты и богатых хотят себе женихов. Убеди-ка ты Хлою, а она пусть отца убедит, чтоб не требовал многого он и выдал ее за тебя. Уж, наверно, тебя она любит, и ясно, ей больше хочется спать с бедным красавцем, чем с обезьяной богатой».

27. Не надеялась вовсе Миртала, что Дриас согласие даст,— были у него на примете женихи побогаче; она полагала, что повод отличный нашла для того, чтобы с делом о браке покончить. И Дафнис на это не мог возразить ничего; видя, что далек он от цели стремлений своих, он поступил, как поступают в несчастьях влюбленные все: плакать он стал и вновь на помощь нимф призывал. И ночью во сне явились они перед ним в том же виде, как прежде являлись, и снова заговорила старейшая: «Забота о браке твоем и Хлои — дело бога другого; дары же, которыми ты Дриаса прельстишь, дадим тебе мы. Корабль молодых метимнейцев, привязь которого некогда съели козы твои, в тот день ветер далеко унес от земли. Ночью ж, когда с моря ветер подул и стало оно бушевать, корабль выброшен был на скалы этого мыса. Сам корабль и многое из того, что было на нем, погибло; но кошелек и в нем три тысячи драхм на берег выкинула волна, там он и ныне лежит, прикрытый морской травой, рядом с трупом дельфина. Никто из прохожих к месту тому не подходит, стараясь уйти поскорей от зловонья гниющего трупа. Ты ж подойди, подойдя же, возьми и, взявши, отдай. Достаточно, если сейчас не будут считать тебя бедняком, а потом и богатым ты станешь».

28. Так сказали они и исчезли вместе с мраком ночным. Только лишь день начался, как Дафнис вскочил, развеселый, и

свистом звонким погнал своих коз на пастбище. Поцеловавши Хлою, к нимфам сходив, чтобы им поклониться, он к морю пошел, как будто омыться желая; и там по песку, у пены прибоя, бродил он, ища три тысячи драхм. Найти их немного труда ему стоило: в нос ему скоро ударил не слишком приятный запах дельфина, который был выброшен бурей на берег и гнил; и этот-то запах противный ему послужил провожатым; быстро он подбежал, водоросли разгреб и кошелек нашел, полный денег. Тут же схвативши его и в сумку к себе положив, не прежде ушел он, чем нимфам и морю воздал благодарность. Хоть и был он пастух, но море теперь считал для себя он милее, чем землю, — оно помогало ему на Хлое жениться.

29. Владельцем ставши трех тысяч драхм, он уж больше не медлил, считая себя человеком самым богатым на свете — не только что в тамошней сельской округе. К Хлое придя, ей свой сон рассказал, показал кошелек, и, поручив стада постеречь, пока он не вернется, быстрым шагом он мчится к Дриасу. Нашел он его на току молотившим вместе с Напой пшеницу и смело с ним начинает беседу о браке. «Отдай ты Хлою мне в жены: жнец я хороший, виноградные лозы могу хорошо обрезать и деревья сажать; умею и землю пахать, и по ветру веять зерно. Как я пасу стада — свидетелем Хлоя; мне дали полсотни коз, я удвоил число их; выкормил я козлов больших и красивых, а прежде мы покрывали своих коз чужими козлами. Кроме того, я молод, сосед ваш, и никто обо мне дурного не скажет; меня вскормила коза, так же как Хлою овца. Насколько других всех я лучше, настолько же и в подарках им уступать не хочу. Они ведь дадут тебе разве что коз и овец, пару паршивых быков и зерна столько, что кур не прокормишь. А от меня — вот вам три тысячи драхм. Только пускай никто об этом не знает, даже и сам отец мой, Ламон». С такими словами он отдал деньги ему и, обняв его, стал целовать.

30. Увидавши столько денег, сколько им никогда и не снилось, они тотчас же пообещали Хлою отдать за него и заверили, что Ламона добьются согласия. Напа вместе с Дафнисом продолжала работать, быков подгоняла и волочильной доской выбивала зерно из колосьев, Дриас же, спрятав кошель туда же, где у него хранились Хлои приметные знаки, быстро пошел к Ламону с Мирталой, чтоб у них — небывалое дело —

сватать жениха. Застал он их за тем, что ячмень они мерили, только что перед тем провеяв его; уныние ими владело, так как было зерна едва ли не меньше, чем до посева. Стал их Дриас утешать, — на это, мол, жалобы слышны повсюду, — а затем стал просить их дать Дафниса Хлое в мужья, говоря, что хоть много ему предлагают другие, но с Ламона и Мирталы он ничего не возьмет; даже больше того, он сам им в придачу коечто даст. Дафнис и Хлоя молоды, говорил он, выросли вместе, вместе стада пасли и такой связаны дружбой, какую не так-то легко разорвать. Да и возраст у них такой, что пора им и спать уже вместе. Вот что он говорил, да и прочего всякого много еще; ведь наградой за то, чтобы он убедил их, получил он три тысячи драхм. Нельзя тут было Ламону сослаться ни на бедность свою, — ведь те перед ним не кичились богатством, — ни на молодость Дафниса, — был он уж юношей крепким; сказать же по правде причину, что Дафнис, по мненью его, стоит лучшей невесты, он все же никак не хотел. И вот, помолчавши немного, он так ответил Дриасу:

31. «Правильно вы поступили, соседей своих предпочтя людям чужим и богатства не ставя выше бедности честной. Пусть за это Пан и нимфы будут к вам благосклонны! Я и сам спешу устроить эту свадьбу. Ведь совсем бы я был рассудка лишен, если б я, уж старик, которому нужны в работе лишние руки, не счел бы себе за великое благо в дружбу вступить с вашим домом. Да и Хлоя — кто ее не пожелает? Красивая девушка, в самом расцвете, всем она хороша. Но ведь раб я и ни над чем не хозяин; нужно, чтоб мой господин узнал об этом и дал согласье свое. Давай же отложим брак этот до осени. Были у нас из города люди и говорят, что к этому сроку хозяин собирается сам к нам прибыть. Тогда они станут муж и жена. Теперь же пусть они любят друг друга, как брат и сестра. Только вот что узнай, Дриас: юноши ты добиваешься, родом много нас с тобою выше». Сказавши это, он Дриаса расцеловал и выпить ему предложил, так как был самый полдень; затем он его пошел провожать, оказав ему всевозможные знаки почтенья и дружбы.

32. Не пропустил Дриас мимо ушей последних слов Ламона и, домой идя, думал сам про себя: «Кто ж такой Дафнис? Его воспитала коза: значит, боги пекутся о нем. Он очень кра-

сив, ничуть не похож на Ламона, курносого, старого, и на лысую бабу его. У него оказалося сразу три тысячи драхм, а ведь столько и диких груш простой пастух не найдет у себя. Не покинули ль и его родители так же, как Хлою? Не нашел ли Ламон и его так же, как я нашел Хлою? Не было ль с ним знаков приметных, подобных тем, что найдены были и мной? О, если б так было, владыка Пан и милые нимфы! Может быть, он, отыскавши своих родных, откроет и Хлоину тайну». Так сам с собой раздумывал он, высоко в мечтах заносясь, пока до гумна не дошел. Придя же туда и видя, что Дафнис весь в ожиданье того, что услышать ему предстоит, ободрил его, назвавши зятем своим, обещал, что свадьбу сыграют осенью. Правую руку ему протянул в знак того, что Хлоя ничьей не будет женою, кроме как Дафниса.

33. К Хлое Дафнис помчался, не пивши, не евши, быстрее, чем мысли летят. Застал он ее за работой: доила овец она и делала сыр. Ей сообщил он известье о свадьбе и после, уже не скрываясь, ее целовал, как жену, и делил с ней труды: в подойники он молоко доил, сыры в плетенках заквашивал; под маток подкладывал он и ягнят и козлят. Все хорошенько устроив, они умывались и, утоливши голод и жажду, ходили искать созревших плодов. Было много всего: эта года пора изобильна; много было груш и в лесу и в садах, много и яблок; одни уж на землю упали, другие держались на ветках — опавшие более душисты, а те, что на ветках висели, более цветисты; эти пахли вином, а те золотом ярким сверкали. На одной из яблонь все яблоки были уже собраны. Без плодов и без листьев стояла она, голыми были все ветви. Но на самой вершине ее осталось одно только яблоко, большое, прекрасное, чудным цветом своим все другие оно затмевало. Кто плоды собирал, побоялся высоко взобраться и снять его не потрудился; а может быть, чудное яблоко это как раз для влюбленного пастуха уцелело.

34. Лишь только яблоко это Дафнис увидел, как тотчас решился сорвать его с самой вершины, не слушая Хлои; и так как он ее не послушал, она, рассердившись, к стаду пошла. Дафнис же быстро на дерево влез, яблоко тотчас сорвал и подарил его Хлое; все еще сердилась она, и к ней он обратился с такими словами:

«Милая девушка! Яблоко это родили Горы прекрасные, и прекрасная яблоня воспитала его, зрелым сделало Солнце, и Судьба для меня его сохранила. Ведь глаз я не лишен, и не мог

я покинуть его, чтоб на землю упало оно, чтобы стадо, пасясь, его затоптало, чтоб змея ползучая ядом своим его напитала или чтоб со временем ссохлось оно, теперь такое прекрасное и завидное. Ведь именно яблоко было дано Афродите в награду за красоту; яблоко и тебе я дарю в знак победы твоей. Судьи ваши похожи: тот пас овец, а я пасу коз».

Так сказавши, он положил ей яблоко в складки платья на грудь; когда он к ней наклонился, она его так целовала, что Дафнис ничуть не жалел, что решился залезть так высоко: он получил поцелуй, что и золотого яблока был дороже».

Патриархальное общество воспринимало женщину в двух ипостасях — как созидательницу и как разрушительницу. Она была символом двойственной биологической природы, единства любви и смерти. Средневековая религия устранила этот дуализм. Дева Мария превратилась в символ любви и жизни. Но исчезла ли человеческая потребность в персонификации злой силы? Нет, не исчезла... Кроме образов Девы Марии и Прекрасной Дамы в средневековом сознании возникает «черный символ» — ведьма... В противовес злым сатанинским чарам культивируется светлое чувство — амор...

УОЛТРАУД АЙЕРЛЭНД

Куртуазная любовь, или амор

Между XI и XIV веками в Западной Европе возникло принципиально новое понимание любви, которое в наше время охарактеризовали как одно из важнейших изменений не только в чувствах людей, но и в духовном сознании человечества. Новое понимание выразилось в появлении куртуазной любви, или амор. Ее расцвет приходится на XI век с его крестовыми походами, организованными папством против ислама в Испании и на Среднем Востоке. Вслед за установлением связей с исламскими государствами в Южной Франции, а затем и во всей Западной Европе возникла поэзия, прославлявшая страстную любовь к женщине. Из королевства в королевство ее несли трубадуры, поэты и миннизингеры. Поэзия куртуазной любви сохранилась в романах о Тристане и Изольде, Ланселоте и Джиневре, Троилусе и Крессиде, Парсифале, а также в подлинной истории любви Элоизы и Абеляра.

В этих романах прославлялись разного рода страдания на почве земной любви, названные одним из американских писателей «горькой сладостью или сладкой горечью». Наивысшим счастьем считалась возможность испытывать неутоленную страсть. Вокруг любви возник своеобразный культ. Можно сказать, что слова в христианском изречении «Бог есть Любовь» поменялись местами. В центре этого культа оказалась конкретная женщина. В отличие от эроса и агапэ амор была личным и избирательным чувством. Предмет любви всегда тщательно выбирался любящим и не мог быть заменен никем другим. Чтобы стать достойной поклонения, женщине, в свою очередь, полагалось иметь мужа и быть недосягаемой. Куртуазную любовь часто осуждали за прославление супружеской измены и неуважение к браку. Однако, супружеская измена вовсе не являлась целью куртуазной любви, а ее «безнравственность» обусловлена самой природой средневекового брака. Сущность куртуазной любви оставляла свободно избранная и свободно дарованная любовь. В средние века считалось, что такая любовь недоступна супругам, руководствовавшимся в своем поведении интересами продолжения рода и собственности, а также политическими амбициями.

Правила амор строятся на том, что рыцарь тайно поступает на службу к своей возлюбленной. Эта служба возвышает и облагораживает его: служа даме, рыцарь должен доказать свою доблесть. Здесь можно вспомнить слова одного средневекового автора: «Какая чудесная вещь любовь! Она заставляет мужчину обрести многие добродетели и развивает в любом человеке многие положительные качества». Отношения рыцаря с дамой походили на взаимоотношения вассала с феодалом и предполагали взаимные права и обязанности. Рыцарь должен был вынести любые испытания, изобретенные его дамой. При европейских дворах были учреждены так называемые «любовные суды», которые решали споры между возлюбленными. Обычно рыцарь доказывал свою доблесть на турнирах и поединках. Мучения, которым подвергал себя добивающийся расположения дамы рыцарь, зачастую приближались к самоистязанию кающегося грешника. Считалось, что каждое успешно пройденное испытание ведет к сближению влюбленных.

Характер и правила куртуазной любви в огромной степени определялись стремлением военной аристократии (которая в это время начала оформляться как класс) отмежеваться, с одной стороны, от крестьянства, а с другой, от духовенства. Наряду с рыцарским кодексом чести аристократия изобрела

сложный ритуал совершенствования рыцаря как воина. Постигая искусство куртуазной любви, рыцарь подвергал себя испытаниям, которые должны были сделать его более воспитанным и благородным человеком. По мнению некоторых авторов, «со времен Древнего Рима на Западе куртуазность и куртуазный гуманизм являлись наиболее мощным фактором развития культуры после христианства. Ни в одну другую эпоху идеал цивилизации не сливался в такой степени с идеалом любви».

Учитывая религиозный характер средневекового общества, исповедовать идеи куртуазной любви значило совершать нечто святотатственное и еретическое. Эти идеи получили особое распространение на окраинах Римской Империи и за ее пределами, т.е. среди народов, сравнительно поздно обращенных в христианство. С этой точки зрения куртуазная любовь выглядит протестом против претензий христианской церкви на знание абсолютной истины. Являясь анаграммой слова «roma», слово «amor» символизирует оппозицию Риму. Отстаивая принципы куртуазной любви, рыцарство насаждало собственную систему ценностей и утверждало собственную власть, содействуя, таким образом, процессу раскрепощения личности, достигшему расцвета в период Реформаторства. Несомненно, церковь видела в рыцарстве угрозу и поэтому в XIII веке организовала на юге Франции так называемый Альбигойский крестовый поход, во время которого приверженцы куртуазной любви попали в число подлежавших уничтожению.

Между идеалами куртуазной любви и реальной жизнью существовало глубокое расхождение. По словам одного из современных исследователей, «цивилизация всегда стремится обрядить любовь в фантастические одежды, возвеличить ее и дать ей определение, забыв, таким образом, о суровой реальности». В конечном счете, возвышенное отношение к женщине в куртуазной любви во многом обусловлено потребностью мужчины проявить в любви такой же героизм, как и в сражении. Кристина де Пизан, жившая в XIV веке и считающаяся одной из первых писательниц-феминисток, утверждала: «Все правила любви изобретены мужчинами. Даже когда речь идет об идеальной любви, эротическая культура все равно остается пронизанной мужским эгоизмом. Именно стремление замаскировать этот эгоизм и ведет к бесконечным выпадам против брака и женщины с ее слабостями. Чтобы разом ответить на все эти нападки, достаточно вспомнить, что подобные мысли всегда высказывались не женщинами».

Наряду с литературой, превозносящей куртуазную любовь в ее возвышенных формах, выросла литература, прославляющая искусство соблазнения. Ее появление усугубило уязвимость женщины и опасность любви, поскольку, несмотря на правила куртуазной любви, сексуальная сторона жизни высших классов оставалась удивительно грубой».

В XIII и XIV веках платоническая любовь становится модой в европейской литературе. Она вдохновляет лирику Данте, Кавальканти, Петрарки. Плотское ощущение одухотворяется до самых отвлеченных привязанностей. Любовь понимается как страсть, которая зарождается в душе при посредстве чувств. Она определяет поступки людей — королей, поэтов, мечтателей...

Но может ли человечество обойтись без любви? Рождающаяся эпоха рациональности отвечает однозначно: может. Мыслитель XVII века Фрэнсис Бэкон оценивает эрос как безумие. Что может противостоять любви? Только кристально ясный ум. Ни один из древних великих людей не позволил себе впасть в беспамятство от этого чувства...

ФРЭНСИС БЭКОН

О любви

«Сцена более благосклонна к любви, чем человеческая жизнь,— говорит Бэкон.— Ибо на сцене любовь, как правило, является предметом комедий, и лишь иногда — трагедий; но в жизни она приносит много несчастий, принимая иногда вид сирены, иногда — фурии. Можно заметить, что среди всех великих и достойных людей (древних или современных, о которых сохранилась память) нет ни одного, который был бы увлечен любовью до безумия; это говорит о том, что великие умы и великие дела, действительно, не допускают развития этой страсти, свойственной слабым. Тем не менее необходимо сделать исключение в отношении Марка Антония, соправителя Рима, и Аппия Клавдия, децемвира и законодателя, из которых первый был действительно человеком сластолюбивым и неумеренным, а второй — строгим и мудрым. А поэтому нам представляется, что любовь (хотя и редко) может найти путь не только в сердце, для нее открытое, но и в сердце, надежно от нее защищенное, если не быть бдительным. Плохо говорит Эпикур: «Каждый из нас для другого являет великий театр» — как будто человек, созданный для созерцания небес и всех бла-

городных предметов, не должен делать ничего, как стоять на коленях перед маленьким идолом и быть рабом, не скажу, низменных желаний (подобно животным), но зрения, которое было дано ему для более возвышенных целей.

Интересно отметить эксцессы, свойственные этой страсти, и то, как она идет наперекор природе и истинной ценности вещей; достаточно вспомнить постоянное употребление гипербол в речи, которые приличествуют, только когда говорят о любви и больше нигде. И дело не только в гиперболе; ибо хотя и хорошо было сказано, что архильстецом, в присутствии которого все мелкие льстецы кажутся разумными людьми, является наше самолюбие, однако, безусловно, влюбленный превосходит и его. Ведь нет такого гордого человека, который так до абсурда высоко думал бы о себе, как думают влюбленные о тех, кого они любят; и поэтому правильно сказано, что «невозможно любить и быть мудрым». И нельзя сказать, что эту слабость видят только другие люди, а тот, кого любят, ее не видит; нет, ее видит прежде всего любимый человек, за исключением тех случаев, когда любовь взаимна. Ибо истинное правило в этом отношении состоит в том, что любовь всегда вознаграждается либо взаимностью, либо скрытым и тайным презрением. Тем более мужчины должны остерегаться этой страсти, из-за которой теряются не только другие блага, но и она сама. Что касается до других потерь, то высказывание поэта действительно хорошо их определяет: тот, кто предпочитает Елену, теряет дары Юноны и Паллады. Ведь тот, кто слишком высоко ценит любовную привязанность, теряет и богатство и мудрость. Эта страсть достигает своей высшей точки в такие времена, когда человек более всего слаб, во времена великого процветания и великого бедствия, хотя в последнем случае она наблюдалась меньше; оба эти состояния возбуждают любовь, делают ее более бурной и тем самым показывают, что она есть дитя безрассудства.

Лучше поступает тот, кто при невозможности не допустить любви удерживает ее в подобающем ей месте и полностью отделяет от своих серьезных дел и действий в жизни; ибо если она вмешивается в дела, то взбаламучивает судьбы людей так сильно, что те не могут оставаться верными собственным целям. Не знаю, почему военные так предаются любви; я думаю, это объясняется тем же, почему они предаются вину, ибо опасности обычно требуют оплаты удовольствиями. В природе человека есть тайная склонность и стремление любить других; если они не расходуются на кого-либо одного или немногих,

то, естественно, распространяются на многих людей и побуждают их стать гуманными и милосердными, что иногда и наблюдается у монахов. Супружеская любовь создает человеческий род, дружеская любовь совершенствует его, а распутная любовь его развращает и унижает».

«Нас радует любое изображение самого сильного из чувств, дарованных нам природой, и одновременно возмущает, что нередко оно так дурно передано или так нелепо оклеветано» — эта фраза принадлежит французскому поэту Шарлю Бодлеру. По словам писателя, философ может наслаждаться образами целого музея любви, где представлено все — от одухотворенной нежности святой Терезы до наводящего скуку разврата пресыщенных веков.

Но если эрос — это страсть, воспламеняющая природные сексуальные инстинкты человека, то агапэ — высший, преобразующий человека вид любви. Амор, едва она вошла в обиход, выражает уникальность чувства, его сугубо личностное содержание. В нем воплощается индивидуализированное психологическое переживание. Если Фрэнсис Бэкон полагал, что любовь — не что иное, как безумие, то фрейдисты определили эрос как двойное безрассудство, ибо в нем участвуют двое.

Английскому мыслителю казалось, что любовь занимает ничтожно малое место в истории человечества. Зрелый муж, озабоченный государственными делами, или мудрец, постигающий таинства мира, вряд ли впадут в любовное исступление. Иначе видят эту проблему другие историки. Исследуя общественные потрясения, социальные катаклизмы и революционные сдвиги, они парадоксальным образом видят в истории проявление одного только эроса. «Ищите женщину!»

МАРИАН ФИЛЯР

Галантная эпоха

Религиозные войны породили не только пуританство, но и секуляризм[1] и индивидуализм аристократии. Индивидуализм защищал право на чувство, на страсть, на свободную любовь, на понимание эротической любви как особого счастья. Эта тенденция заметнее всего в XVIII веке, когда можно говорить о господстве эротизма в определенных кругах общества. Эротическая любовь составляла основное содержание жизни, с невиданной силой возрождался феминизм. Этот взгляд на мир как проявление своеобразного упадка должен был принести с собой эротоманию. Сто пятьде-

[1] Освобождение от церковного влияния в общественной и умственной деятельности.

сят лет — между Тридцатилетней войной и Французской революцией — были «золотым веком» аристократической и дворцовой галантности и великих королевских любовниц. Не существовало никаких ограничений полигамии и полиандрии при королевском дворе и во дворцах аристократов, а те, кто не предавался порокам, слыли чудаками или дикарями. Датский король поздравлял Петра I с тем, что тот «европеизируется» — завел себе любовницу. Это, несомненно, поколебало основы брака, во всяком случае, в его внеэкономической сфере. Внебрачный сын Августа Сильного, Мориц, написал трактат, в котором рекомендовал временные браки, на несколько лет, с возможностью их продления, поскольку брак на всю жизнь, по его мнению, противоречит природе. Супружеская верность сделалась смешным пережитком, ее никто ни от кого не ждал. Это привело к небывалому возрастанию сексуальной свободы мужчин, а в отношении свободы женщин — просто к революции.

Основным сексуальным лозунгом галантной эпохи было возвращение к природе, секс считали естественным и не видели в нем ничего постыдного. Женщина была создана действительно для любви, а не для того, чтобы доставлять удовольствие мужчине. У нее была собственная сексуальная жизнь, она имела право на активную роль, а не только на подчинение мужчине. Культ эротизма поставил ее в самый центр жизни, все вращалось вокруг нее. Но это не имело ничего общего со средневековым культом женщины, было гораздо естественнее, никто не стремился превращать любовные дела в драму. Не устраивал драм даже Петр I, заставая очередных любовников в спальне своей жены, Марты Скавронской, дочки курляндского пастора, возведение которой на трон под имепем Екатерины I вызвало небывалый скандал во всей Европе. Достойными продолжательницами той же традиции стали три следующие властительницы России: Анна, Елизавета и Екатерина II, через спальни которых прошли целые полчища мужчин, и ни один из них не был оставлен без награды: от верхового жеребца до польского трона. Не драматизировал ситуацию и Людовик XV, зная о сплетнях по поводу связи своего тестя Станислава Лещинского с собственной женой, дочерью Лещинского, и их любовных утехах по семь раз за ночь по ренессансным образцам; единственное, что предпринял Людовик — постарался не отставать от тестя, что, очевидно, в числе прочих причин привело к ухудшению его здоровья и к смерти. Необыкновенно возросла политическая роль женщин; любовницы француз-

ских Людовиков во главе с мадам Помпадур, правда, никогда не занимали трона, как Марта Скавронская, но практически правили Францией.

Аристократическая галантность не была «герметична», как это может показаться на первый взгляд. Ни в одну из предыдущих эпох любовные связи не были таким легким способом социального продвижения женщины в высшие слои общества. А благодаря тому, что женщины из низших классов заняли театральную, оперную и балетную сцену, и благодаря создавшейся вокруг них эротической атмосфере, это был самый доступный путь в аристократические круги. Единственное, что не допускалось в этот галантный век, это гомосексуализм. Людовик вмешался самым радикальным образом в известный версальский скандал с гомосексуальным «Клубом содомистов», а Фридриху Великому приходилось скрывать свою извращенную склонность.

Мир галантности, в сущности, был миром немногих. Большинство не могло себе позволить такого образа жизни, полигамия обходилась слишком дорого, социально-экономические условия не способствовали всеобщему промискуитету[1].

Аристократию не беспокоила собственная нравственность, но она и не стремилась навязать ее другим классам, в частности, буржуазии, которая, по упомянутым выше причинам, не хотела и, собственно, не могла принять этой морали, позволяя себе только с завистью поглядывать на аристократические утехи.

Аристократическому символу — Казанове — буржуазия противопоставила символ «падшей женщины», соблазненной искусителем-аристократом, порядочной женщины, которая тяжко расплачивается за совершенный грех, — символ, ставший ведущим мотивом нравоучительной буржуазной литературы этого периода.

В десятитомнике «История любви в истории Франции» автор Ги Бретон пишет, что самые серьезные специалисты, создавая школьные учебники, превращают историю Франции в скучнейший роман, поскольку они не упоминают в них о любви. По их мнению, события, которые потрясали Францию на протяжении веков, имели в своей основе всегда какие-то серьезные, а не амурные причины. Эти историки сочли бы себя обес-

[1] Неупорядоченные половые отношения.

чещенными, если бы признались, скажем, в том, что некий король объявил войну исключительно потому, что был опьянен ночью любви или что той или иной победой был обязан капризу фаворитки. Как бы то ни было, считает Ги Бретон, но главным персонажем истории является Женщина, поскольку за каждым из сорока королей, правившими Францией на протяжении целого тысячелетия, следует искать женщину... «Шерше ля фам!» — говорят французы, и это так!

Благодаря Женщине появлялись могущественные короли, из-за Нее короли лишались трона, ради Нее объявлялись войны, и, чтобы Ей нравиться, короли убивали, награждали, разрушали города, строили замки. Итак, истинная история Франции — это история Любви... Некоторые скажут: «Это еще следует доказать!» Мы и попытаемся это сделать вместе с Ги Бретоном.

Советскому читателю, любящему исторические романы, известны многие действующие лица французской истории. Обратимся к одной из ее страниц.

ГИ БРЕТОН

История любви в истории Франции

Третьим сыном Луи Бонапарта, родного брата Наполеона I, короля Голландии, и Гортензии де Богарнэ был Шарль Луи-Наполеон Бонапарт, ставший императором Франции в 1852 году. Рассказывают, что император был настоящим эротоманом. При виде женской юбки он впадал в транс. А поэтому с 1852 по 1870 год придворные дамы, благодаря императору, становились любовницами королевской власти, что позволяло им извлекать из своей «слабости» подлинное могущество...

30 января 1858 года, выходя из собора Парижской Богоматери, монсеньор архиепископ Парижский заявил, что он только что обвенчал Луи-Наполеона Бонапарта и мадемуазель де Монтихо. Первая брачная ночь весьма разочаровала императора, который ждал, что у его испанки пылкий темперамент... Медовый месяц Наполеона III и императрицы Эжени, несмотря на это, был достаточно нежным. Ей льстила роль супруги монарха, и очень скоро она привыкла к этой роли, которую ей суждено было играть в течение семнадцати лет. Она писала своей сестре в Испанию: «Со вчерашнего дня меня называют «Ваше величество», и мне думается, что каждый из нас играет свою роль в каком-то спектакле... Когда у тебя я играла роль императрицы, я не знала, что буду играть ее в жизни...» И она действительно играла роль супруги монарха, самой элегант-

ной, самой улыбающейся, самой куртуазной в Европе. Скрупулезная во всем, она хотела брать уроки хороших манер у великой актрисы своего времени —Рашели. Как известно, судьба лукава! И надо же ей было выбрать именно Рашель! Весь двор смаковал в течение нескольких дней эту новость и испытывал сладострастное удовольствие, видя, как бывшая любовница Наполеона III обучала императрицу тонкостям реверанса.

Эжени обращалась к своему супругу только на «вы» и именовала его не иначе как «сир», тогда как он, «тыкая» ей при всех, называл ее по имени, да еще и произносил его через «ю»: «Южени». Императрицу шокировали эти вольности супруга. Действительно, язык Наполеона III можно было сравнить с воровским жаргоном. Однажды он заставил покраснеть императрицу, рассказав ей об одном злоключении виконта Аженора де В. Этот господин считался сексуально озабоченным и испытывал удовольствие от связи только с девственницами. А посему платил баснословные суммы всем недозревшим плодам, возжелавшим дозреть в его постели. Одна молодая куртизанка решила извлечь выгоду из его страсти. У сводни она приобрела мазь, помогавшую женщинам как бы вернуть девственность. Несколько дней спустя, использовав волшебную мазь, она покорила виконта, который, вне себя от радости, решил, что встретился с истинной девственницей.

Назавтра прекрасный Ажерон, проникнув в будуар своей новой любовницы, заметил баночку с какой-то мазью. Наш герой решил употребить эту мазь, дабы избавиться от трещин на губах. Увы! К его большому удивлению, кожу стянуло до такой степени, что рот стал совсем крошечным...

Услышав эту историю из уст своего мужа, Эжени поджала губы и приняла высокомерный вид более чем когда-либо.

Одна история интересней другой. Ги Бретон приводит в своей книге воспоминания некоего придворного.

Однажды мартовским вечером 1853 года во дворце Тюильри был устроен костюмированный бал. Император, полузакрыв глаза, наблюдал за придворными дамами, напоминая всем своим видом лиса в засаде у курятника. Вдруг взор его вспыхнул. Он увидел молодую даму, появившуюся в странном костюме: декольте позволяло почти полностью увидеть ее прекрасную грудь. Император стал лихорадочно теребить свой ус... Оскорбленная императрица, заметив это, пришла в негодование, отнюдь не разделяя восхищения супруга:

— Можно показывать плечи, — прошептала она, — но уж не ниже пояса!

В этот момент приближенный императора, президент Дюпэн, также пристально разглядывал смелое декольте. Прекрасная дама обратилась к нему:

— Почему вы меня так рассматриваете, господин президент?

Дюпэн вышел из затруднительного положения:

— Я восхищался, мадам, оригинальностью вашего костюма!

— Я — Амфитрита, богиня моря.

Дюпэн улыбнулся:

— Амфитрита?! Ах, да! Но, совершенно очевидно, во время отлива!..

Покраснев от смущения, молодая дама удалилась, а императрица, услышав этот диалог, была шокирована, найдя его грубым, и перестала вообще приглашать Дюпэна на приемы, устраиваемые ее супругом.

И в самом деле, Эжени слыла стыдливой недотрогой. Все шалости ее супруга и постельные баталии вызывали у нее злобное презрение. Абсолютно лишенная чувственности, бедная императрица считала мерзостью любовные игры своего супруга.

В своем целомудрии, в своей строгости, она была полной противоположностью придворным дамам. И действительно, в Тюильри царили красота, бесчестие, роскошь и сладострастие. Вот что пишет по этому поводу граф де Виель-Кастель: «Что касается женской добродетели, то тем, кто у меня об этом спросит, у меня есть один ответ: женщины при дворе похожи на театральный занавес — юбки их поднимаются за вечер скорее трижды, чем единожды... Если мужчина спрашивает напрямик у дамы, не желает ли она провести с ним ночь, то этот мужчина для нее — дурно воспитан. А ежели он позволит себе совершенно определенные прикосновения и произнесет: «Вы сводите меня с ума!» — и при этом начнет обращаться с ней еще более бесцеремонно, то он для нее — «Шарман!»

Целомудрие бедной императрицы каждый день подвергалось суровому испытанию. Тем более что императору и графу Морни, его брату, доставляло злое удовольствие держать ее в курсе всех гнусностей и мерзостей высшего общества. Так однажды утром они рассказали ей анекдот о Мари д'Агу (из мемуаров графа де Виель-Кастеля).

«Графиня д'Агу была той дамой, которую похитил композитор Лист и от которой у него было трое детей. Затем, расставшись с Листом и вернувшись в Париж, она стала любов-

ницей сначала Эмиля де Жирардена, затем писателя-социалиста, печатавшегося под псевдонимом Даниэль Штерн. Однажды, сидя вдвоем с графом де Виель-Кастель за чашечкой чая, она спросила его:

— А знаете ли вы, граф, какое удовольствие испытывает дама, занимаясь любовью одновременно с двумя мужчинами?

— Ну и какое же? — спросил де Виель-Кастель.

— Вы когда-нибудь ели бутерброды?

— Да...

— А знаете, как их делают?

— Черт побери! Так это же кусок хлеба, на который с одной стороны намазывается масло, а с другой стороны кладется ветчина...[1]

— Так вот я была в этом бутерброде хлебом!..

Можно себе представить, что пережила Эжени, узнав, что существуют такие развлечения.

* * *

Однажды Наполеон III пожаловался своей кузине принцессе Матильде на то, что его преследуют сразу три женщины.

— Зачем вам столько хлопот, сир? А как же императрица?..

— Императрица? — сказал Наполеон, пожав плечами. — Я ей был верен в течение шести месяцев нашего союза, а мне нужны развлечения. Я не могу заставить себя привыкнуть к монотонности. Впрочем, это не мешает мне всегда возвращаться к ней с удовольствием.

Надо отметить, что последняя весьма учтивая фраза была фальшивой. На самом деле Наполеон III не испытывал никакого удовольствия от водворения на супружеское ложе к своей фригидной жене. Его вынуждали к этому только интересы династии.

После шести месяцев спокойной жизни ему необходимо было вернуться к привычной суете. На улице дю Бак он снял маленький отель, куда отправлялся по вечерам в костюме горожанина. Там он встречался то с актрисой, то с кокоткой, то с субреткой, то со светской дамой, то с куртизанкой. Все ему были по вкусу. Однажды, отвечая на вопрос, какая женщина больше ценится в любви с точки зрения страстности: светская дама или куртизанка, — Наполеон сказал: «В страсти все женщины ценны, каково бы ни было их социальное положение». Его лю-

---

[1] В то время бутерброды действительно делались таким образом. *(Прим. автора.)*

бовь к женщинам послужила притчей во языцех. Один казус смаковался всем двором. Праздничным вечером проходя по маленькому неосвещенному дворцовому салону, император заметил на диване особу в длинной юбке. Он подошел, скользнул рукой по ноге, лаская ее, и позволил себе некоторые вольности. Раздался крик! Наполеону III ничего не осталось, как почтительно извиниться перед епископом Нансийским, который, утомившись от празднества, зашел в салон отдохнуть и расположился на диване, где блаженно уснул.

Естественно, императрица была информирована о ночных вылазках своего мужа. Узнав о романе с прекрасной англичанкой мисс Говард, она не била посуды, не произнесла ни одного слова в его адрес, а просто запретила августейшему супругу приближаться к своей постели. Опечаленный Наполеон III, который мечтал основать династию, любой ценой хотел добиться ее расположения, поскольку Эжени была единственной женщиной в мире, могущей дать наследника престола. Скрепя сердце, он попросил мисс Говард хотя бы на время покинуть Францию. Только после ее отъезда Эжени впустила императора в свою спальню.

Увы! Прошли месяцы, так и не принеся надежды императорской чете. А Эжени, у которой был выкидыш в апреле 1853 года, была убита горем. В ярости от того, что он бесполезно тратит время с женщиной, к которой даже не испытывает влечения, Наполеон снова обратил взор на кокетливых и шаловливых девиц с «вертлявым задом», которые если и не могли подарить ему наследника, так хоть доставляли минуты истинного наслаждения.

В феврале 1854 года несчастная императрица узнала, что муж обманывает ее одновременно и с молодой актрисой, и с мисс Говард, вернувшейся в Париж. Закрывшись в своей комнате, она горько плакала и решила изменить тактику. Для того чтобы вернуть себе мужа, было единственное средство: подарить ему ребенка. И теперь она просила супруга каждый вечер приходить к ней. Ее настойчивость вскоре увенчалась успехом. В мае Эжени объявила Наполеону о своей беременности. Увы, три месяца спустя — снова выкидыш. Двор опечалился: никогда у Франции уже не будет наследника. Вызвав знаменитого акушера Поля Дюбуа в Тюильри, Наполеон попросил его осмотреть императрицу.

Дюбуа потупил взор при одной мысли о том, что должен осмотреть доступное лишь одному императору. И его охватила паника.

— Я лучше вам пришлю акушерку, сир!

— Ну, взгляните хотя бы! — дружески предложил император.

— Нет, нет! — вскричал Дюбуа, покраснев.

Пришедшая на следующий день акушерка долго обследовала Эжени. Затем, подняв голову, сказала:

— Все в порядке, Ваше величество!

И Франция с облегчением вздохнула...

Спустя некоторое время королевская чета отправилась в Лондон в гости к королеве Виктории, которая рожала детей, как «наседка». Поделившись с ней своим горем, Наполеон и Эжени услышали краткий совет.

— Все очень просто, — сказала королева. — Подложите под зад вашей жены подушку.

Видимо, совет был безошибочным, ибо два месяца спустя торжествующая Эжени объявила императору, что он скоро станет отцом. Ребенок родился 9 марта 1855 года. Это был мальчик».

Писательница Жюльет Бензони родилась в Париже, часть жизни провела в Бургундии, а затем в Марокко. Вернувшись в Париж, она стала писать исторические романы, которые принесли ей мировую известность. Ее книги переведены на двадцать языков. Семитомный роман Жюльет Бензони «Одиссея Марианны» пока незнаком советским читателям, даже тем, кто интересуется историческими произведениями.

Героиня «Одиссеи», Марианна д'Ассельна де Вильнёв, родилась во времена террора, в годы Французской революции. С детства судьба отметила ее своей печатью. Рано оставшись сиротой — ее родители погибли на эшафоте, — она воспитывается у своей тетки в Англии, в родовом имении Шелтон. После счастливого отрочества Марианна выходит замуж за респектабельного англичанина лорда Крэнмера. Но в день свадьбы судьба ее снова резко меняется: из нежной, мягкой девушки она становится оскорбленной женщиной, вдовой и преступницей, вынужденной спасаться бегством. Респектабельный лорд оказывается недостойным картежником, проигравшим в день свадьбы все состояние своей жены и ее самое. Первая ее брачная ночь принадлежит теперь молодому американскому капитану Джэзону Бофору. Чтобы спасти свою честь, Марианна дерется с мужем на дуэли, убивает его и бежит в Париж.

Там для нее начинается жизнь, полная интриг и заговоров, пока однажды Талейран, бывший министр иностранных дел императора Наполеона I, не препровождает ее в некий загородный дом...

ЖЮЛЬЕТ БЕНЗОНИ

Одиссея Марианны

«Дорожная карета Шарля-Мориса де Талейрана-Перигора князя Беневанского, запряженная ирландскими рысаками, бешено мчалась по рю де Лоншам, пустынной в этот час. Было восемь вечера. Утопая в бархатных подушках, Марианна безучастно смотрела на снежный пейзаж, вспоминая утренний разговор с Талейраном.

— Сегодня вечером я отвезу вас к одному из моих ближайших друзей, большому любителю музыки. Вы должны выглядеть еще прекраснее, чем всегда. Впрочем, это вовсе не трудно: вам стоит только появиться в розовом.

Марианна удивилась озабоченности князя ее туалетом, да еще предпочтению розовому цвету. Это было тем более странно, что сам Талейран одевался, как правило, в зеленое и синее. К тому же у нее никогда не было розового платья.

— К вечеру оно у вас будет, — сказал на это Талейран.

И действительно, портной Леруа доставил Марианне сказочное платье из бледно-розового атласа с серебряной нитью, словно подернутого инеем. К нему — большая накидка с капюшоном из той же ткани, подбитая горностаем, и горностаевая муфта. Наряд этот, несомненно, шел ей, о чем свидетельствовала одобрительная улыбка князя.

— Думаю, — сказал он, — вы добьетесь сегодня еще одной победы, может быть, самой значительной.

Когда карета пересекала Сену, Марианна спросила у своего спутника:

— Так мы едем за город? Далеко ли?

В сумерках она едва различала силуэт своего спутника, но чувствовала аромат его духов. Когда они выехали из города, ей показалось, что он задремал.

— Нет, не очень. Деревня, куда мы направляемся, называется Ла Сель Сен-Клу. У моего друга там маленький очаровательный замок. Когда-то король останавливался в нем во время охоты.

Талейран редко бывал так лирически настроен. Поэтому любопытство Марианны росло с каждой минутой. До сих пор Талейран приглашал ее только в парижские салоны: к мадам де Перигор, к мадам де Лаваль. Куда же они едут нынче?

— Нас там ждут? — спросила Марианна. — Большое ли будет общество?

Князь откашлялся:

— Да нет, право! Не думаю, что большое... Милое дитя, пока мы не прибыли в замок, мне нужно кое-что объяснить вам. Друг, к которому я вас везу, — господин Дени.

Марианна удивленно подняла брови.

— Господин Дени? Господин Дени де...

— Без де... Просто богатый человек, мой старый друг, с которым мы многое пережили. Кроме того, несчастный человек, удрученный горем. В некотором роде ваша миссия — благотворительная.

— Одетая как принцесса, да еще в бальном туалете — к человеку, удрученному горем? Не уместней было бы в этом случае темное платье?

— Сочувствие в сердце, а не в одежде... А ночь, которая царит в душе моего друга, призывает утреннюю зарю. Этой зарей должны стать вы.

Любопытство переполняло Марианну. Талейран говорил лирическим тоном, хотя вид у него был слегка лукавый. Кто же этот неизвестный господин, владевший старинным охотничьим замком, для которого она надела столь пышный наряд...

На фоне чернеющего леса замок дю Бютар казался белым пятном на берегу замерзшего озера. Сквозь высокие окна пробивались золотистые снопы света, сверкавшие бриллиантовой россыпью на застывшем снегу. Марианна зачарованно любовалась этой сказочной картиной. Не глядя на лакея, опустившего перед ней подножку кареты, она как во сне пошла к распахнутой двери. У нее не было времени как следует рассмотреть вестибюль — лакей уже отворял перед ней двери бело-голубого салона, обставленного легкой лакированной мебелью явно прошлого века, обтянутой полосатым бело-голубым шелком. Казалось, все здесь служило одной цели: поразить пришельца роскошными букетами ирисов и розовых тюльпанов, стоявшими повсюду. Марианна заметила и клавесин у окна. Салон был пуст. Но вот дверь отворилась и вошел мужчина.

Предполагая, что это и есть господин Дени, Марианна посмотрела на него с любопытством. Господин среднего роста, откровенно уродливый. Профиль его напоминал лезвие ножа, глаза слегка косили. Взгляд же был полон доброты, и это тронуло Марианну. Единственное, что ее удивило — одежда зеленого сукна, странная для вдовца.

— Точность, свойственная военным! Потрясающе! Добрый вечер, мой дорогой князь! Итак, это и есть наша молодая особа!

— Да, мой дорогой Дюрок! Это мадемуазель Мальрус с ее несравненным голосом. Господина Дени еще нет?

— Пока нет, — отвечал тот, кого назвали Дюроком, — но скоро прибудет. А пока я приглашаю вас на легкий ужин, предполагая, что вы озябли после столь долгого путешествия.

— Спасибо, друг мой. Мадемуазель Мальрус будет приятно согреться, что же касается меня, то я покидаю вас.

— Как! Ваше высочество оставляет меня?

Талейран подошел к Марианне и нежно поцеловал ее руку:

— Я не оставляю вас, я вас препоручаю. Мне необходимо вернуться... Забудьте всякий страх. Господин Дюрок возьмет на себя отеческую заботу о вас. А после того, как вы своим пением плените вашего бедного друга, вас доставят домой в его карете...

Разглядывая господина Дюрока, провожавшего Талейрана, Марианна мысленно задавала себе вопрос, кем был он в доме господина Дени. Родственником? Просто другом? А может, братом той, кого оплакивал таинственный хозяин замка? Да нет, судя по зеленому сюртуку, он не мог быть братом умершей...

Возвращение Дюрока прервало ход ее мыслей. Он шел в сопровождении мажордома, одетого во все черное и катившего перед собой сервированный столик. Марианну удивил его снисходительный поклон. Поистине, этот Дени какой-нибудь самодовольный выскочка, если его слуги так высокомерны!.. Каков хозяин, такова и челядь!..

— Я должна буду петь, когда господин Дени войдет? — спросила она у Дюрока. — А вдруг он застанет меня за ужином?

— Да, вы правы. Но вы начнете, когда мы услышим шум подъезжающей кареты.

Дюрок с каждой минутой волновался все больше, и это становилось заметным. Продолжая лакомиться бульоном, Марианна мысленно улыбнулась: приключение было забавным. Ей уже по-настоящему хотелось увидеть загадочного господина, который наводил такой страх у себя в доме. Вдруг Марианну осенило: уж не псевдоним ли это — господин Дени? Уж не прячется ли что-нибудь за этим? Может быть, это дворянин-иностранец, участник заговора против режима? Не намекал ли ей Фуше: в высшем свете поговаривают о сомнительной преданности Талейрана императору. Ходили слухи, что он если еще не предал императора, то не преминет сделать это в ближайшее время. Простоватое имя «господин Дени» явно скры-

вало кого-то, кто, возможно, был послан русским царем, а, возможно, был английским шпионом.

— Господин Дени давно живет во Франции? — внезапно спросила Марианна.

Дюрок широко открыл глаза:

— Э-э-э... Некоторое время. Но почему вы спросили?

Шум подкатившей кареты избавил Марианну от ответа. Она поспешила к клавесину. Ею вдруг овладел жуткий страх. Казалось, что пол выскальзывает из-под ее ног. Руки стали ледяными, и она сжала их крепко-крепко, чтобы унять дрожь. Она взглянула на мгновенно появившегося аккомпаниатора и совсем растерялась...

Зазвучали голоса, шаги... Марианна запела, с удивлением услышав свой голос, такой теплый, бархатный, словно ужасающий страх не перехватывал ей горло. Продолжая петь, она почувствовала, что шаги замерли у двери. Потом она больше ничего не слышала, но абсолютно явственно ощутила чье-то присутствие, взгляд. И странно! Ей вдруг показалось, что это присутствие избавило ее от необъяснимой тревоги. Оно было дружеским, успокаивающим. Страх улетучился, словно по волшебству. Вот и опять музыка пришла к ней на помощь.

Воцарилась тишина. Марианна не осмеливалась повернуть голову к камину, около которого угадывала присутствие гостя. Вдруг послышался голос:

— Это восхитительно! Спойте еще, мадемуазель. Знаете ли вы «Плезир д'амур»?

Теперь она позволила себе бросить взгляд на говорящего, мужчину довольно маленького роста и плотного телосложения. На нем был черный фрак, черный галстук. Его белые трико пестрели чернильными пятнами. Можно было даже определить форму пера, которое о них вытирали. Эти трико были заправлены в короткие английские сапоги с серебряными шпорами. Руки и ноги господина Дени оказались маленькими, элегантными, но особенно обворожило Марианну его лицо. Она еще никогда не встречала такого лица — цвета слоновой кости, классической красоты, — напоминавшего римскую скульптуру. Короткие черные прямые волосы падали на лоб, подчеркивая серо-голубые глубоко сидящие глаза. Его взгляд трудно было выдержать. Он был незабываем.

Марианна откровенно рассматривала незнакомца и, поймав себя на этом, отчаянно покраснела.

Не понимая, что с ней происходит, она запела «Плезир д'амур», вкладывая в мелодию всю свою страстность и не пере-

ставая смотреть на господина Дени. Никогда еще ни один мужчина не привлекал ее так, как он. И она пела, будто слова романса относились именно к нему:

Пока воды этого ручья
Будут медленно течь
И заливать луга,
Я буду любить тебя.

Песня любви лилась из ее уст, а господин Дени медленно приближался к ней. Он не отрывал от нее взора и смотрел так, как еще ни один мужчина не смел на нее смотреть. И молодой девушке казалось, что если он отведет свой взгляд, она тут же умрет. Слезы подступили к глазам. Она чувствовала, как бьется ее сердце, сильно, почти разрываясь, была в одно и то же время счастлива, испугана и сбита с толку... Но понимала, что готова петь всю ночь, лишь бы он смотрел на нее.

Господин Дюрок и пианист исчезли... Марианне это показалось вполне естественным. В несколько минут незнакомец с забавной фамилией стал для нее значить больше, чем весь окружающий мир. Напрасно Марианна пыталась определить свое дикое первобытное чувство, которое буквально перевернуло ее душу. Казалось, до сих пор она жила лишь ради этого мгновения. Она уже не хотела знать, кем был этот человек. Звался ли он просто господином Дени, был ли дворянином или опасным преступником. Зачем ей знать это? Он был здесь и заполнял собою весь мир.

Прислонившись к клавесину, она смотрела, как он приближается к ней, и ее застывшее сердце таяло под чарами его улыбки.

— Когда я был ребенком, — сказал он доверительно, — я часто задавал себе вопрос, почему Улисс молил своих спутников бросить его в море, почему стремился плыть на голос морской сирены. Теперь я знаю, что он испытывал.

Несмотря на свое французское имя, господин Дени, должно быть, был иностранцем: в его речи проскальзывал легкий итальянский акцент. На секунду мелькнула мысль, что он все-таки заговорщик. Но Марианна отогнала ее — какая разница! Она знала только одно — отныне он вошел в ее жизнь.

С большой нежностью господин Дени взял ладони Марианны в свои, теплые и надежные, и удивился, что ее руки так холодны.

— О, да вы совсем озябли! Давайте устроимся поближе к камину.

Он усадил ее в шезлонг и уселся подле, пододвинув поближе сервированный столик.

— Не хотите ли съесть что-нибудь?

— Нет, благодарю вас... Право, ничего.

— Только не говорите мне, что вы не голодны! Может быть, немного этого паштета?.. Конечно, вы должны любить шампанское? Так, может быть, шампанского?

— Я... Я его никогда не пила, — с беспокойством заметила Марианна, видя, как он наполняет хрустальный бокал золотым игристым вином.

— Ну вот и случай, чтобы начать, — весело сказал господин Дени. — Вам понравится. Нет женщины в мире, которая не любила бы шампанское. И оно заставляет блестеть глаза, — добавил он, поворачиваясь к девушке. — Правда, ваши отнюдь не нуждаются в искусственном блеске. Даже изумруды, которые мне приходилось видеть, менее прекрасны, чем ваши глаза.

Не переставая болтать, он ухаживал за ней с ловкостью и предупредительностью влюбленного. С некоторым страхом Марианна пригубила вино. Оно было великолепно! Господин Дени искоса смотрел на нее, улыбаясь.

— Ну и как!

— Восхитительно! Можно еще немного?..

— Конечно!

Он налил ей вина и увлеченно принялся за еду. Марианна последовала его примеру. И вдруг салон наполнился домашним уютом. Никогда еще Марианна не чувствовала себя такой счастливой. Она отпила шампанского и улыбнулась господину Дени. До чего же он мил и весел! Ей даже показалось, что чересчур весел для вдовца. А может быть, он не слишком любил свою жену? Или волшебная музыка развеселила его? Или еще что-нибудь... Да, собственно, какое это имело значение! Шампанское придало Марианне уверенности. Она не чувствовала больше ни усталости, ни страха.

— Еще бокал?

— Да, с удовольствием! Я... Я никогда не думала, что это так вкусно!

Он позволил ей выпить еще, а потом нежно отнял бокал и придвинулся совсем близко.

— А теперь довольно! Скажи мне, как тебя зовут?

Даже внезапное обращение на «ты» не шокировало Марианну. Она сочла это естественным. Ведь за столь короткое время они стали настоящими друзьями.

— Меня зовут Марианна. Марианна Ма...

— Нет! Я хочу знать только твое имя... А остальное узнаю потом, если захочу. У мечты может быть только имя. А я давно уже потерял надежду на столь прекрасную мечту... Ты восхитительна, Марианна! Твой голос околдовал меня, а твоя красота меня чарует.

— Правда? — спросила она, счастливая. — Я вам так нравлюсь? Тогда скажите мне ваше имя. Ведь господин Дени — это ужасно...

— Я знаю. Зови меня... Шарль! Тебе нравится имя «Шарль»?

— Мне все равно! Я буду любить его, раз это ваше имя.

Он взял ее руку и нежно поцеловал. Сначала руку, потом плечо, обнажив его. Под его ласками Марианну охватила дрожь. Она закрыла глаза, вся во власти неожиданного счастья. Ни за что в мире она не оттолкнула бы его. Шампанское будоражило кровь, кружило голову. Шарль оказался ее мечтой. Ей вовсе не хотелось очнуться, не хотелось говорить, — ей хотелось слушать собственное тело, которое вдруг стало откликаться на прикосновения, заставляющие желать большего, чем поцелуи. Когда его рука скользнула на ее талию и когда он нежно опустил ее на подушки маленького шезлонга, она глубоко вздохнула, открыла глаза, чтобы увидеть лицо Шарля, и тотчас же закрыла их, когда их губы встретились. Он поцеловал ее нежно, не настойчиво, скорее лаская ее губы, медленно пробуждая в девушке чувственность. Ее сердце стучало так, что, казалось, грудь разорвется, и задыхаясь она ждала все новых и новых поцелуев и ласк. Не отрываясь от ее губ, Шарль прошептал:

— Ты хочешь принадлежать мне? Ты хочешь? Скажи...

Движением век она ответила «да» и крепче обняла его за шею, чтобы быть еще ближе.

— Здесь слишком светло, — прошептала она.

— Идем!

Прижимая к себе, он поднял ее и увлек за собой в маленькую комнату, обитую голубой тканью. Там пахло испанским жасмином и угадывалась белизна открытой постели. Единственным светом, озаряющим комнату, явно предназначенную для любви, был потрескивающий огонь камина. При виде кровати Марианна инстинктивно попятилась, но Шарль приник к ней таким горячим поцелуем, что она почти лишилась чувств в его объятиях. Затем, сев на пуф у камина, он усадил ее на колени, как ребенка. Расстегивая крючки прекрасного розового платья, он шептал ей по-итальянски милые и нежные слова

любви, покрывал поцелуями ее плечи, ласкал грудь, освобождая из кружев тонкой сорочки. Жесты его были полны такой бережности, а слова — такой ласки, что Марианна забыла о всяком целомудрии, ради желания и наслаждения слышать, как он без конца повторяет ей, сколь она прекрасна. Обнаженную и дрожащую, он увлек ее в постель, оставив на несколько мгновений в тепле душистых простынь, чтобы затем соединиться в порыве любви...

Через два часа засыпая в объятиях Шарля, успокоенная и умиротворенная Марианна, счастливо вздыхая, думала, что человек, которому она отдалась так внезапно, поистине стал ее возлюбленным, любовником в полном смысле этого слова. Нынешней ночью она действительно стала настоящей женщиной. Любовь Шарля разбудила ее, и теперь она понимала, что означает принадлежать мужчине.

— Я люблю тебя, Шарль! — шептала она, прижимаясь к его груди, смыкая веки, отяжеленные сном. — Я твоя отныне и навсегда. Где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось, я всегда буду с тобой, я всегда буду любить тебя.

Услышав это, он приподнялся и, опершись на локоть, заставил ее посмотреть на себя.

— Не нужно говорить подобных вещей, кариссима миа! Никто не знает, что прячется за закрытой дверью будущего. Завтра я могу умереть...

— Но тогда и я умру! И все равно мы будем вместе. Тебе не дано знать, чем ты одарил меня этой ночью. Здесь ты бессилен. Я принадлежу тебе, только тебе одному. Поцелуй меня, Шарль! Прижми меня к себе как можно крепче!

И он снова сжал Марианну в объятиях, да так, что она застонала. И снова он подчинил ее своему желанию. А потом прошептал:

— Ты мне подарила себя, и ты же меня благодаришь!.. Мио дольче амор!.. Ты права: никто и ничто не сможет заставить нас забыть эту ночь. А теперь спи! Уже поздно.

Послушная, она снова приникла к его плечу и закрыла глаза. Все было так хорошо и так просто. Она любила его, он любил ее... И кто мог отныне помешать им навсегда принадлежать друг другу?..

* * *

Покинув замок дю Бютар, Марианна оказывается в руках злейших врагов. От своих похитителей она узнает, что Шарль Дени — не кто иной, как Наполеон Бонапарт, император Фран-

ции, человек, в ненависти к которому она воспитывалась в Англии. Но даже это не смогло восторжествовать над чувством, которое родилось в Марианне в замке дю Бютар.

В интересах государства избранницей императора должна стать Мария-Луиза, принцесса Австрийская... Дни счастья Марианны сочтены. Она ждет ребенка от Наполеона. А в это время перед ней, как призрак, появляется убитый ею, по ее предположениям, лорд Крэнмер.

Кто же спасет Марианну от опасностей, окружающих со всех сторон? У ребенка должно быть будущее, должно быть имя. Крестный отец Марианны, аббат де Шазей, ставший кардиналом де Сан Лоренцо, добивается разрешения у папы Римского на ее развод с лордом Крэнмером. Условием развода будет брак Марианны со знатным незнакомцем из Тосканы. Кто же этот князь, прячущий свое лицо и живущий в замке, на который, по легенде, ниспослано проклятие? В чем тайна князя, ставшего мужем Марианны? Она пытается разгадать ее. Но разгадка придет позже...

Спустя некоторое время Марианна становится тайной посланницей Наполеона. Ей поручено прибыть в Константинополь и попытаться убедить турецкого султана продолжить войну с Россией, чтобы Наполеон смог, в свою очередь, начать войну с русским царем. Марианна должна вести переговоры с султаншей-матерью, дальней родственницей которой она является. По пути в Константинополь ее корабль получает повреждения и вынужден пристать к острову Корфу.

* * *

... Порт острова Корфу являл собой пеструю картину, которая так перекликалась с новым внутренним состоянием Марианны. Причудливые по форме корабли, стоявшие в гавани, сверкали медной отделкой, за ними амфитеатром раскинулся город со своими беленькими домиками, утопающими в тени многовековых инжировых деревьев. А венчала всю эту панораму старинная византийская крепость с победным названием «Новый форт». Старая крепость «Фортецца Веккия» стояла в некотором отдалении от порта и зорким надменным глазом маяка следила за тем, что происходит на море.

Набережная, точно веселая лужайка весной, была заполнена пестрой и радостной толпой, где ярко-красные греческие костюмы соседствовали с тонкими светлыми платьями жен

офицеров гарнизона. Весь этот суматошный мирок, приятный, наполненный жизнью, шумел, сопровождаемый криками морских птиц.

— Какое прекрасное место! — прошептала Марианна, покоренная этой красотой. — И как здесь все веселы!

— Несколько напоминает танец на вулкане, — заметил ее друг, виконт де Жоливаль. — Эта всеобщая радость всего лишь видимость, хотя я охотно допускаю, что край этот создан для любви.

Едва очутившись в гавани, бриг был буквально захвачен толпой, жаждущей поближе увидеть путешественников, прибывших, казалось, с другого конца света. На борт поднялся элегантный человек в сюртуке нежно-голубого цвета. Это был полковник Понс, пришедший сказать «добро пожаловать» от имени генерал-губернатора Донзло. За ним следовал сенатор Аламано, один из знатнейших жителей острова. В цветистых выражениях сенатор пригласил Марианну и ее спутников сойти на берег и воспользоваться его гостеприимством на те несколько дней, пока корабль будет стоять на ремонте.

— Осмелюсь утверждать, что ваша милость получит большее удовольствие, находясь в нашем доме, чем на корабле. А главное, там вы будете лучше защищены от любопытных обывателей. Если ваша милость останется на корабле, то прощай сон и покой. Тем более что графиня Аламано, моя жена, будет просто в отчаянии, поскольку она уже предвкушает радость от встречи с вами.

— Если бы я мог присоединить свой голос к голосу сенатора, — сказал полковник Понс, — то я бы открыл княгине замысел губернатора — принять ее в крепости. Но и ему кажется, что дом сенатора для молодой и красивой дамы будет более приятным.

Марианна, взяв под руку сенатора, в сопровождении де Жоливаля и Агаты, своей камеристки, по трапу сошла на набережную.

Дом сенатора Аламано, расположенный возле деревни Потамос, в трех четвертях лье от города, был огромным, просторным, но простым, а сад, который окружал его, напоминал поистине земной рай. Скорее, это был маленький парк, в котором сама природа выполняла роль садовника. И чего там только не росло! Лимоновые, апельсиновые, гранатовые деревья, которые одновременно и цвели, и были усыпаны плодами. Цвели и виноградники, простиравшиеся до моря, и всякие цветы.

Маленькая, проворная и веселая женщина, казалось, царствовала над этим миниатюрным раем и над самим сенатором, будучи намного моложе своего мужа. Графиня Магдалина Аламано считалась скорее хорошенькой, нежели красивой. Она отличалась мелкими, тонкими и нежными чертами лица, маленьким вздернутым носиком, искрящимися и полными хитрости глазками, огненной шевелюрой и самыми прекрасными в мире руками. У нее, доброй, благородной и приветливой, был, однако, ловкий и проворный язык, способный буквально за несколько минут сообщить собеседнику невероятное множество сплетен.

Реверанс, в котором она склонилась перед Марианной на террасе своего дома, утопающей в зарослях жасмина, удовлетворил бы своей парадностью даже знатную испанскую даму. Но тотчас же после этого она, как простая итальянка, бросилась на шею гостье, чтобы расцеловать ее.

— Я так счастлива видеть вас! Я так боялась, что вы не приедете к нам. Но теперь вы здесь, и все прекрасно! Это большое счастье, это настоящая радость! И какая же вы хорошенькая! — щебетала она.

— Магдалина! — прервал ее сенатор. — Ты утомляешь княгиню. Ей сейчас нужен скорее отдых, чем болтовня.

Покои, отведенные Марианне, были очаровательны, живописны и уютны, и она смогла, наконец, спокойно выспаться. Утром она совершила долгую прогулку вместе с графиней Аламано по ее очаровательному саду. Она успела побывать в «Фортецца Веккия», где генерал-губернатор Данзло оказал обеим достойный прием и предложил чай. А вечером сенатор Аламано дал ужин в ее честь.

Этот торжественный ужин, где Марианна была главной гостьей, показался ей самым скучнейшим и длинным из всех, на которых она когда-либо присутствовала. Поэтому, когда он закончился, она с облегчением вошла в свои апартаменты и с радостью отдала себя в руки Агаты, которая сняла с нее роскошное белое платье из атласа и укутала в батистовый кружевной пеньюар, а потом, усадив Марианну в глубокое низкое кресло, занялась ее ночным туалетом.

— Господит де Жоливаль еще не вернулся? — спросила хозяйка, в то время как девушка, вооруженная двумя гребенками, освобождала ее волосы от шиньона.

— Нет, мадам... Или, вернее, да. Господин виконт вернулся, поужинал и переоделся. Надо признать, ему это было необходимо: он весь покрылся какой-то белой пылью. Он попросил

никого не беспокоить и снова уехал, сказав, что поужинает в порту.

Марианна закрыла глаза и предоставила себя ловким рукам камеристки. А через несколько минут отправила Агату спать, сказав, что сегодня больше не нуждается в ее услугах.

— Мадам не хочет, чтобы я заплела ей косы?

— Нет, Агата, спасибо. Я оставлю волосы распущенными. У меня начинается мигрень, я хочу остаться одна. Я лягу немного позже.

Когда молодая девушка, привыкшая не задавать вопросов, удалилась, сделав реверанс, Марианна подошла к двери, выходившей на маленькую террасу, и сделала несколько шагов вперед. Что-то сжимало ей горло и перехватывало дыхание. Ей необходим был глоток свежего воздуха. Эта ночь выдалась еще более душной, чем предыдущая. Даже после захода солнца не было ни малейшего ветерка, который хоть немного освежил бы пышущую жаром землю. А во время ужина Марианна чувствовала, что ее платье прилипло к телу. Даже каменная балюстрада, на которую она оперлась, была теплой.

Ночь, усыпанная звездами, была пышной и роскошной, истинно восточной ночью, насыщенной запахами, стрекотанием и пением цикад. А сквозь толщу зелени, где мерцали светлячки, угадывалось море, нежно-серебристый треугольник которого обрамляли высокие кипарисы. Кроме грустного пения цикад и слабого морского прибоя не было слышно ни звука. Маленький кусочек воды, сверкающий там, внизу, непередаваемо действовал на Марианну и привлекал с загадочной силой.

Ей вдруг захотелось искупаться. Должно быть, вода была божественно-освежающей. Она избавится от раздражения, накопившегося за время ужина. Мгновение Марианна медлила в нерешительности. Конечно, слуги еще не спят и, если она спустится и заявит, что хочет искупаться, ее без сомнения примут за сумасшедшую. А если сообщить о намерении прогуляться, то на почтительном расстоянии за ней будут следовать сопровождающие, охраняя безопасность высокой гостьи. В детстве, в Шелтоне, она убегала из дому, не предупредив никого, спускаясь по плющу, покрывавшему стены замка. «Остается выяснить, моя крошка, — сказала она себе, — насколько ты еще ловка». Во всяком случае, попробовать стоит.

Мысль о тайном исчезновении и прекрасном купании увлекла ее так, что она с детской поспешностью подбежала к шкафу, вытащив самое простое платье, которое смогла найти,

узкое, из полотна лавандового цвета, с большим бантом. К нему она надела шаровары и лакированные туфли на низком каблуке. Затем вернулась на террасу и предусмотрительно опустила кружевную штору от комаров. После этого начала спуск. Это оказалось очень легким. Своей ловкости и подвижности она ничуть не потеряла и через три секунды нащупала под собой землю. Ночной сад укрыл ее. Дорожка вела к берегу вдоль маленького ручья. Марианне было нетрудно ее найти. Вдруг она остановилась и прислушалась. Сердце забилось быстрее. Ей показалось, что сзади кто-то тихо крадется. Может быть, кто-то заметил, как она спускалась. И ей захотелось повернуть назад. Марианна замерла, не зная, что предпринять, но ничего не услышала. А море впереди, казалось, манило ее, привлекательное и освежающее. Прислушиваясь, она медленно продолжала спускаться к воде, ступая как можно осторожней. Ни один звук более не потревожил ее слуха. «Мне показалось, — подумала она. — Действительно, нервы сдают и сыграли со мной злую шутку».

Когда она достигла берега, глаза ее привыкли к темноте. Луны не было, но звездное небо отражалось в море. Марианна поспешно сбросила одежду. Единственное, что теперь укрывало ее — волосы. Обнаженная, она побежала навстречу волнам и окунулась с головой. Нежная прохлада охватила ее. Ей хотелось закричать от радости, такой восторг она вдруг ощутила. Никогда еще купание не казалось ей таким приятным. Тогда, в Шелтоне, купаясь в реке, она замерзала и даже плакала, когда старый слуга Добс заставлял ее окунаться. Теперь же морская вода ласкала кожу и возвращала к жизни. Она была прозрачная, чистая. Марианне казалось даже, что она видит свои ноги, напоминавшие легкие тени. Повернувшись на живот, она поплыла к середине маленькой бухточки. Ее руки и ноги непроизвольно делали привычные движения, и она легко держалась на воде, время от времени переворачиваясь на спину, отдыхая с полузакрытыми глазами, смакуя удовольствие и полная решимости продлить его до полной усталости, той приятной усталости, после которой засыпают, как в детстве.

В одно из таких мгновений отдыха она услышала вдруг тихий и равномерно раздающийся плеск. Выпрямившись, она поискала взглядом и заметила темный силуэт, приближавшийся к ней. Это был тот, кто за ней, вероятно, следил... Эти шаги, которые послышались ей только что на дорожке... Поняв, какую она совершила неосторожность, придя сюда купаться ночью одна, в этом незнакомом месте, Марианна не-

медленно повернула к берегу, но таинственный пловец неумолимо приближался быстро и уверенно. Если бы она продолжала плыть в том же направлении, что и раньше, он бы настиг ее через несколько мгновений. Он явно пытался преградить ей путь. Реакция ее была неожиданной. Она закричала по-итальянски:

— Кто вы?.. Убирайтесь!

Но, захлебнувшись, не смогла произнести более ни слова. Тем не менее незнакомец не останавливался. В тишине он продолжал плыть к ней. Тогда, окончательно потеряв голову, она принялась грести к маленькому островку посредине бухточки, надеясь поскорее нащупать дно и избежать погони. Ей было так страшно, что она даже не попыталась сообразить, кто это мог быть. Какой-нибудь греческий рыбак, который, не поняв ее действий, посчитал, что она в опасности?.. Но нет. Когда она вспомнила, как он плыл — тихо, стараясь не шуметь, — поняла, что он именно охотился за ней.

Остров приближался, но расстояние между пловцами сокращалось еще быстрей. Усталость сковывала движения Марианны, а сердце чуть не вырывалось из груди. Она поняла, что силы ее на исходе: надо было выбрать — или дать себя догнать, или пойти ко дну. Вдруг она заметила прямо перед собой узкий кусочек суши — тот самый небольшой скалистый островок. Собрав последние силы, Марианна заставила себя плыть дальше, но человек был уже совсем рядом: большая черная тень. Страх сжал ей горло, и в тот момент, когда она стала тонуть, сильные руки обхватили ее.

Через несколько мгновений Марианна пришла в себя, чтобы понять: она лежит на песке, в полнейшей темноте, и мужчина держит ее в своих объятиях. Всем телом Марианна ощутила его кожу, кожу другого существа, гладкую и горячую. Под ней перекатывались мощные упругие мышцы. Она ничего не видела, кроме плотной тени над своим лицом, и, когда инстинктивно пошарила руками, то нащупала вокруг себя и над собой камни... Не было сомнений, что незнакомец принес ее в узкий и низкий грот. Охваченная страхом от того, что ее спрятали в этом каменном мешке, она чуть не вскрикнула. Но горячие и сильные губы поглотили ее крик. Она захотела освободиться, но объятия еще крепче сомкнулись, не давая ей возможности шевельнуться, а незнакомец продолжал ласкать свою добычу.

Будучи уверенным в своей силе, он не торопился. Движения его был нежные, но очень уверенные. Марианна поняла,

что он пытался пробудить в ней ответное желание любви. Она сжала зубы, напряглась, но незнакомец, судя по всему, имел большие познания и опыт в обращении с женщинами.

Страх уже давно улетучился, Марианна дрожала всем телом, и теплые волны желания постепенно заливали ее. Поцелуй был долгим, и от этой ласки Марианна сдалась... До чего же странно было целовать тень...

Мало-помалу она почувствовала тяжесть огромного, крупного тела, полного сил и жизни. Но ей все больше казалось, что она отдается какому-то призраку. Говорят, когда-то колдуньи становились возлюбленными дьявола, и, должно быть, они переживали подобные мгновения. Марианна тоже решила бы, что она игрушка какого-то наваждения, если бы не ощущала тяжесть плотного и горячего тела, если бы кожа невидимого любовника не издавала легкий земной запах мяты...

С закрытыми глазами, вся во власти первообытного чувства, Марианна теперь стонала от его ласк. Волна наслаждения поднималась в ней, захлестывая все ее существо... Вдруг, словно луч солнца озарил ее в тот момент, когда ее любовник осуществил, наконец, так долго сдерживаемое желание. У обоих вырвался одинаковый крик счастья... И это было все, что услышала Марианна. Только сердце ее стучало...

Через мгновение он поднялся и исчез. Только зашуршала галька там, где он пробежал. Она приподнялась на локте и успела увидеть высокую фигуру, бегущую к морю. Затем — плеск, и больше ничего...

Когда Марианна вышла из грота, она чувствовала полную опустошенность в мыслях и необычайную легкость в теле. И странную радость, которая ее удивляла. То, что произошло, не вызывало в ее душе ни стыда, ни угрызений. Может быть, из-за той поспешности, с какой исчез ее любовник, и потому, что исчезновение это было абсолютным. Никакого следа, нигде... Он растворился в море, в море, из которого появился так же просто, как утренний туман на раннем восходе солнца. Кто он был? Откуда пришел?.. Марианна, вероятно, никогда этого не узнает...

...А на другой день, когда корабль покидал остров Корфу, Марианна, облокотившись на планшир, смотрела, как беленькие домики и старая венецианская крепость растворялись в золотистом тумане, и не могла не думать о том, кто прятался за этим туманом, в нагромождении скал и зелени; кто, вероятно, однажды придет забросить свою сеть в маленькой бухточке, где для незнакомки он стал на какой-то момент воплощением самого бога...»

* * *

Марианне придется еще пройти через многие опасности, испытать горькое разочарование в любви... Но, в конечном итоге, самое чудесное ждет ее в конце ее пути. Ее ждет муж, ребенок и разгадка тайны. Князь Коррадо Сант'Анна и незнакомец с острова Корфу окажутся одним лицом. И Марианна — на пороге долгой и счастливой жизни...

Книга Стендаля «О любви» появилась в печати в 1822 году. Замысел и жанровая природа этого произведения нуждаются в комментариях. Писатель приступает к истолкованию чувства, которое менее всего поддается рациональному разбору. С одной стороны, он стремится создать нечто вроде трактата, строгого сочинения, в котором основные положения аргументированы. Но с другой стороны, он опирается на собственный жизненный опыт, на глубоко индивидуальные переживания, которые далеко не всегда обладают достоинством всезначимости. В работе много автобиографического. Свои собственные истории он приписывает выдуманным героям. Вот рассказ о Лизио Висконти, который погиб от любви, вот сюжет о Сальвиати, прибегнувшем к самоубийству.

Так что же перед нами — воспоминания, обретшие литературную персонификацию? Ничуть. Над интимными чувствами, любовными историями Стендаль надстраивает причудливый мир обычаев, привычек, социальных предпочтений. Рождается социальный портрет эпохи с ее традициями и предрассудками. Не случайно, скажем, писатель пытается сопоставить Италию и Францию, обрисовать черты аристократической культуры.

Итак, писательское проникновение в строй культуры через психологию человека, захваченного страстью? Нет, мы читаем сегодня книгу Стендаля не как историческое повествование и не как трактат. В ней отражен мир всечеловеческих переживаний и поэтому она вызывает отклик и сегодня как своеобразная феноменология любви, едва ли не самое развернутое описание этого чувства во всех его проявлениях.

СТЕНДАЛЬ

Вертер и Дон Жуан

«В компании молодых людей, после того как посмеются вволю над каким-нибудь бедным влюбленным и он покинет гостиницу, беседа обычно заканчивается обсуждением вопроса, что лучше: брать ли женщин, как моцартовский Дон Жуан или как Вертер? Контраст был бы еще ярче, если бы я назвал Сен-Пре; но это такая серенькая личность, что я был бы несправедлив к нежным душам, избрав его их представителем.

Характер Дон Жуана требует немалого числа добродетелей, полезных и уважаемых в свете, как, например: поразительное бесстрашие, находчивость, живость, хладнокровие, занимательность и т. д.

У донжуанов бывают минуты глубокой безотрадности, и старость их очень печальна: но большинство мужчин не доживает до старости.

Влюбленные играют жалкую роль по вечерам в гостиной, потому что вы сильны и талантливы с женщинами лишь постольку, поскольку обладание ими интересует вас не больше, чем партия на бильярде. Так как общество знает, что у влюбленных есть большой интерес в жизни, то, как бы умны они ни были, они всегда становятся мишенью насмешек; но по утрам, пробуждаясь, вместо того чтобы томиться дурным настроением до тех пор, пока что-нибудь пикантное или злое не оживит их, они грезят о той, которую любят, и строят воздушные замки, где обитает счастье.

Любовь в стиле Вертера открывает душу для всех искусств; для всех сладостных и романических впечатлений: для лунного света, для красоты лесов, для красоты живописи — словом, для всякого чувства прекрасного и наслаждения им, в какой бы форме оно ни проявлялось, хотя бы одетое в грубый холст. Такая любовь позволяет находить счастье даже при отсутствии богатства[1].

Такие души, вместо того чтобы страдать от пресыщения, как Мельян, Безанваль и т.д., сходят с ума благодаря избытку чувствительности, как Руссо. Женщины, одаренные известной возвышенностью души и умеющие, после того как окончилась их первая молодость, видеть, где именно обитает любовь и какова она, по общему правилу, ускользают от донжуанов, могущих похвалиться скорее числом, нежели качеством своих побед. Заметьте — и пусть это послужит к их унижению в глазах

---

[1] Первый том «Новой Элоизы» и все ее тома, если бы Сен-Пре обладал хоть тенью характера; но это был настоящий поэт, болтун без всякой решимости, человек, обретавший мужество лишь после долгих разглагольствований, вообще очень плоский. Такие люди имеют огромное преимущество в том смысле, что никогда не возмущают женской гордости и никогда не вызывают у своей подруги удивления. Необходимо взвесить это слово: в этом, может быть, заключается вся тайна успеха пошлых мужчин у выдающихся женщин. Однако любовь становится страстью лишь тогда, когда заставляет забывать самолюбие. Поэтому женщины, которые, подобно Л., требуют от любви удовлетворения своей гордости, не испытывают настоящей любви. Не подозревая того, они оказываются на одном уровне с прозаическим мужчиной, предметом их презрения, который ищет в любви любви-тщеславия. Эти женщины хотят любви и гордости, но любовь удаляется с краскою на лице; это самый гордый из всех деспотов: он хочет быть или всем, или ничем.

нежных душ, — что гласность так же необходима для триумфов донжуанов, как тайна — для триумфов Вертеров. Большинство мужчин, для которых женщины — главное занятие в жизни, родилось в очень обеспеченной среде, иначе говоря, в силу полученного ими воспитания и из подражания всему, что окружало их в юности, они бывают людьми сухими и эгоистами[1].

Истинные донжуаны кончают даже тем, что привыкают рассматривать женщин как враждебную партию и радуются всякого рода их несчастьям.

Напротив, в Мюнхене, у любезного герцога делль Пиньятелле, мы видели истинный способ находить счастье в сладострастии даже без любви-страсти.

«Я убеждаюсь в том, что женщина мне нравится, — сказал он мне однажды вечером, — когда я чувствую себя смущенным в ее присутствии и не нахожу, что сказать ей». Отнюдь не краснея за этот миг смущения и не стараясь отомстить за него во имя самолюбия, он, напротив, заботливо лелеял его как источник счастья. У этого милого молодого человека любовь-влечение было совершенно свободно от тщеславия, разъедающего его; это был оттенок, ослабленный, но чистый и беспримесный, истинной любви; и он уважал всех женщин как очаровательных существ, по отношению к которым мы очень несправедливы (20 февраля 1820).

Так как не сам выбираешь себе темперамент, иначе говоря, душу, то никто не может наделить себя выдающейся ролью. Сколько бы ни старались Жан-Жак Руссо или герцог Ришелье, они при всем своем уме не могли бы изменить своей судьбы в отношении женщин. Я склонен думать, что герцог никогда не переживал минут вроде тех, какие Руссо пережил в парке Шеврет в присутствии г-жи д'Удето, или в Венеции, слушая музыку Scuole[2], или в Турине, у ног г-жи Базиль. Но зато никогда не приходилось ему краснеть и стыдиться того смешного положения, в какое Руссо попадал перед г-жою де Ларнаж, воспоминания о чем преследовали его всю остальную жизнь.

Роль Сен-Пре сладостнее и заполняет все минуты существования; но надо сознаться, что роль Дон Жуана гораздо бли-

---

[1] Прочтите одну страиицу из Аидре Шенье, или, что гораздо трудиее, попробуйте трезво взглянуть на свет. «Обычио те, кого мы называем патрициями, дальше других людей от любви к чему бы то ии было», — говорит император Марк Аврелий. «Мысли», стр.50.

[2] Школы; здесь — музыкальиые общества *(итал.)*.

стательнее. Если у Сен-Пре посреди жизненного пути изменятся его вкусы, одинокий, замкнутый, с привычкой к задумчивости, он займет на сцене мира последнее место; а между тем Дон Жуан пользуется великолепной репутацией среди мужчин и, может быть, еще сумеет понравиться нежной женщине, искренне принеся ей в жертву свои развратные вкусы.

На основании всех вышеприведенных доводов я полагаю, что вопрос остается нерешенным. Но Дон Жуан превращает любовь в весьма заурядное занятие, а потому я склонен считать Вертера более счастливым. Вместо того, чтобы, подобно Вертеру, создавать действительность по образцу своих желаний, Дон Жуан испытывает желания, не до конца удовлетворяемые холодной действительностью, как это бывает при честолюбии, скупости и других страстях. Вместо того, чтобы теряться в волшебных грезах кристаллизации, он, как генерал, размышляет об успехе своих маневров[1] и, коротко говоря, убивает любовь вместо того, чтобы наслаждаться ею больше других, как это думает толпа.

Все вышеизложенное кажется мне неоспоримым. Другой довод, по крайней мере кажущийся мне таковым, хотя, по жестокости провидения, люди довольно простительным образом его не признают, состоит в том, что привычка к справедливости, за вычетом некоторых особых исключений, кажется мне самым верным путем к счастью, а Вертеры не бывают злодеями[2].

Чтобы чувствовать себя счастливым, несмотря на преступление, нужно совсем не испытывать угрызений совести. Не знаю, может ли существовать подобное создание[3], я его никогда не встречал и готов биться от заклад, что случай с г-жой Мишлен смущал ночной покой герцога Ришелье.

---

[1] Сравиите Ловласа с Томом Джонсом.

[2] См. «Частную жизнь герцога Ришелье», 9 томов, in-8°. Почему убийца в тот самый миг, когда ои умерщвляет человека, ие падает мертвым к ногам своей жертвы? Зачем существуют болезии? И если уж оии существуют, то почему Трестальон не умирает от колик? Почему Геирих IV царствовал двадцать одии год, а Людовик XV — пятьдесят девять? Почему продолжительность жизии каждого человека ие иаходится в точиом соответствии со степеиью его добродетели? И другие гнусиые, как скажут аиглийские философы, вопросы, относительио которых само собой разумеется, что нет иикакой заслуги в том, чтобы ставить нх, хотя большой заслугой было бы ответить иа иих нначе, чем посредством ругательств или cant'а.

[3] См. у Светоиия рассказ о Нероие после убийства матери; а между тем каким морем лести ои был окружен!

Следовало бы, что, однако, невозможно, быть совершенно лишенным способности к симпатии или иметь достаточно силы, чтобы обречь насмерть весь человеческий род[1].

Люди, знающие любовь только по романам, почувствуют естественное отвращение, читая эти фразы в пользу добродетельной любви. Дело в том, что, по свойствам романа, изображение добродетельной любви чрезмерно скучно и малоинтересно. Издали кажется, что чувство добродетели обесцвечивает чувство любви и выражение «добродетельная любовь» становится синонимом слабой любви. Но все это лишь немощь искусства, нисколько не умаляющая страсти, которая поистине существует в природе[2].

Прошу позволения набросать здесь портрет самого близкого из моих друзей.

Дон Жуан отвергает все обязанности, связывающие его с другими людьми. На великом рынке жизни это недобросовестный покупатель, который всегда берет и никогда не платит. Идея равенства приводит его в такое же бешенство, как вода — человека, страдающего водобоязнью; вот почему гордость древностью рода так подходит к характеру Дон Жуана. Вместе с идеей равенства прав исчезает всякое понятие справедливости, или, вернее сказать, если в жилах Дон Жуана течет благородная кровь, эти пошлые идеи никогда не приходят ему в голову; я склонен думать, что человек, носящий историческое имя, более всякого другого способен поджечь город, чтобы сварить себе яйцо[3].

Приходится извинить его: он так одержим любовью к себе, что утратил почти всякое представление о зле, которое может

---

[1] Жестокость есть не что иное, как больное чувство симпатии. Власть является наивысшим счастьем после любви лишь потому, что человек воображает, будто он в состоянии предписывать симпатию.

[2] Если нарисовать перед зрителем чувство добродетели рядом с чувством любви, кажется, будто сердце разделяется между этими двумя чувствами. В романах добродетель хороша только для того, чтобы приносить ее в жертву. Жюли д'Этанж.

[3] См. у Сен-Симона рассказ о выкидыше у герцогини Бургундской или историю г-жи де Мотвиль, там же. Вспомните принцессу, которая удивлялась, что у других женщин тоже пять пальцев на руке, как и у нее; или герцога Орлеанского, Гастона, брата Людовика XIII, который находил весьма естественным, что его фавориты отправлялись на эшафот, чтобы угодить ему. Поглядите, как в 1820 году эти господа добиваются избирательного закона, могущего снова вызвать к жизни Робеспьера во Франции, и т.д. и т.д. Поглядите на Неаполь 1799 года. (Сохраняю эту заметку, написанную в 1820 году. Составленный генералом Лакло список знатных господ 1778 года с замечаниями об их нравственности, который я видел в Неаполе у маркиза Берио, — рукопись более чем в триста страниц самого скандального содержания.).

причинить, и во всей вселенной, кроме себя, не видит никого больше, кто мог бы наслаждаться или страдать. В дни пылкой юности, когда все страсти заставляют нас чувствовать жизнь нашего собственного сердца и исключают бережное отношение к другим сердцам, Дон Жуан, исполненный переживаний и кажущегося счастья, рукоплещет себе за то, что ни о чем, кроме себя, не думает, тогда как другие люди на его глазах приносят жертвы долгу; он полагает, что постиг великое искусство жизни; но среди своего торжества, едва достигнув тридцати лет, он с изумлением замечает, что ему не хватает жизни, он испытывает все возрастающее отвращение к тому, в чем до сих пор заключалось для него наслаждение. Дон Жуан говорил мне в Торне в припадке мрачного настроения: «Не наберется и двадцати различных типов женщин, и после того как раза два или три обладал каждым из них, возникает пресыщение». Я ответил: «Только воображение неподвластно пресыщению. Каждая женщина вызывает особый интерес, больше того, одна и та же женщина, в зависимости от того, встретили ли вы ее на два-три года раньше или позже в вашей жизни, если случай пожелает, чтобы вы полюбили ее, будет любима вами неодинаковым образом. Но женщина с нежной душой, если бы даже она полюбила вас, не вызовет у вас своими притязаниями на равенство иного чувства, кроме раздражения гордости. Ваша манера обладать женщинами убивает все другие радости жизни; манера Вертера увеличивает их во сто крат».

Наступает развязка печальной драмы. Стареющий Дон Жуан обвиняет в своем пресыщении окружающие обстоятельства, но не самого себя. Мы видим, как он мучится от пожирающего его яда, бросается во все стороны и непрерывно меняет цель своих усилий. Но, как бы ни была блистательна внешность, для него все ограничивается заменой одного мучения другим; спокойную скуку он меняет на скуку шумную — вот единственный выбор, который ему остается.

Наконец он замечает, в чем дело, и признается самому себе в роковой истине; отныне его единственная утеха в том, чтобы заставлять чувствовать свою власть и открыто делать зло ради зла. Это вместе с тем последняя степень возможного для человека несчастья; ни один поэт не решился дать верное его изображение; картина, похожая на действительность, внушила бы ужас.

Но можно надеяться, что человек незаурядный сумеет свернуть с этого рокового пути, ибо в характере Дон Жуана содержится противоречие. Я предположил, что он очень умен, а

при большом уме можно открыть добродетель на пути, ведущем в храм славы[1].

Ларошфуко, который смыслил кое-что в вопросах самолюбия и который в действительной жизни отнюдь не был глупым литератором[2], говорит (стр. 267): «Наслаждение в любви заключается в том, что ты любишь, ибо мы более счастливы страстью, которую сами испытываем, нежели той, которую внушаем к себе».

Счастье Дон Жуана — только тщеславие, правда, основанное на обстоятельствах, для достижения которых требуется много ума и деятельной силы; но он должен чувствовать, что самый скромный генерал, который выигрывает сражение, самый скромный префект, который держит в узде департамент, испытывают больше наслаждения, чем он, тогда как счастье герцога Немурского, когда г-жа де Клев говорит, что любит его, я полагаю, стоит выше счастья Наполеона при Маренго.

Любовь в стиле Дон Жуана есть чувство, в некотором роде напоминающее склонность к охоте. Это потребность деятельности, которая возбуждается различными предметами, беспрестанно подвергающими сомнению ваш талант.

Любовь в стиле Вертера похожа на чувство школьника, сочиняющего трагедию, и даже в тысячу раз лучше; это новая жизненная цель, которой все подчиняется, которая меняет облик всех вещей. Любовь-страсть величественно преображает в глазах человека всю природу, которая кажется чем-то небывало новым, созданным только вчера. Влюбленный удивляется, что никогда раньше не видел необычайного зрелища, которое теперь он открывает в своей душе. Все ново, все живет, все дышит самым страстным интересом[3].

Влюбленный видит любимую женщину на линии горизонта всех пейзажей, попадающихся на его пути, и, когда он едет за сто миль с целью увидеть ее на один миг, каждое дерево, каждая скала говорят ему о ней различным образом и сообщают что-нибудь новое. Вместо этого потрясающего волшебного зрелища Дон Жуану нужно, чтобы внешние предметы, которые имеют цену в его глазах лишь постольку, поскольку они полезны ему, приобрели для него остроту в связи с какой-нибудь новой интригой.

---

[1] Характер молодого дворянина 1820 года довольно правильно показан на милейшем Босвеле из «Old Morta lity» («Пуритане»).

[2] См. в «Мемуарах» де Реца рассказ о неприятной четверти часа, которые он заставил коадъютора провести в парламенте между двух дверей.

[3] Вол. 1819. Козья жимолость, при спуске.

Любовь в стиле Вертера доставляет своеобразное наслаждение; по прошествии года или двух, когда влюбленный, можно сказать, слил свою душу с душою возлюбленной и притом, удивительная вещь, независимо от успеха его чувства, даже при суровости его возлюбленной, что бы он ни делал, что бы он ни видел, он всегда спрашивает себя: «А что сказала бы она, если бы была со мной? Что сказал бы я ей, любуясь видом на Каза-Леккьо?» Он говорит с ней, выслушивает ее ответы, смеется шуткам, которыми она его забавляет. В ста милях от нее и под бременем ее гнева он ловит себя на такой мысли: «Леонора была очень весела сегодня вечером». Тут он пробуждается. «Но, боже мой, — говорит он, вздыхая, — в Бедламе есть сумасшедшие менее безумные, чем я».

«Но вы меня раздражаете, — заявляет мне один из друзей, которому я прочел этот отрывок. — Вы все время противопоставляете Дон Жуану страстно чувствующего человека, тогда как дело вовсе не в этом. Вы были бы правы, если бы можно было по собственной воле загореться страстью. Но что делать, если ты равнодушен?» Заниматься любовью-влечением, но без всяких ужасов. Ужасы всегда происходят от мелочности души, жаждущей удостовериться в собственных достоинствах.

Но продолжаем, донжуанам очень трудно признать истину того, что я говорил сейчас о душевных состояниях. Не говоря уже о том, что они не могут ни видеть, ни чувствовать этого состояния: оно слишком обидно для их тщеславия. Заблуждение их жизни в том, что они полагают, будто могут в две недели завоевать то, чего влюбленный ценою великих мук насилу достигает в полгода. Они основываются на опытах, проделанных за счет бедняг, одинаково лишенных как души, которою нужно обладать, чтобы нравиться, открывая ее наивные порывы любящей женщине, так и ума, необходимого для роли Дон Жуана. Они не хотят видеть, что получают не то же самое, даже тогда, когда добиваются этого от той же самой женщины.

> Человек разумный беспрестанно не доверяет:
> Вот почему так велико число
> Притворщиков в любви. Дамы, которых молят,
> Заставляют долго вздыхать своих служителей,
> Никогда в жизни своей не бывших лживыми.
> Но цену сокровища, которое они даруют наконец,
> Поймет лишь сердце, которое умеет им насладиться.
> Чем дороже куплено оно, тем оно божественнее:
> Радость любви измеряется ценою, какою она приобретена.
>
> Н и в е р н е *«Трубадур Гильем де ла Тор», III, стр. 342.*

По отношению к Дон Жуану любовь-страсть можно сравнить с необыкновенной обрывистой и трудной дорогой, которая, правда, начинается среди очаровательных боскетов, но вскоре теряется среди острых утесов, вид которых не представляет ничего привлекательного для пошлого взора. Мало-помалу дорога эта уводит в высокие горы посреди мрачного леса, огромные деревья которого, застилающие свет своими густолиственными вершинами, поднимающимися до самого неба, приводят в ужас души, не закаленные опасностями.

После мучительных блужданий по бесконечному лабиринту, многочисленные повороты которого оскорбляют самолюбие, мы вдруг делаем еще один поворот и оказываемся в новом мире, в восхитительной долине Кашмира, изображенной в «Лалла Рук».

Могут ли донжуаны, никогда не вступавшие на эту дорогу или делавшие по ней самое большее несколько шагов, судить о чудных зрелищах, открывающихся в конце пути?

....

— Вы сами видите, что непостоянство — вещь хорошая:

Хочу я новости, хотя бы небывалой.

— Отлично. Вы смеетесь над клятвами и справедливостью. Но чего же люди ищут в непостоянстве? Очевидно, наслаждения.

Однако наслаждение, какое находят в объятиях красивой женщины, которую желали две недели и которою затем обладали три месяца, отличается от наслаждения, которое можно найти в объятиях любовницы, которую мы желали три года и которою обладали десять лет.

Если я не употребляю здесь слова всегда, то только потому, что старость, как нас уверяют, изменяя наш телесный состав, делает нас неспособными к любви; что до меня, то я отнюдь этому не верю. Ваша возлюбленная, сделавшись ближайшим вашим другом, дарит вам новые наслаждения, наслаждения старости. Этот цветок, который ранней весною был утренней розой, к вечеру превращается в восхитительный плод, когда сезон роз уже окончился[1].

Возлюбленная, которую мы желали три года, — поистине возлюбленная в полном значении этого слова; к ней приближаются не иначе, как с трепетом, а я должен сказать донжуа-

[1] См. «Мемуары» Коле; его жена.

нам: мужчина, который трепещет, никогда не скучает. Наслаждения в любви тем сильнее, чем больше в ней робости.

Несчастье непостоянства заключается в скуке; несчастье страстной любви заключается в отчаянии и смерти. Отчаяние, вызванное любовью, замечается другими, и из этого делают анекдот; никто не обращает внимания на старость дохнущих от скуки пресыщенных развратников, которыми полон Париж.

«Гораздо больше людей пускает себе пулю в лоб от любви, чем от скуки». Охотно верю этому: скука отнимает все, вплоть до мужества, необходимого для того, чтобы себя убить.

Существуют характеры, находящие наслаждение лишь в разнообразии. Но человек, который превозносит до небес шампанское в ущерб бургундскому, говорит с большим или меньшим красноречием, в сущности, лишь одно: я предпочитаю шампанское.

Каждое из этих вин имеет своих сторонников, из которых каждый прав по-своему, если только они хорошо знают себя самих и гоняются за тем видом счастья, которое наиболее подходит их организму[1] и привычкам. Но сторонникам непостоянства портит дело то, что все глупцы присоединяются к ним из недостатка мужества.

Однако, в конце концов, каждый человек, если только он дает себе труд изучить себя, устанавливает свой собственный идеал прекрасного, и мне кажется, что желание обратить соседа в свою веру всегда бывает немножко смешно».

Так, может быть, прав Зигмунд Фрейд, который утверждал, что любовь правит миром? Ведь многообразные проявления человеческой деятельности — это лишь сублимация (преображение) сексуального влечения. Эрих Фромм, которого мы упоминали, полемизирует с австрийским психиатром, но его стрелы достигают и современной традиции, которая абсолютизирует секс и телесность и глумится над романтикой любви. У американского философа речь идет вовсе не о противостоянии здоровой чувственности и одухотворяющей сентиментальности. Фромм рассматривает любовь как универсальное чувство, которое раскрывает человека во всем богатстве присущих ему физических и духовных свойств. Тайна пола, — сошлемся на Николая Бердяева, — есть тайна творческого недостатка, бедности, рождающей богатство.

---

[1] Физиологи, знающие устройство телесных органов, говорят вам: несправедливость в общественных отношениях порождает черствость, недоверчивость и несчастье.

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ

О Достоевском

«Все творчество Достоевского, например, — полагает Бердяев, — насыщено жгучей и страстной любовью. Все происходит в атмосфере напряженной страсти. Он открывает в русской стихии начало страстное и сладострастное. Ничего подобного у других русских писателей нет. Та народная стихия, которая раскрылась в нашем хлыстовстве, обнаружена Достоевским и в нашем интеллигентном слое. Это — дионисическая стихия. Любовь у Достоевского исключительно дионисична. Путь человека у Достоевского есть путь страдания. Любовь у него — вулканическое извержение, динамитные взрывы страстной природы человека. Эта любовь не знает закона и не знает формы. В ней выявляется глубина человеческой природы. В ней все та же страстная динамичность, как и во всем у Достоевского. Это — огонь неувядающий и огненное движение. Потом огонь этот превращается в ледяной холод. Иногда любящий представляется нам потухшим вулканом. Русская литература не знает таких прекрасных образов любви, как литература Западной Европы. У нас нет ничего подобного любви трубадуров, любви Тристана и Изольды, Данте и Беатриче, Ромео и Джульетты. Любовь мужчины и женщины, любовный культ женщины — прекрасный цветок христианской культуры Европы. В этом ущербность нашего духа. В русской любви есть что-то темное и мучительное, не просветленное и часто уродливое. У нас не было настоящего романтизма в любви. Романтизм — явление Западной Европы. Любви принадлежит огромное место в творчестве Достоевского. Но это не самостоятельное место. Любовь не самоценна, она не имеет своего образа, она есть лишь раскрытие трагического пути человека, есть испытание человеческой свободы. Тут любви принадлежит совсем иное место, чем у Пушкина любовь Татьяны или у Толстого любовь Анны Карениной. Тут совсем иное положение занимает женственное начало. Женщине не принадлежит в творчестве Достоевского самостоятельного места. Антропология Достоевского — исключительно мужская антропология. Мы увидим, что женщина интересует Достоевского исключительно как момент в судьбе мужчины, в пути человека. Человеческая душа есть прежде всего мужской дух. Женственное начало есть лишь внутренняя тема в трагедии мужского духа, внутренний соблазн. Какие образы любви оставил нам Достоевский? Любовь Мышкина и Рого-

жина к Настасье Филипповне, любовь Мити Карамазова к Грушеньке и Версилова к Катерине. Изумительная любовь Версилова к Екатерине Николаевне создает атмосферу безумия, она всех держит в величайшем напряжении. Токи любви, соединяющие Мышкина, Рогожина, Настасью Филипповну и Аглаю, накаляют всю атмосферу. Любовь Ставрогина и Лизы порождает бесовские вихри. Любовь Мити Карамазова, Ивана, Грушеньки и Екатерины Ивановны влечет к преступлению, сводит с ума. И никогда нигде любовь не находит себе успокоения, не ведет к радости соединения. Нет просвета любви. Повсюду раскрывается неблагополучие в любви, темное и истребляющее начало, мучительность любви. Любовь не преодолевает раздвоения, а еще более его усугубляет. Две женщины, как две страстные стихии, всегда ведут беспощадную борьбу из-за любви, истребляют себя и других. Так сталкивается Настасья Филипповна и Аглая в «Идиоте», Грушенька и Екатерина Ивановна в «Братьях Карамазовых». Есть что-то, не знающее пощады в соревновании и борьбе этих женщин. Та же атмосфера соревнования и борьбы женских страстей есть и в «Бесах» и в «Подростке», хотя и в менее выпуклой форме. Мужская природа раздвоена. Женская природа не просветлена, в ней есть притягивающая бездна, но никогда нет ни образа благословенной матери, ни образа благословенной девы. Вина тут лежит на мужском начале. Оно оторвалось от начала женского, от матери земли, от своей девственности, то есть своего целомудрия и цельности и пошло путем блужданий и двоений. Мужское начало оказывается бессильным перед женским началом. Ставрогин бессилен перед Лизой и Хромоножкой, Версилов бессилен перед Екатериной Николаевной. Мышкин бессилен перед Настасьей Филипповной и Аглаей. Митя Карамазов бессилен перед Грушенькой и Екатериной Ивановной. Мужчины и женщины остаются трагически разделенными и мучают друг друга. Мужчина бессилен овладеть женщиной, он не принимает женской природы внутрь себя и не проникает в нее, он переживает ее, как тему своего собственного раздвоения.

Тема двойной любви занимает большое место в романах Достоевского. Образ двойной любви особенно интересен в «Идиоте». Мышкин любит и Настасью Филипповну, и Аглаю. Мышкин — чистый человек, в нем есть ангелическая природа. Он свободен от темной стихии сладострастья. Но и его любовь — больная, раздвоенная, безысходно-трагическая. И для него двоится предмет любви. И это двоение есть лишь столк-

новение двух начал в нем самом. Он бессилен соединиться с Аглаей и с Настасьей Филипповной, он по природе своей не способен к браку, к брачной любви. Образ Аглаи пленяет его, и он готов быть ее верным рыцарем. Но если другие герои Достоевского страдают от избытка сладострастия, то он страдает от его отсутствия. У него нет и здорового сладострастия. Его любовь бесплотна и бескровна. Но с тем большей силой выражается у него другой полюс любви и перед ним разверзается другая ее бездна. Он любит Настасью Филипповну жалостью, состраданием, и сострадание его беспредельно. Есть что-то испепеляющее в этом сострадании. В сострадании своем он проявляет своеволие, он переходит границы дозволенного. Бездна сострадания поглощает и губит его. Он хотел бы перенести в вечную божественную жизнь то надрывное сострадание, которое порождено условиями относительной земной жизни. Он хочет Богу навязать свое беспредельное сострадание к Настасье Филипповне. Он забывает во имя этого сострадания обязанности по отношению к собственной личности. В сострадании его нет целостности духа, он ослаблен раздвоением, так как он любит и Аглаю другою любовью. Достоевский показывает, как в чистом, ангелоподобном существе раскрывается больная любовь, несущая гибель, а не спасение. В любви Мышкина нет благодатной устремленности к единому, целостному предмету любви, к полному соединению. Такое беспредельное истребляющее сострадание только и возм жно к существу, с которым никогда не будешь соединен. Природа Мышкина тоже дионисическая природа, но это своеобразный, тихий, христианский дионисизм. Мышкин все время пребывает в тихом экстазе, каким-то ангелическим исступлением. И быть может, все несчастье Мышкина в том, что он слишком был подобен ангелу и недостаточно был человеком, не до конца человеком. В Алеше попытался он дать положительный образ человека, которому ничто человеческое не чуждо, которому присуща вся страстная природа человека и который преодолевает раздвоение, выходя к свету. Я не думаю, чтобы образ этот особенно удался Достоевскому. Но на ангелоподобном образе Мышкина, которому многое человеческое было чуждо, нельзя было остановиться, как на выходе из трагедии человека. Трагедия любви у Мышкина переносится в вечность, и ангельская его природа есть один из источников увековечивания этой трагедии любви. Достоевский наделяет Мышкина удивительным даром прозрения. Он прозревает судьбу всех окружающих людей, прозревает самую глубину любимых им женщин.

У него сближается восприятие эмпирического мира с восприятием мира иного. Но этот дар прозрения есть единственный дар Мышкина в отношении к женской природе. Овладеть этой природой и соединиться с ней он бессилен. Замечательно, что у Достоевского всюду женщины вызывают или сладострастие или жалость, иногда одни и те же женщины вызывают эти разные отношения. Настасья Филипповна у Мышкина вызывает бесконечное сострадание, у Рогожина — бесконечное сладострастие. Соня Мармеладова, мать подростка, вызывает жалость, Грушенька вызывает к себе сладострастное отношение. Сладострастие есть в отношении Версилова к Екатерине Николаевне, и он же жалостью любит свою жену; то же сладострастие есть в отношении Ставрогина к Лизе, но в угасающей и задавленной форме. Но ни исключительная власть сладострастия, ни исключительная власть сострадания не соединяются с предметом любви. Тайна брачной любви не есть ни исключительное сладострастие, ни исключительное сострадание, хотя оба начала привходят в брачную любовь. Но Достоевский не знает этой брачной любви; тайна соединения двух душ в единую душу и двух плотей в единую плоть. Поэтому любовь его изначально осуждена на гибель.

Самое замечательное изображение любви дано Достоевским в «Подростке», в образе любви Версилова к Екатерине Николаевне. Любовь Версилова связана с раздвоением его личности. У него тоже двоящаяся любовь, любовь-страсть к Екатерине Николаевне и любовь-жалость к матери подростка, его законной жене. И для него любовь не есть выход за пределы своего «я», не есть обращенность к другому и соединение с ним. Любовь эта — внутренние счеты Версилова с самим собою, его собственная, замкнутая судьба. Личность Версилова всем представляется загадочной, в жизни его есть какая-то тайна. В «Подростке», как и в «Бесах», как и во многих других произведениях, Достоевский прибегает к такому художественному приему, что действие романа начинается после того, как в жизни героев происходит что-то очень важное, определяющее дальнейшее течение событий. Важное событие романа Версилова разыгралось в прошлом, за границей, и на наших глазах изживаются лишь последствия этого события. Женщина играет огромную роль в жизни Версилова. Он — «бабий пророк». Но он также не способен к брачной любви, как неспособен к ней Ставрогин. Он родственник Ставрогина, он — смягченный Ставрогин, в более зрелом возрасте. Мы видим его уже внешне спокойным, до странности спокойным, как бы

потухшим вулканом. Но под этой маской спокойствия, почти безразличия ко всему, скрыты исступленные страсти. Затаенная, не находящая себе выхода, обреченная на гибель любовь Версилова раскаляет вокруг всю атмосферу, порождает вихри. Все точно в исступлении от затаенной страсти Версилова. Так всегда у Достоевского — внутреннее состояние человека, хотя бы ни в чем не выраженное, отражается на окружающей атмосфере. В сфере подсознательного окружающие люди подвергаются сильному воздействию внутренней, глубинной жизни героя. Лишь под конец прорывается безумная страсть Версилова. Он совершает целый ряд бессмысленных действий, обнаруживая этим свою тайную жизнь. Встреча и объяснение Версилова с Екатериной Николаевной в конце романа принадлежит к самым замечательным изображениям любовной страсти. Вулкан оказался не окончательно потухшим. Огненная лава, которая составляла внутреннюю подпочву атмосферы «Подростка», наконец прорвалась. «Я вас истреблю», — говорит Версилов Екатерине Николаевне и обнаруживает этим демоническое начало свое любви. Любовь Версилова совершенно безнадежна и безвыходна. Она никогда не узнает тайны и таинства соединения. В ней мужская природа остается оторванной от женской. Безнадежна эта любовь не потому, что она не имеет ответа, нет, Екатерина Николаевна любит Версилова. Безнадежность тут в замкнутости мужской природы, невозможности выйти к своему другому, в раздвоении. Замечательная личность Ставрогина окончательно разлагается и гибнет от этой замкнутости и этого раздвоения.

Достоевский глубоко исследует проблему сладострастия. Сладострастие переходит в разврат. Разврат есть явление не физического, а метафизического порядка. Своеволие порождает раздвоение. Раздвоение порождает разврат, в нем теряется целостность. Целостность есть целомудрие. Разврат же есть разорванность. В своем раздвоении, разорванности и развратности человек замыкается в своем «я», теряет способность к соединению с другим, «я» человека начинает разлагаться, он любит не другого, а самую любовь. Настоящая любовь есть всегда любовь к другому, разврат же есть любовь к себе. Разврат есть самоутверждение. И самоутверждение это ведет к самоистреблению. Ибо укрепляет человеческую личность выход к другому, соединение с другим. Разврат же есть глубокое одиночество человека, смертельный холод одиночества. Разврат

есть соблазн небытия, уклон к небытию. Стихия сладострастия — огненная стихия. Но когда сладострастие переходит в разврат, огненная стихия потухает, страсть переходит в ледяной холод. Это с изумительной силой показано Достоевским. В Свидригайлове показано органическое перерождение человеческой личности, гибель личности от безудержного сладострастия, перешедшего в безудержный разврат. Свидригайлов принадлежит уже к призрачному царству небытия, в нем есть что-то нечеловеческое. Но начинается разврат всегда со своеволия, с ложного самоутверждения, с замыкания в себе и нежелания знать другого. В сладострастии Мити Карамазова еще сохраняется горячая стихия, в нем есть горячее человеческое сердце, в нем карамазовский разврат не доходит еще до стихии холода, которая есть один из кругов Дантовского ада. В Ставрогине сладострастие теряет свою горячую стихию, огонь его потухает. Наступает леденящий, смертельный холод. Трагедия Ставрогина есть трагедия истощения необыкновенной, исключительно одаренной личности, истощения от безмерных, бесконечных стремлений, не знающих границы, выбора и оформления. В своеволии своем он потерял способность к избранию. И жутко звучат слова угасшего Ставрогина в письме к Даше: «Я пробовал везде мою силу... На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспредельною... Но к чему приложить эту силу — вот чего никогда не видел, не вижу и теперь... Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от этого удовольствие... Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата... Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в такой степени, как он (Кириллов). Я даже заняться идеей в такой степени не могу». Идеал Мадонны и идеал Содомский для него равно притягательны. Но это и есть утеря свободы от своеволия и раздвоения, гибель личности. На судьбе Ставрогина показывается, что желать всего без разбора и границы, оформляющей лик человека, все равно что ничего уже не желать, и что безмерность силы, ни на что не направленной, все равно что совершенное бессилие. От безмерности своего беспредельного эгоизма Ставрогин доходит до совершенно эротического бессилия, до полной неспособности любить женщину. Раздвоение подрывает силы личности. Раздвоение может быть лишь преодолено избранием, избирающей любовью, направленной на определенный предмет, — на Бога, отметая диавола, на Мадонну, отметая Содом, на конкретную женщину, отметая дурную мно-

жественность неисчислимого количества других женщин. Разврат есть последствие неспособности к избранию, результат утери свободы и центра воли, погружение в небытие вследствие бессилия завоевать себе царство бытия. Разврат есть линия наименьшего сопротивления. К разврату следует подходить не с моралистической, а с онтологической точки зрения. Так делает и Достоевский.

Царство карамазовщины есть царство сладострастия, утерявшего свою цельность. Сладострастие, сохраняющее цельность, внутренне оправдано, оно входит в любовь, как ее неустранимый элемент. Но сладострастие раздвоенное есть разврат, в нем раскрывается идеал Содомский. В царстве Карамазовых загублена человеческая свобода и возвращается она лишь Алеше через Христа. Собственными силами человек не мог выйти из этой притягивающей к небытию стихии. В Федоре Павловиче Карамазове окончательно утеряна возможность свободы избрания. Она целиком находится во власти другой множественности женственного начала в мире. Для него нет уже «безобразных женщин», нет «мовешек», для него и Елизавета Смердящая — женщина. Тут принцип индивидуализации окончательно снимается, личность загублена. Но разврат не есть первичное начало, гибельное для личности. Он — уже последствие, предполагающее глубокие повреждения в строе человеческой личности. Он уже есть выражение распадения личности. Распад же этот есть плод своеволия и самоутверждения. По гениальной диалектике Достоевского своеволие губит свободу, самоутверждение губит личность. Для сохранения свободы, для сохранения личности необходимо смирение перед тем, что выше твоего «я». Личность связана с любовью, но с любовью, направленной на соединение со своим другим. Когда стихия любви замыкается в «я», она порождает разврат и губит личность. Разверзающаяся бездна сострадания, — другой полюс любви, — не спасает личности, не избавляет от демона сладострастия, ибо и в сострадании может открыться исступленное сладострастие, и сострадание может не быть выходом к другому, слиянием с другим. И в сладострастии и в сострадании есть вечные стихийные начала, без которых невозможна любовь. И страсть и жалость должны быть просветлены увидением образа, лика своего другого в Боге, слиянием в Боге со своим другим. Только это и есть настоящая любовь. Достоевский не раскрывает нам положительной эротической любви. Любовь Алеши и Лизы не может нас удовлетворить. Нет у Достоевского и культа Мадонны. Но он страшно много дает для

исследования трагической природы любви. Тут у него настоящие откровения.

* * *

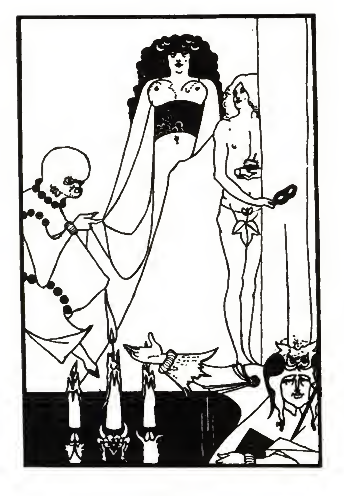
Христианство есть религия любви. И Достоевский принял христианство, прежде всего, как религию любви. В поучениях старца Зосимы, в религиозных размышлениях, разбросанных в разных местах его творений, чувствуется дух Иоаннова христианства. Русский Христос у Достоевского есть прежде всего провозвестник бесконечной любви. Но подобно тому, как в любви мужчины и женщины раскрывает Достоевский трагическое противоречие, оно раскрывается ему и в любви человека к человеку. У Достоевского были замечательные мысли, что любовь к человеку и человечеству может быть безбожной любовью. Не всякая любовь к человеку и человечеству есть христианская любовь. В гениальной по силе прозрения утопии грядущего, рассказанной Версиловым, люди прилепляются друг к другу и любят друг друга, потому что исчезла великая идея Бога и бессмертия. «Я представляю себе, мой милый, — говорит Версилов подростку, — что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков наступило затишье и люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходит, как то величавое, зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали прижиматься друг к другу тесней и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который был Бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы и землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу иными глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они

просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у них остается. Они работали бы друг для друга, и каждый отдавал бы всем все свое состояние и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле ему как отец и мать. Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их». И эта мысль, что они останутся, все также любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтобы затушить всякую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг для друга: каждый трепетал бы за жизнь и счастье каждого. Они стали бы нежней друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взгляде их была бы любовь и грусть». В этих изумительных главах Версилов рисует картину безбожной любви. Это — любовь, противоположная христианской, не от Смысла бытия, а от бессмыслицы бытия, не для утверждения вечной жизни, а для использования преходящего мгновения жизни. Это — фантастическая утопия. Такой любви никогда не будет в безбожном человечестве; в безбожном человечестве будет то, что нарисовано в «Бесах». Никогда ведь не бывает того, что преподносится в утопиях. Но эта утопия очень важна для раскрытия идеи Достоевского о любви. Безбожное человечество должно прийти к жестокости, к истреблению друг друга, к превращению человека в простое средство. Есть любовь человека в Боге. Она раскрывает и утверждает для вечной жизни лик каждого человека. Только это и есть истинная любовь, любовь христианская. Истинная любовь связана с бессмертием, она и есть не что иное, как утверждение бессмертия, вечной жизни. Это — мысль центральная для Достоевского. Истинная любовь связана с личностью, личность связана с бессмертием. Это верно и для любви эротической и для всякой иной любви человека к человеку. Но есть любовь к человеку вне Бога; она не знает вечного лика человека, ибо он лишь в Боге существует. Она не направлена на вечную, бессмертную жизнь. Это — безличная, коммунистическая любовь, в которой люди прилепляются друг к другу, чтобы не так страшно было жить потерявшим веру в Бога и в бессмертие, то есть в Смысл жизни. Это — последний предел человеческого своеволия и самоутверждения. В безбожной любви человек отрекается от своей духовной природы, от своего первородства, он предает свою свободу и

бессмертие. Сострадание к человеку, как к трепещущей, жалкой твари, игралищу бессмысленной необходимости, — есть последнее прибежище идеальных человеческих чувств, после того, как угасла всякая великая Идея и утерян Смысл. Но это не христианское сострадание. Для христианской любви каждый человек есть брат во Христе. Христова любовь есть узрение богосыновством каждого человека, образа и подобия Божьего в каждом человеке. Человек прежде всего должен любить Бога. Это — первая заповедь. А за ней следует заповедь любви к ближнему. Любить человека только потому и возможно, что есть Бог, единый Отец. Его образ и подобие мы должны любить в каждом человеке. Любить человека, если нет Бога, значит человека почитать за Бога. И тогда подстерегает человека образ человекобога, который должен поглотить человека, превратить его в свое орудие. Так невозможной оказывается любовь к Человеку, если нет любви к Богу. И Иван Карамазов говорит, что любить ближнего невозможно. Антихристианское человеколюбие есть лживое, обманчивое человеколюбие. Идея человекобога истребляет человека, лишь идея Богочеловека утверждает человека для вечности. Безбожная, антихристианская любовь к человеку и человечеству — центральная тема «Легенды о Великом Инквизиторе»... Достоевский много раз подходил к этой теме — отрицанию Бога во имя социального эвдемонизма, во имя человеколюбия, во имя счастья людей в этой краткой земной жизни. И всякий раз являлось у него сознание необходимости соединения любви со свободой. Соединение любви со свободой дано в образе Христа. Любовь мужчины и женщины, любовь человека к человеку становится безбожной любовью, когда теряется духовная свобода, когда исчезает лик, когда нет в ней бессмертия и вечности. Настоящая любовь есть утверждение вечности».

По мнению Николая Бердяева, любовь — акт творческий, созидающий иную жизнь, преодолевающий род и природную необходимость. В любви утверждается личность, единственная, неповторимая. Все безличное, родовое, все подчиняющее индивидуальность порядку природному и социальному, враждебно любви, ее неповторимой и неизреченной тайне.

Старинные теории любви. Вечиые, волнующие сюжеты. Но в палитре бессмертной страсти — далеко не единственные. Пасторальным переживаниям в истории человечества сопутствуют и иные, более греховные вожделения. Мы собеседуем с другими мудрецами, знатоками человеческого сердца, и окраска наших размышлений становится более эротичной и напряженной. Недра души раскрывают нам свои темные глубины.



СИЛЫ ПОТАЙНЫЕ



Аскетизм и вожделение. Любовь куртуазная и чувственная. Братские чувства и плотское наслаждение. Эрос, как мы убедились, многолик... Но сказано о нем далеко не все. Так поговорим теперь об упоении божественном и колдовском, небесном и сатанинском. Ничто человеческое нам не чуждо. Не инородны, следовательно, возвышенные переживания, тоска по абсолюту и, с другой стороны, темные, терпкие страсти. «Из омута злого и вязкого...», — писал Осип Мандельштам о человеке, который «и страстно, и томно, и ласково, запретною жизнью дыша...», постигает таинства любви.

По мысли Николая Бердяева, в самой глубине сексуального акта, полового соединения, скрыта смертная тоска. Яд пола всегда воспринимается через призму одухотворяющей страсти и греха. Таинственная связь влечет человека за пределы земного, погружает в стихию мистики. Любовь немыслима без предельной идеализации. Дар светлого и творческого чувства позволяет воплотить в себе и в другом образ Божий и создать, как подчеркивал русский философ Владимир Соловьев, одну абсолютную и бессмертную индивидуальность...

До сих пор речь шла о любви человека к человеку. Но, оказывается, эрос много богаче. Он выводит нас за пределы земного. Древняя мифология рассказывает о том, как боги влюблялись в смертных. Верховный греческий бог, восходящий к индоевропейскому божеству неба, Зевс имел потомков не только от богинь — и земные женщины испытывали его неукротимую страсть. Бог подземного царства — Аид — похитил дочь Деметры и Зевса — Персефону. Однажды она рвала на лугу цветы, стараясь не смотреть на нарциссы, как ей наказывала мать. Но вот перед ней оказался огромный нарцисс, пылающий белизной и пурпуром. Не одолев искушения, Персефона протянула руку к его лепесткам. И тут разверзлась земля, из бездны появилась колесница, запряженная черными конями. Дочь Деметры оказалась в подземном царстве, где о ее красоте, судя по всему, давно знали... Глубокие недра таинст-

венным образом связаны с небесным Олимпом. Любовная страсть соединяет богов, титанов, смертных...

Древний шумерский миф рассказывает о Гильгамеше, существе одновременно земном и небесном. Внимание небожителей должно быть лестным для полубога, его пылко любит богиня Иштар, но Гильгамеш отвергает ее. Иштар повелевает небесному быку убить того, кто не загорелся от ее любовного пламени. Вот какие испепеляющие страсти, как выясняется, испытывают вседержители. К счастью, герой не погибает. Небожители не всесильны, и на них есть управа. В любви, как известно, все непредсказуемо. Мы выбираем, нас выбирают...

Да что там боги! Перенесемся на мгновение в мир кельтских преданий. Таинственные существа, исполненные любовного томления, эльфы и тролли, тоже не безразличны к земным женщинам. Они, словно обыкновенные люди, тоскуют о них. Как передать эти муки? Сонмы разнообразных существ, как обнаруживается, останавливают свой взор на земных красавицах. Сотканные из лучевой энергии эльфы неожиданно демонстрируют плотские порывы.

Современные мистики, мысленно разорвав земные покровы, устремляются в запредельное пространство, где ясновидческому взору открываются другие миры. Вот, например, дух воздуха. Его описание мы находим в книге известного поэта и мистика Джорджа Рассела: «Светильник видения»: «Тело сильфа было пронизано светом и, казалось, в нем струится не кровь, а огонь солнца. Потоки света пронизывали его насквозь. Он плыл надо мной по ветру, держа арфу, и золотые пряди волос ниспадали на струны... На его лице была вечная радость красоты и бессмертной юности».

Сильф — не единственный обитатель таинственных миров. Вот духи вод и дерсавьев, известные древним как нимфы и дриады. Первые знакомы нам еще по греческой мифологии. Это языческие божества, живущие в горах, лесах, морях и источниках. Дриады как раз любят обитать в рощах. Давно ушли античные времена. Но о странных созданиях, которые могут соединиться с человеком, рассказывают во все века. И особенно в наш, презревший мистику...

Специалисты по эротике описывают загадочных созданий. Вот навязчиво-кошмарные особи, демонические воплощения похоти, побуждающие земных людей к совокуплению. Встречаются уродливые твари, рожденные от немыслимых половых сближений. У каждого народа, в каждой культуре можно отыскать конкретные описания неведомых сексуальных существ.

Откуда взялось такое множество странных созданий? Может быть, гномов вместе с Белоснежкой выдумал великий мастер мультипликации Уолт Дисней? Нет, и до него было множество поразительных свидетельств. Неужели кое-кому довелось повидать гномов и троллей? Ведь эти создания могут и жизнь спасти, и клад показать. И не бескорыстно показывают, ради романтического чувства. У гномов свои цели. Слишком неуступчивые и принципиальные люди никаких сокровищ не находят...

Может быть, удивительные эротические создания и в самом деле населяют наш околоземный мир? А возможно, такие существа не что иное, как кристаллизация нашей мучительной и обостренной сексуальной фантазии? Так или иначе, но эти творения раскрывают перед нами подземные глубины Эроса, силы потайные... Романтическая любовь, подавляя чувственность, рождает в подсознании образы дикой и изощренной фантазии, которая ищет утоления. А греховная слепая необузданность, не исключено, по тем же причинам преображается в одухотворенное влечение к Богу.

Религиозная форма любви, по мнению Эриха Фромма, в психологическом плане ничем не отличается от других ее форм. Она также возникает из потребности человека преодолеть отчужденность и достичь соединения с другим существом. Любовь к Богу не менее многогранна, чем обычная земная страсть. Во всех религиозных системах — даже в мистических, обходящихся без учения о Боге, — предполагается реальное существование духовной сферы, которая выходит за пределы человека, придает значение и ценность его духовным силам, его страстному стремлению к спасению и внутреннему возрождению.

Любовь к Богу — сугубо духовное чувство. При чем здесь Эрос? Возможна ли здесь игра страсти? Или напротив, говорить можно только о воздержании, об искуплении греховных чувств. И теологам, и психологам известно: чем возвышеннее переживание, тем глубже в нем неистовое буйство темных желаний. Вот почему религиозные влечения несут в себе множество психологических нюансов. В них прихотливо сплетаются различные побуждения.

С точки зрения китайских и индийских мистиков религиозный долг человека не в том, чтобы правильно мыслить, а чтобы праведно поступать, соединяясь с божеством в акте предельного духовного сосредоточения. На Западе же любовь к Богу — это не только вера в его существование, в его справедливость и благость. Религиозная страсть в западной традиции скорее всего умственное переживание. Но и мощь человеческих сил в ней неизбывна.

Проповедь, написанная шесть веков назад, принадлежит средневековому мистику Мейстеру Экхарту, популярность которого сегодня необычайно возросла. Она возвращает нас к прославлению любви, приравниванию страсти к смерти, которое звучит в библейской Песне Песней. Но то истолкование чувства, которое дает мудрец, мало походит на ортодоксальное христианство.

Бог у Экхарта не столь абстрактен и далек, как в канонической религиозной традиции. Происходит как бы обмирщение страсти, то есть приближение ее к переживаниям конкретного живого человека. Почему человек может познать Бога? — задумывается Мейстер Экхарт. И отвечает: потому что в каждом индивиде есть «искорка», которая не сотворена Богом. Это наше индивидуальное достояние, то, что принадлежит лично мне или тебе. И в то же время такая «искорка» соотнесена с Богом. В любви человек достигает предельного самоотречения. Он преодолевает свою индивидуальность. Как и в смерти, он отказывается от всего бренного. Соединяясь с божественным «ничто», человеческая душа, по мнению Экхарта, становится орудием вечного порождения Богом самого себя.

МЕЙСТЕР ЭКХАРТ

Сильна как смерть

«Я сказал по-латыни изречение, написанное в Песне Песней; на нашем языке гласит оно так: сильна, как смерть, любовь.

Это изречение как раз подходит для восхваления возлюбившей Христа великой любовью Марии Магдалины, о которой столько писали святые евангелисты, что слава о ней распространилась по всему христианскому миру, и так далеко, как это редко бывает. И хотя многие достоинства и добродетели ее заслуживают прославления, но горячая и превеликая любовь ее ко Христу горела в ней с такой неизреченной силой, и так в ней действовала, что именно эту любовь и действия ея по всей справедливости можно сравнить с непреклонной смертью. Оттого и может быть сказано о ней: «Сильна, как смерть, любовь».

Три вещи, которые производит в человеке смерть тела, совершает любовь в человеческом духе. Во-первых, смерть похищает и отнимает у человека все преходящие вещи, так что не может он уже, как раньше, ни обладать, ни пользоваться ими. Во-вторых, проститься нужно ему и со всеми духовными благами, радовавшими тело и душу: с молитвой, с созерцанием и добродетелью, со святым паломничеством, словом, со всеми хорошими вещами, которые дают утешение, усладу и радость духовному человеку; ничего этого не может он больше делать подобно тому, кто мертв на земле. В-третьих, смерть лишает человека всякой награды и достоинства, которые он мог бы еще заслужить. Ибо после смерти не может он ни на волос подвинуться в Царстве Божием: он остается с тем, что уже здесь приобрел. Эти три вещи должны мы принять от смерти, ибо она — расставание тела с душой. Но если любовь к Господу нашему «сильна, как смерть», она также убивает человека в духовном смысле и по-своему разлучает душу с телом. Но происходит это тогда, когда человек всецело отказывается от себя, освобождается от своего «я», и таким образом разлучается сам с собой. Происходит же это силой безмерно высокой любви, которая умеет убивать так любовно. Называют же ее недугом сладким и смертью оживляющей. Ибо такое умирание есть излияние жизни вечной, смерть телесной жизни, в которой человек всегда стремится жить для собственного своего блага.

Но эта сладкая, отрадная смерть производит в человеке все это лишь тогда, когда она настолько сильна, чтобы действительно убить его, а не сделать его только хилым, как случается это со многими людьми, которые долго хиреют, прежде чем умереть. Другие хиреют не долго. А еще другие умирают смертью скоропостижной. Также бывает часто, что люди долго колеблются и рассуждают прежде, нежели преодолеют себя настолько, чтоб для Бога всецело отказаться от себя. Ибо часто поступают они так, словно хотят прожить свою душу и умереть: но опять возвращаются к прежнему и жадно ищут еще хоть какой-либо малой для себя выгоды; так что делают они не исключительно ради Бога, а кое-что оставляют и для себя. И до тех пор они все еще мертвы по-настоящему, но, умирая, чахнут против воли своей; покуда, наконец, благодать Божия, то есть любовь, не одолеет и они не умрут вполне для себялюбия. Ибо ничто не может умертвить себялюбия и корысти, которая суть жизнь и природа человека, кроме любви сильной, как смерть, иначе никак не могут быть умерщвлены эти свойства. Потому и терпят такую муку те, что в аду. Ибо они алчут только своего, алчут, как бы освободиться им от муки! И никогда не может им быть дано это. Потому и умирают они вечною смертью, что жажда своекорыстия не умерла в них и никогда умереть не может. И ничто в мире не может им помочь, кроме одной любви, которой они совсем непричастны.

Таким образом любовь не только сильна, как телесная смерть, она гораздо сильнее адской смерти, которая не может помочь осужденным, как та любовная смерть, что одна действительно убивает жизнь желания и своекорыстия. И происходит это на трех ступенях.

На первой разлучает эта смерть, то есть любовь, человека с преходящим, с друзьями, имуществом и почестями, и всеми творениями, так что ничем она больше не владеет и не пользуется ради себя, и предумышленно не двинет ни одним членом по собственной воле и ради собственной пользы. Раз это достигнуто, душа тотчас начинает искать благ духовных и обращается к ним, к молитве, благоговению, добродетели, восхищению, к Богу. О них научается она радеть и ими научается наслаждаться с упоением, оно же выше всех наслаждений, которыми утешалась она раньше. Ибо эти духовные блага, по самой природе своей, более свойственны ей, нежели блага вещественные. И оттого, что Бог так создал душу, что она не может быть без утешения, а от вещественных радостей она отказа-

лась, чтобы обратиться к духовным, они дают ей такую отраду, что гораздо труднее ей расстаться с ними, нежели было ей раньше расставаться с вещественными. Ибо тот, кто сам это испытал, хорошо знает, что часто бывает гораздо легче отказаться от всего мира, нежели от одного какого-нибудь утешения, одного задушевного чувства, какое иногда дается в молитве или другом каком духовном подвиге.

Но все это лишь начало по сравнению с тем, что следует дальше и для чего любовь действует в человеке. Если любовь действительно сильна, как смерть, то она действует и иначе: она заставляет человека отказаться и отрешиться также от всякого духовного утешения и подобных благ, о коих уже сказано выше; чтобы человек свободно и вольно согласился покинуть для Бога все, что до сих пор радовало его душу, чтобы отказался наслаждаться этим или желать этого.

Боже! кто и не смог бы этого достичь, того принудила бы к тому любовь к Тебе: откажется он от Тебя, ради Тебя, и отрешится от Тебя, ради Тебя. Какую же лучшую и более драгоценную жертву, ради Бога, могли бы принести Ему, как не Его самого! Но не дивно ли это, что Ему в дар приносишь Его же и платишь за Него Им же самим!

К сожалению, таких людей немного, которые согласны отказаться от преходящих вещественных благ, ибо, отказавшись, часто все же чувствуют влечение к вещам внешним. Но насколько реже встречаются такие люди, которые охотно оставляют духовные блага, в сравнении с чем все вещественные блага — ничто. Ибо Тобою обладать, Господи (говорит один учитель), это — лучшее, что когда-либо мог даровать мир, что когда-либо дарует, от начала веков и до Страшного суда!

Но как ни безмерно высока и редка такая отрешенность, есть еще одна ступень, поднимающая человека на более славную высоту совершенства в достижении его конечной цели. Это совершает любовь, которая тогда сильна, как разбивающая наше сердце смерть! И это бывает, когда человек отрекается и от вечной жизни, и от сокровищ вечности — от всего, что он мог бы иметь и от Бога и Его даров; так что вечную жизнь для себя и ради себя он ясно и сознательно никогда уже не принимает за цель и не радеет о ней; когда надежда на вечную жизнь его больше не волнует и не радует, и не облегчает ему бремени. Лишь это — истинная степень подлинного и совершенного отрешения. И только любовь дает нам такое отрешение, любовь, которая сильна, как смерть: и она убивает в человеке его «я», и

разлучает душу с телом, так что душа, ради пользы своей, не хочет иметь ничего общего с телом и ни с чем ему подобным. А потому расстается она вообще и с этим миром, и отходит туда, где ее место по заслугам ее. А что же иное заслужила она, как не уйти в Тебя, о Боже Предвечный, если ради этой смерти через любовь Ты будешь ее жизнь.

Чтобы совершилось это с нами, в том да поможет нам Бог! Аминь».

В мистической и христианской традиции обнаруживается напряженное и тягостное желание одухотворить страсть, освободиться от порывоа чувственности. И это стремление находит отклик в сердцах верующих. Эротика искупает для них грех сексуальности. Христианское сознание, выраженное а сосредоточенном размышлении Владимира Соловьева или Николая Бердяева, усматривает в половом соединении призрачную мимолетность, тленность.

По мнению Владимира Соловьева, экзальтация полового чувства, которое обнаруживает себя в самобытных, личностных формах, отличает человеческую любовь от животной. Но а то же время возбуждается иррациональная роковая страсть, которая постоянно овладевает нами и затем растворяется как мираж... Эрос никогда не достигает насыщения.

Зачем нужна сильная страсть? Для воспроизведения потомства? В.Солоаьев отвергает эту теорию. Вертер любит Шарлотту вовсе не потому, что ищет продолжения рода. Напротив, — полагает русский мыслитель, — особенно сильная любоаь большей частью бывает несчастной. А это обыкновенно ведет к самоубийству. Глубина азаимной пылкой страсти, которую испытали Ромео и Джульетта, могла бы породить какого-нибудь гения вроде Шекспира. Однако влюбленные умерли, не породив никого. Смысл любви философ усматривает а постижении истинной сущности всеобщей жизни...

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Смысл любви

«Преимущество человека перед прочими существами природы,— считает Владимир Соловьев, — способность познавать и осуществлять истину — не есть только родовая, но и индивидуальная: *каждый* человек способен познавать и осуществлять истину, каждый может стать живым отражением абсолютного целого, сознательным и самостоятельным органом всемирной жизни. И в остальной

природе есть истина (или образ Божий), но лишь в своей объективной общности, неведомой для частных существ; она образует их и действует в них и чрез них как роковая сила, как неведомый им самим закон их бытия, которому они подчиняются невольно и бессознательно; для себя самих, в своем внутреннем чувстве и сознании, они не могут подняться над своим данным частичным существованием, они находят себя только в своей особенности, в отдельности от *всего*, следовательно, вне истины; а потому истина или всеобщее может торжествовать здесь только в смене поколений, в пребывании рода и в гибели индивидуальной жизни, не вмещающей в себя истину. Человеческая же индивидуальность именно потому, что она может вмещать в себе истину, не упраздняется ею, а сохраняется и усиливается в ее торжестве.

Но для того, чтобы индивидуальное существо нашло в истине — всеединстве — свое оправдание и утверждение, недостаточно с его стороны одного сознания истины — оно должно быть в истине, а первоначально и непосредственно индивидуальный человек, как и животное, не есть в истине: он находит себя как обособленную частицу всемирного целого, и это свое частичное бытие он утверждает в эгоизме как целое для себя, хочет быть всем в отдельности от всего — вне истины. Эгоизм как реальное основное начало индивидуальной жизни всю ее проникает и направляет, все в ней конкретно определяет, а потому его никак не может перевесить и упразднить одно теоретическое сознание истины. Пока живая сила эгоизма не встретится в человеке с другой живою силою, ей противоположною, сознание истины есть только внешнее освещение, отблеск чужого света. Если бы человек только в этом смысле мог вмещать истину, то связь с нею его индивидуальности не была бы внутреннею и неразрывною; его собственное существо, оставаясь, как животное, вне истины, было бы, как оно, обречено (в своей субъективности) на гибель, сохраняясь только как идея в мысли абсолютного ума.

Истина, как живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, называется любовью. Любовь, как действительное упразднение эгоизма, есть действительное оправдание и спасение индивидуальности. Любовь больше, чем разумное сознание, но без него она на могла бы действовать как внутренняя спасительная сила, возвышающая, а не упраздняющая индивидуальность. Только благодаря разумному сознанию

(или, что то же, сознанию истины) человек может различать самого себя, т.е. свою истинную индивидуальность, от своего эгоизма, а потому, жертвуя этим эгоизмом, отдаваясь сам любви, он находит в ней не только живую, но и животворящую силу и не теряет вместе со своим эгоизмом и свое индивидуальное существо, а, напротив, увековечивает его. В мире животных вследствие отсутствия у них собственного разумного сознания истина, реализующаяся в любви, не находя в них внутренней точки опоры для своего действия, может действовать лишь прямо, как внешняя для них роковая сила, завладевающая ими как слепыми орудиями для чуждых им мировых целей; здесь любовь является как одностороннее торжество общего, родового над индивидуальным, поскольку у животных их индивидуальность совпадает с эгоизмом в непосредственности частичного бытия, а потому и гибнет вместе с ним.

Разумеется, в отвлеченном, теоретическом сознании всякий человек, не помешавшийся в рассудке, всегда допускает полную равноправность других с собою; но в сознании жизненном, в своем внутреннем чувстве и на деле, он утверждает бесконечную разницу, совершенную несоизмеримость между собою и другими: он сам по себе есть все, они сами по себе — ничто. Между тем именно при таком исключительном самоутверждении человек и не может быть в самом деле тем, чем он себя утверждает. То безусловное значение, та абсолютность, которую он вообще справедливо за собою признает, но несправедливо отнимает у других, имеет сама по себе лишь потенциальный характер — это только возможность, требующая своего осуществления. Бог *есть все,* т.е. обладает в одном абсолютном акте всем положительным содержанием, всею полнотою бытия. Человек (вообще и всякий индивидуальный человек в частности), будучи фактически только *этим,* а не *другим,* может *становиться* всем, лишь снимая в своем сознании и жизни ту внутреннюю грань, которая отделяет его от другого. «Этот» может быть «всем» только *вместе с другими,* лишь вместе с другими может он осуществить свое безусловное значение — стать нераздельною и незаменимою частью всеединого целого, самостоятельным живым и своеобразным органом абсолютной жизни. Истинная индивидуальность есть некоторый определенный образ всеединства, некоторый определенный способ восприятия и усвоения себе всего другого. Утверждая себя вне всего другого, человек тем самым лишает смысла

свое собственное существование, отнимает у себя истинное содержание жизни и превращает свою индивидуальность в пустую форму. Таким образом, эгоизм никак не есть самосознание и самоутверждение индивидуальности, а напротив — самоотрицание и гибель.

Метафизические и физические, исторические и социальные условия человеческого существования всячески видоизменяют и смягчают наш эгоизм, полагая сильные и разнообразные преграды для обнаружения его в чистом виде и во всех ужасных его последствиях. Но вся эта сложная, Провидением предопределенная, природою и историей осуществляемая система препятствий и коррективов оставляет нетронутою самую основу эгоизма, постоянно выглядывает из-под покрова личной и общественной нравственности, а при случае проявляется и с полною ясностью. Есть только одна сила, которая может изнутри, в корне, подорвать эгоизм, и действительно его подрывает, именно любовь, и главным образом любовь половая. Ложь и зло эгоизма состоят в исключительном признании безусловного значения за собою и в отрицании его у других; рассудок показывает нам, что это неосновательно и несправедливо, а любовь прямо фактически упраздняет такое несправедливое отношение, заставляя нас не в отвлеченном сознании, а во внутреннем чувстве и жизненной воле признать для себя безусловное значение другого. Познавая в любви истину другого не отвлеченно, а существенно, перенося на деле центр своей жизни за пределы своей эмпирической особности, мы тем самым проявляем и осуществляем свою собственную истину, свое безусловное значение, которое именно и состоит в способности переходить за границы своего фактического феноменального бытия, в способности жить не только в себе, но и в другом.

Всякая любовь есть проявление этой способности, но не всякая осуществляет ее в одинаковой степени, не всякая одинаково радикально подрывает эгоизм. Эгоизм есть сила не только реальная, но основная, укоренившаяся в самом глубоком центре нашего бытия и оттуда проникающая и обнимающая всю нашу действительность, — сила непрерывно действующая во всех частностях и подробностях нашего существования. Чтобы настоящим образом подорвать эгоизм, ему необходимо противопоставить такую же конкретно-определенную и все наше существо проникающую, все в нем захватывающую любовь. То другое, которое должно освободить из оков эгоизма

нашу индивидуальность, должно иметь соотношение со всею этою индивидуальностью, должно быть таким же реальным и конкретным, вполне объектированным субъектом, как и мы сами, и вместе с тем должно во всем отличаться от нас, чтобы быть действительно другим, т. е., имея все то существенное содержание, которое и мы имеем, иметь его другим способом или образом, в другой форме, так, чтобы всякое проявление нашего существа, всякий жизненный акт встречали в этом другом соответствующее, но неодинаковое проявление, так, чтобы отношение одного к другому было полным и постоянным обменом, полным и постоянным утверждением себя в другом, совершенным взаимодействием и общением. Тогда только эгоизм будет подорван и упразднен не в принципе только, а во всей своей конкретной действительности, только при этом, так сказать химическом, соединении двух существ, однородных и равнозначительных, но всесторонне различных по форме, возможно (как в порядке природном, так и в порядке духовном) создание нового человека, действительное осуществление истинной человеческой индивидуальности. Такое соединение или по крайней мере ближайшую возможность к нему мы находим в половой любви, почему и придаем ей исключительное значение как необходимому и незаменимому основанию всего дальнейшего совершенствования, как неизбежному и постоянному условию, при котором только человек может действительно быть в истине».

Теперь мы можем спросить себя: откуда берутся кристаллизации сексуальной фантазии? Они, судя по всему, поднимаются из глубин человеческого существа, захваченного страхом перед игрой природных стихий. Именно подавленные, вытесненные страсти рождают персонификации. Добро и зло всегда олицетворены. Исстари было известно, что Богу противостоит Сатана. Образ ведьмы, служительницы Князя тьмы, обладающей сверхъестественными способностями вредить людям и животным, с древних времен жил в народных поверьях. Но он, тем не менее, не воспринимался в повседневности как нечто реальное, оказывающее воздействие на каждодневные поступки.

Почему же до средневековья образ ведьмы был столь размытым и совершенно неочеловеченным? Вероятно, именно в средние века в полной мере была осознана связь между нею как персонажем устных преданий и исступленными сексуальными чувствами, которые одолевают обыкновенного че-

ловека. Впервые теологов средних веков пронзила мысль о том, что ведьма обретает колоссальную мощь благодаря половому акту с дьяволом. Иначе почему столь могущественны ее чары?

Так в образе ведьмы персонифицировались бессознательные страхи перед женщиной, перед теми соблазнами и искушениями, которые она несет. Ужас проецировался на сатанинское создание. Если мужчина, одолеваемый желанием, обнаруживал вдруг половое бессилие, никто и помыслить не мог, что это не проделки дьявола и его подруги. Это она, злобная колдунья, напустила порчу. Она, злоумышленница, украла страсть, чтобы воспользоваться ею в собственных целях. Она, искусительница, вызвала животный порыв, чтобы поиздеваться над человеком. А возмездие? Ясное дело — казнь без промедления...

На обезумевшее человечество обрушивается поток рассказов о небывалых проделках ведьмы. Ее замыслы изощренны. Вот она лепит из глины фигурки людей, на которых насылает хворь. Вот заставляет человека вожделеть животное. Вот искушает праведников срамными видениями. Наконец, сама принимает человеческий облик и вступает в соитие. Дьявол мужского пола, его называют инкубом (сверху лежащим) ищет поживы среди женщин. Он может принять женский облик, превратиться в суккуба (лежащего внизу). Тогда остерегись, мужчина...

Как отличить инкуба от суккуба? Непросто, если учесть, что теологи буквально свихнулись на этой теме. Появилось множество специалистов, умеющих докопаться до истины. Они-то и разъясняют, что пигмеи, фавны и другие твари родились от сатанинского совокупления. Фавн, скажем, появился от несчастной связи инкуба с земной женщиной.

Ведьмы действуют не в одиночку. Они слетаются на шабаши. Место выбирают тщательно, где попало не приземляются. Открытая площадь не годится. А вот разрушенный замок, монастырь — хорошо. Еще лучше кладбище, виселица, пустырь. На ответственное сборище попадает не каждый. Но кто сноровист... Нужна, во-первых, специальная мазь, приготовленная из печени ребенка, умершего некрещеным. Во-вторых, магическое слово. Без него ни помело не полетит, ни тьма не опустится.

Сегодня, когда колдуны вновь получили признание и мы даже читаем интервью с ними в газетах, неожиданно выясняется, что они всегда владели кое-каким искусством. Могли напустить порчу, но могли и приворожить. Вот, скажем, случай с нашей современницей. Соблазненный юной соперницей, ее хотел было покинуть законный супруг. Обратилась она за помощью к колдуну. И тот ей присоветовал: положи, мол, дома под коврик заговоренный мною прутик. А потом скажи супругу: «Надумал уходить, твоя воля. Останься со мной на последнюю ночь...» Прутик тот, между прочим, придаст мужу безмерную силу. Окажется он в раю сексуальной удовлетворенности. И разлучница останется ни с чем...

Впрочем, к чему рассуждать о современных хитростях колдуна. Перед нами уникальный трактат «Молот ведьм», созданный в XV веке. В нем собрано все, что могла дать теологическая мысль того времени. Попробуем и мы вникнуть в существо вопроса: могут ли ведьмы возбуждать в сердцах людей любовь или ненависть?

Молот ведьм

Средневековый трактат

«Спрашивается, могут ли демоны через посредство ведьм воспламенять в сердцах людей глубокую любовь или ненависть? На основании вышесказанного на этот вопрос дается отрицательный ответ.

1) У человека имеются воля, рассудок и тело. Волею руководит сам бог, т. к. сказано: «Сердце царево в руке божией». Рассудок просвещается его ангелом, а тело находится под влиянием светил небесных.

2) Демоны не могут, преобразуя тело, находиться внутри них, а тем паче в душе и возбуждать там любовь и ненависть. Ведь у них по природе больше власти над телом, чем над духом. Уже выше было доказано, что они не способны преобразовывать тела, если нет другого действующего начала. Об этом говорится в каноне Епископи (XXVI, 5): «Кто верит, что какое-либо существо может перейти из одного состояния в другое, кроме как с помощью Творца Вселенной, тот хуже язычника и неверного».

3) Каждое действующее начало узнает свое действие из образа мыслей изменяемого создания. Значит, если бы черт мог возбудить к любви или к ненависти сердца людей, он мог бы узнать мысли души, что, однако, идет вразрез с указанием книги «О церковных догматах», гласящим определенно: «Черт не может видеть мыслей». Там же читаем: «Не все наши злые мысли возбуждаются чертом; они время от времени подымаются из движений нашей свободной воли».

4) Любовь и ненависть вытекают из нашей воли, коренящейся в душе. Поэтому никаким искусством черт их вызвать не может. Проникнуть в душу, как говорит Августин, может лишь тот, кто ее создал.

5) Если говорится, что черт может воздействовать на внутренние чувства человека и таким образом оказывать влияние на душу, то это рассуждение неверно. Чувствования имеют большее значение, чем силы, питающие и создающие тело. Черт не в состоянии создать мяса и костей. Значит, он не в состоянии воздействовать и на чувствования.

Против этого могут возразить: черт должен искушать людей не только зримо, но и незримо. Было бы неверно, если бы он не мог оказывать влияния на чувствования. К тому же Иоанн Дамаскин в своих «Сентенциях» говорит: «Вся злость и

скверна выдуманы чертом». А Дионисий («О божественных именах», 4) утверждает: «Сонмища демонов причинили зло и самим себе и другим».

На это надо ответить исследованием: 1) понятия причинности и 2) возможности воздействия на чувствования.

Что касается первого пункта, то причины могут быть прямыми и косвенными. Косвенными — когда какое-нибудь действующее начало оказывает влияние на действие. Таким образом мы можем сказать, что человек, пилящий дрова, является косвенной причиной, т.е. дает повод к их сжиганию. Также мы можем сказать, что черт — причина всех наших грехов. Ведь он побудил первого человека ко греху, что привело весь род человеческий к известной склонности творить грехи. Вот в каком смысле надо понимать слова Дамаскина и Дионисия.

Прямой причиной мы называем такую, которая оказывает непосредственное действие. В этом случае нельзя черта рассматривать, как причину каждого нашего греха. Ведь не все грехи совершаются по наущению черта. Некоторые из них проистекают из свободной воли и плотской испорченности. Правильно говорит Ориген: «Если бы черта и не было, люди имели бы стремление к пище, любовным наслаждениям и т.п. Злоупотребления этим весьма часты главным образом из-за испорченности природы человеческой, если нет препонов ей в разуме». Обуздание этих страстей зависит от свободной воли человека, над которой у черта мало власти.

Различение прямых и косвенных причин не объясняет нам, каким образом возбуждается пагубная любовь или любовное исступление. Черт не может добиться этого прямым воздействием, приневоливая здесь человека. Но он может искушать и убеждать его. Это происходит двумя способами: зримо и незримо. Зримо — когда он является ведьмам в человеческом облике, говорит с ними по-человечьи и убеждает совершить грех, как искушал он прародителей в раю и Христа в пустыне. Незримо — когда он действует внутренним увещеванием и внушением, подобно добрым ангелам, влияя на ум, на чувствования или на внешние чувства и предрасполагая к совершению того или иного поступка. Если ангел освещает действительное положение вещей, показывает правду и предостерегает от обмана, дьявол как раз хочет обмануть человека, скрывая от него правду и действуя внушением. Это внушение происходит через посредство присущей духам силы перемещать материю и изменять ее свойства. С помощью этой силы демоны через жрецов фараона превратили жезлы в действи-

тельных змей. Этим же перемещением материи объясняются явления в области воображения человека и внутренних чувствований, которые производят разные представления и побуждают даже к самым резким поступкам. Сюда же относится появление разных образов в сновидениях: когда человек спит, кровь спускается к главному центру чувств; вместе с ней спускаются и впечатления о свершенных действиях тела, уплотняются там в ином порядке и образуют то хранилище образов, из которых черпается содержание сновидений при приведении его в движение духами.

По словам Авиценны («О душе»), человек имеет пять внутренних чувств: общее чувство, фантазию, воображение, суждение и память. Святой Фома насчитывает только 4 таких чувства, ибо он считает воображение и фантазию за одно. Говорят, что фантазия — хранилище образов. Может показаться, что это память. Но надо указать на то, что фантазия — хранилище воспринятых форм. Память же — хранилище суждений, не воспринимаемых внешними чувствами. Кто видит волка, тот спасается от него не вследствие его отвратительной формы или его цвета, воспринимаемых внешними чувствами и сохраняемых в фантазии, а вследствие того, что волк — враг его природы. Это происходит из-за способности суждения, определяющей волка как врага, а собаку как друга. Хранилище этой способности суждения находится в памяти.

Как сновидения, так и видения в бодрствующем состоянии обусловлены появлением различных образов из области памяти, вследствие определенного движения крови и соков под влиянием действия духов. Когда эти духи — демоны, то появляющиеся образы можно назвать внутренним искушением.

Отсюда явствует происхождение любовной пагубы, возбуждаемой образами, подымающимися из хранилища человеческих восприятий. Демоны действуют тут двояко: или они не затемняют рассудка, или затемняют его. К этому можно привести примеры из опытов над пьяницами и над людьми, страдающими мозговыми заболеваниями. Затемнение рассудка происходит или без посредства ведьм и колдовства, или через это посредство.

Мы знаем одну старуху, которая наводила последовательно подобное любовное исступление на трех аббатов одного монастыря, о чем свидетельствуют все монахи этого монастыря. Она не только навела на них эти чары, но и убила их. Четвертого она свела с ума, в чем она и призналась, причем объявила: «Я это действительно совершила и буду так поступать и

впредь. Они будут продолжать любить меня, ибо они много съели моих испражнений». И, протянув руку, показала при этом количество. Я признаюсь, что у нас не хватило власти наказать ее. Поэтому она все еще жива.

Дьявол может вводить людей в искушение, пользуясь также их предрасположениями. Ведь тело, предрасположенное к похоти или к гневу, легче поддается внушениям, связанным с этими страстями.

Нелегко проповедовать народу на вышеуказанные темы. Надо тут давать объяснения общепонятным языком.

Прежде всего пусть проповедник изложит народу, католично ли утверждать, что ведьмы могут возбуждать любовь мужчин к чужим женам до такой степени, что их не отвратить от этой пагубной страсти ни ударами, ни словами, что они чувствуют даже ненависть к своим законным женам, что они не в состоянии исполнять свои супружеские обязанности для увеличения потомства и что они темной ночью по пустынным дорогам бегут иногда к своим возлюбленным.

Надо затем говорить о любовном исступлении, а потом о наведении порчи на зачатие при половом соитии.

Во-первых: хотя демон как таковой и не может воздействовать на человека вопреки его рассудку и воле, с божьего попущения, однако, это представляется возможным. Пусть проповедник сошлется на книгу Иова 2, где бог говорит демону: «Вот в твоей руке Иов», но прибавляет: «Его же души не тронь». Основание: бог дал демону власть над всеми из тела происходящими силами, над пятью внешними и четырьмя внутренними чувствами.

Демон может воздействовать не только на наши восприятия, но и на наш рассудок, затемняя его. Он может также воздействовать на нашу волю и произвести гибельные изменения в ее аффектах. Это демон может свершить или с помощью ведьм или без оных. Приведем примеры: в послании Иакова (гл. 1) говорится: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь своей похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Когда Сихем увидел Дину, вышедшую посмотреть на женщин страны, то влюбился в нее, похитил ее и спал с ней, и «его душа прилепилась к ней». (Бытие XXXIV,) Глосса прибавляет: «Со слабой душой происходит то же, если она, как и Дина, забывая о своих делах, начинает заботиться о делах посторонних; она обольщается обхождением и мыслит одинаково с обольщенными».

Во-вторых: вот пример искушения демонами без помощи ведьм: Аммон полюбил свою прекрасную сестру Фамарь до та-

кой степени, что даже заболел (II Царств, 13). Кто может так низко пасть, кроме совершенно испорченного и тяжко дьяволом искушаемого человека? Поэтому глосса и говорит: «Это да послужит нам уроком. Бог попустил это для того, чтобы мы поступали осторожно, чтобы в нас не господствовал порок и чтобы князь греха нас не убил врасплох».

Об этом втором виде любви, внушенной дьяволом без помощи ведьм, много говорится в житиях святых отцов. Сии отцы, отстранившиеся от всяческой плотской радости, часто искушались вожделением к женщине. Поэтому апостол в своем 2 послании к коринфянам (12) и говорит: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня». А глосса прибавляет: «Он мне дан для искушения чрез вожделение». Отраженные же искушения не являются грехом, а особого рода испытанием добродетели. Это относится к искушению врагом, но не к искушению через плоть. В этом случае всегда лежит по меньшей мере простительный грех, хотя бы это искушение и было преодолено.

В-третьих: любовные исступления не могут быть делом рук только ведьм без вмешательства дьявола в следующих случаях: 1) Когда жена искушаемого красива и уважаема, а его возлюбленная обладает противоположными качествами. 2) Когда несчастного нельзя отвратить от его греховной любви ни побоями, ни словами увещевания. 3) Когда, не обращая внимания на трудности пути и на позднее время и не имея силы себя сдержать, влюбленный бежит к предмету своей гибельной страсти.

Р. Э. Л. МАСТЕРС

Эрос и зло

Авторитетные демонологи полагают, что не все дьяволы или демоны связаны с сексом. Демонам и целым их классам отведена различная работа, и лишь некоторые из них заняты тем, что соблазняют мужчин и женщин или побуждают их совокупляться друг с другом. Существуют и такие, что заставляют смертных предаваться различным грехам: жадности, чревоугодию, богохульству, ереси, лености, пьянству.

Иногда один колдун может причинить вред другому с помощью своего демона, поэтому возникает вопрос, как один демон может одолеть другого? Считается, что среди демонов, как и среди ангелов, существует иерархия. В данной работе, оче-

видно, следует коротко упомянуть главных, наиболее известных демонов, имеющих отношение к человеческой сексуальности.

Эротические знаменитости ада

По мнению некоторых, первым инкубом был Пан. Первым суккубом — Лилит. Возможно, по старшинству эта пара возглавляет все полчища инкубов и суккубов.

Лилит считают повелительницей суккубов. Существует мнение о том, что она аккадского происхождения, и там ее имя звучит как Джелал или Кель-Джелал.

Велиал, которого иногда именуют Духом Зла, возглавляет демонов, чья роль — побуждать людей к греху, в том числе — к совокуплению и к сексуальным извращениям. Говорят, что это он развратил людей Городов и Равнин, именно он внушил жене Потифара нечестивую страсть к Иосифу.

Иногда Велиала отождествляют с самим Сатаной, но чаще считают одним из повелителей Сатаны. Ему суждено гореть в вечном огне во время второго пришествия Христа.

В некоторых случаях путают Велиала и Велиара, хотя Велиар, как считают, имеет власть над мужчинами и женщинами, только когда они охвачены похотью.

Асмодей, царь Демонов и по древнееврейской легенде супруг Лилит, считается демоном, повергающим людей в смертный грех разврата. В книге «Malleus Malificarum»[1] о нем написано так: «Но самый демон Совокупления, повелитель этой мерзости, носит имя Асмодея; совершившие этот грех понесли страшное наказание в Содоме и четырех других городах. Демон Гордости именуется Левиафаном... Демон же Алчности и Богатства зовется Маммон».

Именно этот демон Совокупления, Асмодей, любил Сарру, дочь Рагуила, и в ярости и ревности убил поочередно семь ее женихов, каждого в свадебную ночь, прежде чем тот успел возлечь с нею.

«В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуиловой, в Екбатанах Мидийских терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею как с женой. Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты

[1] «Молот ведьм» *(лат.).*

задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них...»[1]

Сарра в отчаянии решает лишить себя жизни, но затем возносит молитву Господу, и он посылает ангела Рафаила связать Асмодея и дать Сарру в жены Товии, сыну Товитову.

Сарра не отрицает обвинений служанок, но молясь говорит лишь: «я чиста от всякого греха с мужем и не обесчестила имени моего, ни имени отца моего»[2].

Следует добавить, что Асмодей, очевидно, был связан не очень крепко, потому что вскоре оказался снова при деле, творя очередное зло. В христианской демонологии он, как правило, обладает меньшей властью, чем в иудейской, сфера его деятельности — плотская страсть.

В соответствии с положениями школы демонологии, считающей Люцифера Властителем и Астарота Князем Ада, Сатана является повелителем, чье назначение соблазнять и развращать женщин и девушек. Его главные помощники — Пруслас, Аамон и Барбатос. Подчинен ему и Сидрагам, чья задача «ввергать женщин в безумство страсти при помощи танца».

Еще одним известнейшим демоном, которому поклоняются колдуны и сатанисты, является Бельфегор. Его язык представляет собой мужской половой орган. Бельфегора можно считать двойником индусского Ратрема, которого изображают в виде стоящего фаллоса.

Не только падшие ангелы, превратившиеся в демонов в Легионах Ада, вступают в половую связь с людьми. В числе прочих, Тертуллиан свидетельствует, что ангелы христианского Бога иногда принимали человеческий облик, чтобы совокупляться со смертными. В «Апокрифах» тоже содержатся упоминания о таких ангелах.

В «Книге Еноха» Бог посылает двух ангелов, Азаэля и Уззу, на землю, посмотреть, могут ли они совратить род человеческий, ввергнув его в соблазн похоти. Но вместо этого сами ангелы впали в соблазн, почувствовав плотскую страсть к земным женам, и Бог покарал их. Азаэль оказался виновен еще и в том, что выучил женщин раскрашивать лица.

Каббалисты называют довольно большое число ангелов, имеющих отношение к человеческой сексуальности. Среди них Аниэль и Анаэль, Рачиэль и Сачиэль, Саработ и Амабиэль, Аба, Абалидот и Флаиф. Каббалисты добавляют, что наря-

---

[1] Книга Товита, 3, 7-8.

[2] Там же, 3, 14-15.

ду с ангелами добрыми существуют грешные, которых не следует путать с демонами. Среди них Ишет Земунин, Ангел Проституции, жена Самаэля, ангела Яда и Смерти.

Демоны, которые сексуально связаны со смертными, которые поощряют распутство и извращения, которые покровительствуют различным формам сексуального поведения, во многих случаях служат заменой богов, раньше выполняющих эти функции и продолжающих выполнять их у язычников. Поскольку подобные боги не что иное, как демоны, по мнению большинства самых авторитетных мыслителей-демонологов следует упомянуть их здесь, хотя и очень малую часть. Как и остальные демоны, некоторые из них являются покровителями человеческой сексуальности и сексуальной практики, часть принимает участие в эротических актах с людьми. Некоторые занимаются и тем и другим, но в таком случае какая-то из этих ролей для них является преобладающей.

Эротические божества

В Персии, Скифии, Армении и Лидии любви и сексуальным культам покровительствовала богиня Анаит. Юные девушки занимались в ее честь проституцией. Ее мужского пола двойник в отношении покровительства сексуальным культам — скандинавское божество Ярило, Бог Плотских Утех.

В Египте богиня-кошка Баст, или Бастет, считалась также покровительницей сексуальной любви. Египетским божеством — или полубогом, — тесно связанным с инкубами, был Бэс, отталкивающего вида карлик, который приносит спящему нежнейшие эротические видения, защищая его (или ее) от кошмаров и других неприятных явлений. Говорят, он до сих пор живет у южных ворот Карнака. Иногда он приходит в ярость и душит тех, кто отваживается насмехаться над его безобразным телом и отвратительным лицом.

Бафорет — андрогинное божество, которое иногда считается покровителем гомосексуализма. Это очень древнее божество, и неоднократные попытки выяснить его происхождение были безрезультатны.

Эрота, Бога Любви, часто смешивают с Приапом, Богом Фаллоса, Богом-Пенисом. Считается, что подлинный Приап

был человеком, отличавшимся мужественностью и размерами фаллоса, впоследствии обожествленного. Приапа часто отождествляют с Дионисом.

Дионис, сельское божество, достигшее высот Олимпа. Дионис — бог-покровитель плодов, цветов и вина. Культ Диониса сопровождается оргиями и различными ритуалами, и один из его символов — фаллос — «дерево без ветвей».

Фриза (Фригга, или Фрида) — скандинавская богиня Любви, днем которой считалась пятница — что объединяет ее с Венерой.

П'ан-Чин-лин — покровительница проституток в Китае. Она сама была шлюхой, но после того, как была убита свекром, стала богиней.

Тласолтеотль — ацтекская богиня недозволенных страстей, похоти, наслаждения и разврата. Позже она считалась покровительницей проституток.

В Китае юноши-проститутки имели собственного покровителя, Тцу-вана, он же был Богом Содомии.

Покровительницей гомосексуализма была Венера Кастина. Различаются еще несколько Венер, среди них Покровительница Жен, Покровительница Девушек, Покровительница Проституток. Некоторые специалисты упоминают также Венеру Беззаконную, Покровительницу Сексуальных Извращений.

Богиня Любви, которую римляне называли Венерой, обнаруживается почти у всех народов древнего мира. Правильнее было бы определить ее как Богиню Желания, или Страсти. У вавилонян это была Иштар, у фригийцев Кибела, у египтян Исида, у греков — Афродита. Однако ни в коей мере не следует считать, что они одинаковы, что различаются только по именам. У каждой свое происхождение, своя индивидуальность. Отождествление их — частая ошибка, которая ведет впоследствии ко многим недоразумениям.

Несколько богинь в большей или меньшей степени ассоциируется с Венерой. Это Милда, литовская Богиня Любви (считается, что от ее связи с Каусом, Богом Войны, родился

сын Каунис, в честь которого назван город Каунас). Это Волюпия, Богиня Сладострастных Желаний.

Другие сексуальные боги римлян и их функции: Югатинус — держит вместе мужа и жену; Стимула — зажигает огонь желаний в мужчине; Стрения — дает силу осуществить эти желания.

Удивительные эротические существа

Кроме христианских и иудейских демонов и языческих божеств, человек наполнил свой мир многочисленными удивительными созданиями, которые совокуплялись со смертными — с их согласия или без него. Мне хочется посвятить целую книгу этим существам, имеющим довольно большое значение для понимания психосексуального развития человека. Но нельзя не упомянуть здесь хотя бы некоторых из них.

Алука — иудейский суккуб и вампир, унаследованный из вавилонской демонологии.

Ардат-Лили — семитский суккуб, также — вид суккубов. Отличаются необычайной силой сексуальных желаний; им доставляет удовольствие приносить вред человеку.

Василиск — чудовище, которое появляется на свет в результате извращенного полового акта, чаще всего — содомии.

Брукса — португальский суккуб. Соблазняет путешественников, а также совокупляется с другими демонами. В то же время является вампиром, поэтому действует только по ночам.

Бхутам — эротический дух или инкуб, совокупляющийся с индусскими женщинами.

Вампиры — обычно известны как духи, высасывающие кровь; как правило, это ожившие трупы. Самое раннее изображение вампира обнаружено на доисторической чаше, это вампир и суккуб одновременно. На чаше обезглавленный вампир совокупляется с человеком. Существует предположение, что

вампир изображен обезглавленным — вампиров уничтожали именно таким образом — для отпугивания других. Возможно, человек, пивший из чаши, таким образом защищал себя от посещений суккубов. Неясно, кто старше по происхождению — суккубы или вампиры, и сочетались ли их функции изначально в одном существе. Вампир — нечистый дух, будь то тело, одушевленное неким демоном, или человек, позволивший духу войти в свое тело и придать ему энергию.

Вампиры обнаруживаются в традиции почти всех народов мира, часто выполняют также роль суккубов, иногда — инкубов. Наиболее известные вампиры: Акахару (ассирийский), Бруколакас (греческий), Дирг-Далс (древнеирландский), Экким у (ассирийский), Катахан (цейлонский), Мерони (валахский), Понтианак (яванский), Раларатри (индусский), Стригон (индийский), Суомкс (бирманский), Тии (полинезийский), Упиор или Вампиор (польский), Упырь (украинский), Врыколак, или Вурколак, или Вукодлак (Россия, Богемия, Сербия, Албания, Черногория), Вампир (голландский), Вампира (сербский), Пенангглан (малайский), Панангглан (индийский). Пенангглан и Панангглан отличаются от остальных тем, что вопреки общему представлению о вампирах это живые колдуны.

Следует особо упомянуть о Море, славянском вампире; Мора безнадежно влюбляется в человека, чьей крови она попробовала.

Вендиго — громадное и ужасное существо с сердцем изо льда, которое селится в дебрях северовосточной Канады. Вендиго может быть и мужского и женского пола. Очевидно, он во многих отношениях родственен вампирам, вервольфам и другим чудовищам-каннибалам, и вера в вендиго (как вера в вампиров и вервольфов) приводит к психозам, имитирующим поведение мифического чудовища. Природу психоза объясняет гипотеза о том, что в основе представления о вендиго (или виндиго, или ви-ти-то, или виндигоаг) лежит подавленное стремление к инцесту. Чудовище не может принести вреда человеку, но жертвы психоза — могут. Более того, в их насильственных действиях проявляются черты садизма, некрофилии и других извращений.

Вервольф (или ликантроп) — человек в волчьем обличье, иногда совокупляется с людьми и животными, но его главное стремление — увечить, убивать и пожирать. Это бывает и тог-

да, когда — реже — вервольф не человек, а злой дух, вселившийся в тело настоящего волка. Как и представление о вампире, образ вервольфа связан с сексуальными извращениями: садизм, некрофагия, некрофилия и т.п. — и вервольф тоже порождение боязни кастрации и стремления к инцесту. Кроме волка-оборотня существует еще много животных-оборотней. Их поведение и роли различны. Китайские оборотни-лисы, например, ближе к западным инкубам и суккубам, чем к вервольфам. Лисы-оборотни обоего пола в облике людей или животных вступают в связь соответственно с мужчинами и женщинами. Оборотни-медведи представляют собой другой вариант суккубов: днем они огромные черные звери, а ночью превращаются в прекрасных женщин, которые иногда душат своих возлюбленных в неистовстве страсти.

Некоторые полагают, что вервольфами движет партенофагия, желание плоти юных девушек, желание, которое может быть как сексуальным, так и каннибальским.

Вештица — суккуб с огненными крыльями, который набрасывается на спящих юношей, чтобы ошеломить их страстными ласками и вознести к вершинам сладострастия. Говорят, однако, что ее возлюбленный — вукодлак, человек-сомнамбула, который пьет кровь на манер вампиров и пожирает плоть, наподобие вервольфов.

Водяные — славянские водяные духи. Способны принимать различный облик, в частности, — прекрасной обнаженной девушки. В таком обличье водяные заманивают людей в воду и топят.

Водяные нимфы — питая особую страсть к красивым юношам, утаскивают их в глубины прудов и озер и держат там как своих любовников. Когда красивый юноша наклоняется к пруду, чтобы выпить воды или посмотреть на свое отражение, он всегда рискует привлечь к себе внимание какой-нибудь водяной нимфы, которая может высунуться из воды и утащить его; она может появиться на середине пруда, сидя на большом листе кувшинки, и увлечь его своей красотой навстречу гибели. Некоторые считают, что юноши, праздно разглядывающие свое отражение и привлекающие внимание любвеобильных водяных нимф, не заслуживают лучшей участи.

Волшебники. Поверье, что волшебники и волшебницы вступают в брак или в любовный союз с людьми противопо-

ложного пола, было широко распространено в средние века и позже. Никакие проблемы анатомического несоответствия не мешали такому союзу. Волшебники и волшебницы схожи с людьми телосложением и примерно такого же, как смертные, роста. Как отмечает Маргарита Меррей, только после появления «Сна в летнюю ночь» Шекспира волшебники и волшебницы в нашем представлении начали уменьшаться в размере до теперешних, крошечных.

Вукодлак — сомнамбула (иногда — одержимый демонами), который похищает девушек и пьет их горячую молодую кровь. Находясь в трансе, вукодлак чрезвычайно опасен, зубами и когтями он вонзается в любое встреченное им живое существо (за исключением вещницы, его возлюбленной).

Гандарвы — индусские инкубы, сосущие кровь.

Гномы и Гномиды — духи, обычно пребывающие под землей, но появляющиеся на поверхности с различными целями. Гномы — мужского пола, а гномиды — женского. Они малы ростом, но хорошо сложены, и гномиды необычайно привлекательны для мужчин. Иногда они сочетаются браком со смертными, подобно сильфам (духам воздуха), мелюзинам (духам воды) и, как считают некоторые, саламандрам (духам огня).

Гоблины. Это слово часто употребляется как синоним инкубов или других духов, вступающих в любовную связь с людьми. Гоблины могут принимать различный вид. Подобно полтергейсту, гоблин совершенно не поддается усилиям людей, пытающихся изгнать его.

Дворовые — славянские духи-хранители домашнего очага, которые совокупляются с женщинами дома, требуя от них верности и привязанности. Дворовые необычайно ревнивы и могут задушить женщину, которая окажется неверной.

Драконы — невидимые существа, которые при определенных обстоятельствах могут становиться видимыми и принимать облик человека, чтобы совокупляться с ведьмами. Дракон изготовляет свое тело из семени онанистов и семени, полученного в результате полового акта вне брака, в особенности с проституткой, занимающейся своим ремеслом. В таких случа-

ях дракон становится настолько точным повторением человека, чьим семенем он воспользовался, что двойника путают с самим человеком.

Друджи — персидские суккубы, отличающиеся неистовой похотью, лживостью и общей испорченностью, образ их напоминает представление о женщине средневековых христианских теологов. Друджи продолжают в мире духов творить зло, которое творили, будучи людьми. Они наслаждаются «преступлением и осквернением», а их главная цель — привести других к разорению, разврату и страданию. Очевидно их сходство с кабалли.

Друзии, дузии — демоны, которые совокупляются со смертными женщинами.

Духи мертвых. Существуют запреты, часто нарушаемые, на то, чтобы воскрешать мертвых и пользоваться их телами для целей безнравственных. Сексуальная некромания строго запрещена белыми магами.

Духи огня — духи, сожительствующие со старухами-ведьмами или одержимыми. Считается, что духи огня имеют вид пламени, но нет данных о том, сжигают ли они женщин, вступающих с ними в связь.

Духи пятницы. Знак пятницы — Венера, и духи пятницы пробуждают сексуальные желания. Будучи вызванными, эти духи могут появиться как обнаженные девушки или козы, и в таком виде действовать как суккубы. Иногда они могут принимать другой вид.

Дуэнде — испанский инкуб.

Кабалли — похотливые духи, которые продолжают оставаться во власти своих земных страстей. Они разыскивают живых людей с похожими склонностями, чтобы удовлетворить свои желания. Спириты полагают, что для кабалли особенно привлекательны сладострастные, похотливые медиумы, благодаря которым они могут материализоваться и таким образом получить наивысшее удовольствие. Однако их сексуальная практика осуществляется также на астральном уровне, где они совокупляются с множеством астральных существ и с

людьми, которые в своем астральном виде оказываются на этих уровнях.

Камбион — отпрыск инкуба и суккуба.

Кентавры — полулюди, полукони. В гораздо большей мере, чем сатиры, отличаются распутством, жестокостью, склонностью к пьянству. Постоянно разжигаемые похотью, часто прибегают к насилию.

Кокото — божества или демоны Западной Индии, вступающие в плотскую связь с женщинами.

Компусы — демоны-суккубы.

Корибанты — духи, известные своими оргиастическими ритуалами и дикими танцами.

Кош-Мары — существа, которые могут быть отнесены как к инкубам и суккубам, так и к ночным демонам. Кош-Мары насылают на людей ведьмы, стремясь таким образом поработить их и сделать зависимыми. Они появляются только по ночам, когда объект их объятий спит.

Кощеи — русские гоблины отвратительной наружности, живущие в горах Кавказа, необычайно сластолюбивы по отношению к юным девушкам.

Ламии — греческие и римские суккубы-вампиры. Крадут детей и выпивают их кровь, доводя до полного истощения. Говорят, что ламии могут быть обоего пола и вступать в связь и с мужчинами, и с женщинами.

Лемуры — существа, подобные кабалли.

Лешие — славянские лесные полубоги, которые происходят от похотливого совокупления демонов с женщинами.

Молонги — малайские инкубы-вампиры.

Наяда — в каком-то отношении двойник водяной нимфы, которая заманивает мужчин в воду, чтобы утопить их, и сирены, которая тоже заманивает на погибель мужчин своей красотой и (или) пением. Верхняя часть тела наяды необыкновенно красива, но нижняя часть — как у рыбы. Однако некоторые специалисты утверждают, что ее тело заканчивается двумя

рыбьими хвостами — подобие ног — с влагалищем между ними.

Никси — существа, подобные водяным нимфам, ундинам и т.п. Имеют обыкновение сидеть обнаженными у прудов и речек, расчесывая длинные золотистые волосы, и увлекают мужчин за собою в воду, откуда те никогда не возвращаются.

Нимфы — духи различных видов, обитающие в лесах, по берегам ручьев и т.п., способные принимать вид людей и даже одеваться, как люди, и жить среди них, не раскрывая своего сверхъестественного происхождения. Они часто вступают в любовную связь с людьми, а также с сатирами, фавнами, панами и т.п.

Носферат — румынский трансильванский вампир. Человек, которого убьет носферат, становится таким же, как он. Вампир может быть как инкубом, так и суккубом. Он может пить кровь своих жертв и вызывать ночные семяизвержения. Это дух мертворожденного незаконного ребенка, родители которого тоже рождены вне закона (или, как уже говорилось, это может быть жертва другого носферата). Если женщина забеременеет от носферата, ребенок будет колдуном или колдуньей. Для носферата особенно привлекательны молодые девушки и юноши, с которыми он обращается так жадно и пылко, что они умирают от изнеможения. Носферат также приводит людей к импотенции и бесплодию.

Орнии — вампир и демон-суккуб. Приняв вид женщины, совокупляется с мужчинами.

Паны — класс полубогов или духов, ведущих происхождение, очевидно, от Пана.

Полудница — русская красавица-суккуб, которая встречается в сельских районах.

Рагана — литовская дриада. Она вознаграждает своей любовью тех, кто спасает от рубки деревья, с которыми таинственным образом связана ее жизнь.

Русалки — прекрасные, но жестокие славянские духи, в глазах которых горят зеленые огни. Люди умирают в их объя-

тиях, но считается, что смерть — не слишком высокая цена за любовь русалки.

Сатиры — существа, физически сходные с фавнами. Они необычайно похотливы, совокупляются с женщинами, нимфами и животными. Существует великолепная статуя сатира, совокупляющегося с козой, в Национальном музее Неаполя. Некоторые считают, что это изображение самого Пана.

Сильван — латинское божество, а также род существ, напоминающих Пана. Это сельское или лесное божество, отец которого пастух, а мать — коза. Согласно Св.Августину, сильван живет в лесах, отличается буйным темпераментом.

Сирены. Занимаются тем, что соблазняют мужчин и убивают их.

Тритон — мужского пола аналог наяды (в настоящее время более известной). Некоторые утверждают, что тритоны появляются на свет в результате совокупления людей с большими рыбами и в результате того, что рыбы беременеют от семени утопленников, порождая тритонов, и наяд, и ужасных морских чудовищ. Считается, что тритоны привлекательны для женщин, хотя их тело ниже пояса — как у рыб, и обычно не обладает органом, необходимым для совокупления.

Тролли — считаются скандинавским эквивалентом фавнов. Некоторые, однако, отождествляют их с гномами. Троллей много в Норвегии. Они не только соблазняют и насилуют людей, но в минуты ярости могут нанести им тяжкие телесные повреждения.

Ундины — духи, которые могут жить вместе с мужчинами и даже вступать с ними в брак. Дети таких союзов наследуют от отцов человеческую душу и могут считаться человеческими существами. Ундина — это вид водяной нимфы, она состоит в родстве с богинями воды. Ундина красива, пробуждает в мужчине страсть и известна своей ревнивостью. Если ее муж или любовник изменит ей хоть однажды, она исчезает навсегда.

Упырица — суккуб. Навещает в полнолуние юношей в постелях, «сжигая» их в горячих и ненасытных своих объятиях.

Фавны — существа, у которых нижняя часть тела — козлиная, к тому же есть хвост, рога и мохнатые уши. Другими сло-

вами, они похожи на сатиров. Фавны совокупляются со смертными женщинами.

Фиговые фавны — фавны или сатиры пустынь, названные так потому, что питаются преимущественно фигами. Существует также мнение, что паны, инкубы, сатиры, фавны и дузии — одни и те же существа.

Чаррелы (или чаррейлы) — индусские суккубы, которые совершают феллацио, пока не высосут саму жизнь из своих жертв. Говорят, что чаррелы — это духи женщин, умерших при рождении ребенка (женщины, умершие при таких обстоятельствах, становятся демонами и вампирами, о чем свидетельствует фольклор разных времен и стран).

Эльфы — в тевтонской традиции эльфы ухаживают за смертными женщинами, соблазняют их, а иногда, если женщина не поддается на ухаживания, становятся насильниками и похитителями детей. Эльфы — потомки союзов демонов со смертными, и период беременности ими может быть от месяца до года. Они могут рождаться поодиночке, как близнецы, или целым пометом. Они склонны к проказам любого рода и часто помогают своим матерям-ведьмам причинять вред их соперницам.

Эмпусы — в древнегреческих сказаниях злонамеренные и сладострастные демоны-женщины. Они могут принимать вид животных или прекрасных девушек, и в виде юных девушек они совокупляются с мужчинами как суккубы. Их упоминает Аристофан и другие авторы как дочерей Гекаты, покровительницы колдовства.

Эстри — средневековый демон, а также ведьма. Летает по ночам, может по желанию изменять вид; эстри пьет кровь людей во время совокупления с ними.

Эфиальты и ифиальты — греческие эквиваленты инкубов и суккубов.

Якшини — самые прекрасные, сладострастные и сексуально ненасытные индусские суккубы. Своими неуемными желаниями они доводят любовников до импотенции и полного истощения».

Поразительная тема для исследования — история человеческой сексуальности. Французский философ Мишель Фуко в шести томах воссоздал летопись чувственности, какой она складывалась в Европе. В центре его внимания — человек вожделеющий... О чем рассказывает мыслитель? Прежде всего он обращает внимание на тот факт, что отношение к страсти в разные эпохи не было одинаковым. Например, в античности наслаждение, сексуальное влечение не рассматривались как зло. Надо уметь пользоваться усладами. В этом существо вопроса...

Сформировать себя как субъекта наслаждения — оказывается, огромное искусство. Каждый поступок индивида вписывается в господствующую структуру морального сознания. И вот что можно сказать, например, об античности. Греческое общество было «естественным». Блаженство не считалось предосудительным. По классификации Фуко античное общество можно назвать «мужским». Это означает, что в нем различались активные и пассивные сексуальные роли. Тяга к наслаждению для греков естественна и оправданна. Но, отдаваясь страсти, нужно соблюдать меру. Дидактическая проповедь? Ни в коей мере. Скорее философский анализ культурных феноменов.

По мнению Фуко, запреты иудейско-христианской морали, которые и сегодня определяют во многом наши представления о сексе, вовсе не универсальны. Мы, например, с ужасом и отвращением читаем об однополой любви, о влечении к странным эротическим существам, о непомерном сладострастии, вызванном тайными чарами. И совсем не склонны размышлять о собственном интимном мире. Если же и обращаемся к личной практике, то сразу соотносим ее с запретами и нормами.

Между тем самостоятельный нравственный опыт был для грека значимее всяких заповедей и канонов. Из этого следует, что нельзя подчинить человеческую чувственность, прихотливую и разнообразную, безупречным и окончательным принципам. Что, например, считать сексуальным извращением? Только то, что не нравится одному из партнеров? Выходит, греки исповедовали программу вседозволенности. Гомосексуализм... Лесбиянство... Вот что значит поступаться принципами... Но греческое общество в известной мере было бисексуальным. Захваченность сексом одинаково относилась и к женщинам, и к мальчикам. И вместе с тем греки учились пользоваться наслаждениями.

«Пользование наслаждениями» — так называется второй том из задуманной Фуко «Истории сексуальности». В предисловии к своей работе французский философ размышляет, почему к уже известным понятиям «любовь», «эрос», «амор» добавилось еще одно — «сексуальность». Оно кажется обыденным, давним, но появилось совсем недавно. Само слово вошло в обиход в XIX веке и ознаменовало определенный революционный сдвиг в ценностных установках человечества.

Античный грек, предаваясь наслаждениям, сам определял меру своей аскезы, воздержанности. Кто мог указать ему черту, за которой услада утрачивает естественность? Только он сам. Иначе выглядит эта ситуация для современного человека. Он обладает определенным знанием, которое как бы подсказывает ему, что надлежит считать нормой, а что — отклонением от нее. Отныне человек обращается не столько к собственному интимному опы-

ту, к спонтанно возникающим чувствам, сколько к тому, что говорит наука или сложившаяся в обществе система огрвничений.

Потребность в появленнн слова «сексуальность», как полагает Фуко, диктовалась прежде всего развитием познания, особенно биологии и социологин. Современный человек получает сведения о природе полового инстинкта, о том, как он ведет себя в царстве живого. Кроме того, он знает, что значимо для общества, позволяет ли оно праздник чувств, или, напротив, пытается обуздать вожделения. Стало быть, потребность в названиом понятии определялась также целым роем различных запретов — религиозных, юридических, педагогических, медицииских. Человек пытается отыскать пространство, где может ощутить себя субъектом наслаждения, раскованным, свободиым, презревшим условности общества. Так, в современных западных культурах, полагает Фуко, сложился определенный интимный, сокровенно-индивидуальный опыт, который обозначается словом «сексуальность».

МИШЕЛЬ ФУКО

Пользование наслаждением

«Термин «сексуальность» появился довольно поздно, в начале XIX века. Данный факт не стоит ни недооценивать, ни переоценивать. Он свидетельствует не просто о возникновении нового слова или о внезапном появлении того, что обозначается этим термином. Само слово употребляется в связи с различными явлениями: развитием всевозможных областей познания, включая биологический механизм воспроизводства или же индивидуальные (социальные) варианты поведения; с установлением свода правил и норм, отчасти заданных традицией, отчасти новых, которые опираются на соответствующие религиозные, судебные, педагогические, медицинские учреждения; с изменениями тех способов, которыми индивиды определяют смысл и значимость собственного поведения, долга, наслаждений, чувств и ощущений, снов. Словом, речь идет о том, чтобы понять, как в современных западных обществах сложился такой «опыт», посредством которого индивиды смогли признать себя субъектами «сексуальности», открытой весьма различным областям познания и пронизанной целой системой правил и принуждений. Мой замысел заключался в том, чтобы построить историю сексуальности как опыта — если под опытом понимать внутрикультурную соотнесенность между областями познания, типами норм и формами субъективности.

Итак, для того, чтобы говорить о сексуальности, нужно было оторваться от той достаточно распространенной мыслительной схемы, которая превращает сексуальность в инвариант и полагает, что ее проявления в различных исторических формах есть не что иное, как результат действия всевозможных механизмов подавления, подчиняющих ее в любом обществе. Все это предполагает выход за рамки исторического поля желаний человека вожделеющего и постановку вопроса о наиболее общей форме запрета, который вносит в сексуальность все то, что в ней есть исторического. Однако одного отказа от этой гипотезы недостаточно. Чтобы говорить о «сексуальности» как особом историческом опыте, нужно иметь подходящие средства для анализа во всей специфике трех образующих этот опыт моментов, а именно: строя относящихся к этому опыту знаний, систем власти, упорядочивающих сексуальную практику, и тех форм, посредством которых индивиды могут и должны признать себя субъектами сексуальности. Необходимые инструменты для исследования первых двух моментов у меня уже были — их дал мне проведенный ранее анализ медицины и психиатрии, а также власти, связанной с наказанием, и дисциплинарных практик. В самом деле, анализ дискурсивных практик дал мне возможность исследовать, как формируются знания, избегая при этом дилеммы науки и идеологии; анализ отношений власти и используемых ею средств позволил рассмотреть их как открытые стратегии, избегая при этом альтернативы между пониманием власти господства и ниспровержением ее как мнимой величины.

Что же касается исследования путей и способов, которыми индивиды приходят к признанию в себе сексуальных субъектов, то оно поставило передо мной множество проблем. Сами понятия «желание» и «человек вожделеющий» намекают если и не на теорию, то, по крайней мере, на общепризнанную тему теоретического рассуждения. Однако само принятие этой темы — факт странный: в тех или иных вариантах ее обнаруживали и в самом средоточии классической теории сексуальности, и в тех концепциях, которые пытались от этой теории отказаться; именно эта тема, по-видимому, была унаследована в XIX и XX веках из уходящей в глубь веков христианской традиции. Хотя опыт сексуальности как особую историческую фигуру вполне можно отличить от христианского опыта «плоти», принципу «человека вожделеющего» ра́вно подвластны и тот, и другой. Во всяком случае, трудно, как видим, анализировать формирование и развитие опыта сексуальности, начиная

с XVIII века, не проводя одновременно историко-критического исследования темы желания и человека вожделеющего или иначе — не выстраивая «генеалогию». Под этим я подразумеваю не построение истории следующих друг за другом концепций желания, вожделения или либидо, но анализ практик, посредством которых индивиды научаются обращать внимание на самих себя, истолковывать, узнавать и признавать в себе вожделеющих субъектов, приводя тем самым в действие внутри себя особое отношение, позволяющее им обнаруживать в желании истину их собственного бытия, будь то в естественном или же искаженном виде. Короче говоря, идея этой генеалогии заключается в том, чтобы понять, что заставляет индивидов браться за истолкование своих и чужих желаний при том, что поводом для построения такой герменевтики, хотя и не единственной ее областью, оказывается их сексуальное поведение. Словом, для того, чтобы понять, как современный индивид мог стать субъектом опыта «сексуальности», необходимо было прежде всего выяснить, что же собственно веками заставляло человека западной культуры признавать себя вожделеющим субъектом.

Для анализа того, что часто называют прогрессом познания, потребовался сдвиг в теории; этот сдвиг и привел к вопросу о формах дискурсивных практик, расчленяющих знание. Сдвиг в теории потребовался также и для того, чтобы проанализировать так называемые проявления «власти»: это в свою очередь привело меня к исследованию многообразных отношений, открытых стратегий и рациональных приемов, посредством которых расчленяется власть. В итоге для исследования того, что называют «субъектом», потребовался третий сдвиг — то есть анализ тех форм и способов самоотнесенности, посредством которых индивид строит и признает в себе субъекта. Теперь, после исследования игр истины в их взаимодействии друг с другом (см., например, некоторые эмпирические науки XVII и XVIII веков), а затем игр истины в связи с отношениями власти, например, практиками наказания, возникает необходимость другой работы — исследования игр истины, возникающих при соотнесении Я с самим собой, при построении собственной субъективности: предметной областью и полем исследования в данном случае становится то, что можно было бы назвать «историей человека вожделеющего».

Очевидно, что построение такой генеалогии должно было увести меня в сторону от первоначальных замыслов. Мне пришлось выбирать: сохранить ли старый план, попутно исследуя

и историю темы желания, или же перестроить все исследование, сосредоточившись на неспешном формировании в античности герменевтики субъекта. Я выбрал второй путь, поскольку все эти годы считал (или стремился считать) важным и необходимым поиск тех немногих элементов, которые могли бы сослужить свою службу для истории истины — не истории того, что могло бы быть истинным в познаниях, но анализа «игр истины» — игр истины и лжи, посредством которых бытие исторически строится как опыт, то есть как то, что может и должно быть помыслено. Посредством каких игр истины человеческое существо признает в себе вожделеющего субъекта? Мне казалось, что, так поставив вопрос и попытавшись исследовать его поодаль от моих привычных горизонтов, я нарушу прежний план, но подойду ближе к проблеме, которую уже давно пытался поставить. Конечно, такой подход не мог не потребовать у меня еще нескольких лет работы: устремляясь по столь длинному пути, я много раз рисковал, но, думаю, не зря — такое исследование должно было принести мне теоретическую пользу...

Меня побуждал очень простой и для многих, надеюсь, вполне понятный стимул. Это любопытство — точнее, тот единственный вид любопытства, которому стоит потворствовать: оно не стремится уподобиться тому, о познании чего заранее условлено, но позволяет оторваться от самого себя. Чего стоит упорство в познании, если оно направлено лишь на приобретение знаний, а не на самообретение — в той или иной форме и степени — познающего субъекта? В жизни бывают моменты, когда вопрос о том, можно ли мыслить иначе — не так, как ты мыслишь, воспринимать мир иначе — не так, как ты воспринимаешь, становится жизненно важен, необходим для того, чтобы вообще продолжать видеть и мыслить. Наверное, мне скажут, что этим играм с самим собой лучше оставаться на заднем плане, что они могут быть в лучшем случае частью подготовительной работы, которая стирается при достижении конечного результата. Что же тогда такое современная философия, я бы сказал философская деятельность, если не критическая работа мысли над самой собой? если не попытка понять (а вовсе не обоснование уже сказанного), как и до какого предела возможно мыслить иначе? Для философии всегда унизительно стремление извне давать законы другим, растолковывать им, в чем их истина и как ее найти, упрекать их за наивно-позитивный путь развития; однако ее право — исследовать, что же в ней самой можно изменить, упражняясь

в познании того, что ей чуждо. «Опыт», то есть испытание и изменение самого себя в игре истины (а не упрощающее присвоение другого с коммуникативными целями) — такова живая плоть философии, по крайней мере, в том случае, если она продолжает быть тем, чем была раньше — «аскезой», самоупражнением мысли.

Эта книга, как и то, что я написал раньше, есть исследование «истории» через те области и те предметы, о которых в ней идет речь, но это не работа «историка». Все это не значит, что здесь лишь подводится краткий итог тому, что сделано другими: с прагматической точки зрения, эти исследования представляют собой нечто вроде протокола упражнения мысли — долгого, несмелого, часто нуждавшегося в самопроверке и исправлениях. Это философское упражнение: его ставка — знание того, в какой мере трудное усилие мыслить собственную историю способно оторвать мысль от того, о чем она втайне мыслит, и позволить ей мыслить иначе.

Стоило ли мне, однако, так рисковать? На этот вопрос отвечать не мне. Я знаю лишь, что такой сдвиг темы и хронологических рамок исследования полезен в теоретическом смысле: благодаря ему я смог сделать два обобщения, которые позволили мне и раздвинуть горизонт моего исследования, и уточнить его метод и объект.

Восходя от современной эпохи через христианство к античности, нельзя было, как мне кажется, не задаться вопросом — и простым, и весьма обобщенным: почему сексуальное поведение и связанные с ним деятельность и наслаждения становятся объектом моральных размышлений? Откуда эта этическая озабоченность, которая, по крайней мере в отдельные периоды, в отдельных обществах или группах, заставляет считать сексуальность более заслуживающей морального внимания, нежели другие столь существенные области индивидуальной или же социальной жизни как питание или выполнение гражданского долга? Я знаю ответ, который обычно сразу приходит на ум: дело, как полагают, в том, что сексуальное поведение становится объектом важнейших запретов, нарушение которых рассматривается как серьезный проступок. Но ведь это значит подменить решение нерешенной проблемой, а кроме того не заметить, что этическая озабоченность по поводу сексуального поведения, его интенсивности, его форм, не всегда прямо связана с системой запретов: часто бывает, что моральная озабоченность сильна именно там, где нет ни запретов, ни долженствований. Короче, запрет — это одно, а моральная про-

блематизация — нечто иное. Мне часто казалось, что вопрос, который должен был бы служить путеводной нитью, таков: как, почему и в каких формах сексуальная деятельность строится в качестве области морали? Откуда эта этическая озабоченность — столь настойчивая, постоянная в упорстве, хотя различная по формам и силе? Откуда эта «проблематизация»? В конце концов, все это — задача для истории мысли (в противоположность истории поведения или представлений): она должна определить условия, в которых человеческое существо «проблематизирует» самого себя, свои поступки, окружающий мир.

Однако, задаваясь столь общим вопросом применительно к греческой и греко-римской культуре, я подумал, что подобная проблематизация связана с совокупностью практик, которые, конечно, были очень важными для наших обществ, — их можно было бы назвать «искусствами существования». Под этим следует понимать осознанные или же спонтанные практики, посредством которых люди не только закрепляют те или иные правила поведения, но и стремятся перестроить самих себя, изменить свое собственное индивидуальное бытие, превратить свою жизнь в произведение, обладающее определенными эстетическими ценностями и отвечающее определенным критериям стиля. Конечно, теперь эти «искусства существования», эти «само-техники», отчасти потеряли свое самостоятельное значение, поскольку в христианстве они стали составной частью пасторской власти, а позже вошли в педагогическую, медицинскую или психологическую практику. Из всего этого тем не менее не следует, что мы должны заново строить или осмысливать долгую историю этих эстетик существования и самотехнологий. Много времени прошло с тех пор, как Буркхарт подчеркнул их значение для эпохи Возрождения, однако на этом их жизнь, их история и развитие не заканчиваются[1].

Во всяком случае мне казалось, что исследование проблематизации сексуального поведения в античности могло бы стать главой (одной из глав) в этой общей истории «само-техник».

---

[1] Неправомерно считать, что после Буркхарта исследование этих искусств и этой эстетики существования полностью прекратилось. Напомним об исследовании Бодлера Беньямином. Интересный анализ мы находим и в недавно вышедшей книге С.Гринблата «Возрожденческое самоформирование» (1980).

Однако, словно в насмешку, усилия, направленные на то, чтобы видеть иначе и познавать в другом горизонте, заставляют отойти в сторону. Привели ли они на самом деле к тому, чтобы мыслить иначе? Или, быть может, они лишь дают нам возможность иначе мыслить то, что уже как-то мыслилось, увидеть то, на что уже обращали внимание, под другим углом зрения и в более ясном свете? Думая, что смотрим со стороны, мы словно карабкались по отвесной стене, возвышаясь над самими собой. Такое путешествие обновляет взгляд на вещи и заставляет более умудренно отнестись к самому себе. Сейчас, как мне кажется, я лучше понимаю, каким образом — непреднамеренно и постепенно — я оказался вовлечен в эту историю истины: в анализ не поведения или идей, не обществ или их «идеологий», но именно способов проблематизации, в которых бытие дается самому себе как то, что может и должно быть помыслено, а также практик, в которых формируются эти проблематизации. При этом археологическое измерение анализа позволяет исследовать форма проблематизации, а генеалогическое измерение — сам процесс формирования проблем на основе различных практик и их изменений. Так, проблематизация безумия и болезни на основе социальных и медицинских практик определяет критерии «нормализации»; проблематизация жизни, труда, языка в дискурсивных практиках подчиняется определенным «эпистемическим» правилам; проблематизация преступления и преступного поведения на основе практик наказания регулируется «дисциплинарной» моделью. А теперь мне хотелось бы показать, как в античности сексуальная деятельность и наслаждения были проблематизированы на основе само-практик, вводящих в действие критерии «эстетики существования».

Вот причины, которые заставили меня теперь сосредоточиться на исследовании генеалогии человека вожделеющего, начиная с классической античности и до первых веков христианства. Хронологическое распределение материала достаточно просто: первый том, «Пользование наслаждениями», посвящен способу, которым в культуре классической Греции IV века до н.э. философы и врачи проблематизировали сексуальную деятельность; в «Заботе о себе» исследуется эта же проблематизация в греческих и латинских текстах первых веков н.э.; наконец, в «Признаниях плоти» речь пойдет о формировании учения о плоти и пасторского отношения к ней. Используемый мною материал носит большей частью «проскриптивный» ха-

рактер: главная цель этих текстов, независимо от их формы (рассуждение, диалог, трактат, сборник наставлений, письма и пр.) — предложить определенные правила поведения. Я обращаюсь к ним за разъяснением теоретических текстов, содержащих учение о наслаждениях и страстях. Объектом анализа здесь будут тексты, претендующие на то, чтобы давать правила, советы, рекомендации относительно принятого в обществе поведения: эти «практические» тексты одновременно оказываются и объектами «практики», поскольку они сделаны для того, чтобы их читали, понимали, использовали, размышляли над ними, апробировали, поскольку их цель в конечном счете — создание устоев повседневного поведения. Эти тексты должны служить операторами, позволяющими индивидам проблематизировать свое собственное поведение, размышлять, наблюдать, следить за ним, формируя самого себя как этического субъекта; словом, они обладают «это-поэтической» функцией, если воспользоваться термином, который мы находим уже у Плутарха.

Однако, поскольку этот анализ человека вожделеющего находится в точке пересечения археологии проблематизаций и генеалогии само-практик, я и хотел бы остановиться сначала на двух понятиях: обосновать используемое мною понятие «проблематизации», показать, как можно понимать «самопрактики» и объяснить, какие парадоксы и трудности привели меня к замене истории систем морали, построенной на основе запретов, историей этических проблематизаций, возникших на основе само-практик».

Страсть — это царство свободы человека. Запреты и ограничения — узы, которыми общество пытается связать человеческую стихийность, спонтанность. Любовь может предстать как молитвенный экстаз. Но в ней же обнаруживает себя мистическое сладострастие, которое питается не только природой сексуального инстинкта. К вожделению примешиваются и другие психологические состояния, внутри которых человек чувствует себя раскрепощенным, как бы опьяненным туманом алчных влечений.

Герой новеллы австрийского писателя Стефана Цвейга «Амок», — врач из колоний, — теряет способность управлять своими поступками. Рассказывая о своей чувственной лихорадке, о страсти к даме, для которой он был не человеком, мужчиной, а парней, вещью, он сравнивает свое состояние с особым родом опьянения у малайцев. Амок — это бессмысленная, кровожадная мономания. Страсть в ней соединена с безумием.

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Амок

«Я учился в Германии, стал врачом, даже хорошим врачом, и работал при лейпцигской клинике. В медицинских журналах того времени много писали о новом впрыскивании, которое я первый ввел в практику. Тут я влюбился в одну женщину, с которой познакомился в больнице; она довела своего любовника до исступления, и он выстрелил в нее из револьвера; вскоре и я безумствовал не хуже его. Она обращалась со мной высокомерно и холодно, это и сводило меня с ума — властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я... да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже семь лет... Я растратил из-за нее больничные деньги, и когда это выплыло наружу, разыгрался скандал. Правда, мой дядя внес недостающую сумму, но моя карьера погибла. В это время я узнал, что голландское правительство вербует врачей для колоний и предлагает подъемные. Я сразу подумал, что это, верно, не сахар, если предлагают деньги вперед. Я знал, что могильные кресты на этих рассадниках малярии растут втрое быстрее, чем у нас; но когда человек молод, ему всегда кажется, что болезнь и смерть грозят кому угодно, только не ему. Ну, что же, выбора у меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, дяде, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая сумела обобрать меня дочиста только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий покидал я Европу и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как сидите вы, как сидят все, и видел Южный Крест и пальмы. Сердце таяло у меня в груди. Ах, леса, одиночество, тишина! — мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а — впрочем, название не играет никакой роли — на один из глухих постов в восьми часах езды от ближайшего города. Двa-три скучных, иссохших чиновника, несколько полуевропейцев из туземных жителей — это было все мое общество, а, кроме него, вширь и вдаль только лес, плантации, заросли и болота.

Вначале еще было сносно. Я много занимался научными наблюдениями. Однажды, когда опрокинулась машина, в ко-

торой вице-резидент совершал инспекционную поездку, и он сломал себе ногу, я один, без всяких помощников, сделал ему операцию — об этом много тогда говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это оказалось возможным только до тех пор, пока во мне жила привезенная из Европы сила; потом я завял. Европейцы наскучили мне, я перестал с ними общаться, пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего три года, потом я мог выйти на пенсию, вернуться в Европу, сызнова начать жить. Собственно говоря, я уже ровно ничего не делал и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она... если бы не случилось все это...

Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я опять услышал плеск воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленный глухой стук машины. Мне хотелось курить, но я боялся зажечь спичку, боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лице. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли, или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.

Вдруг прозвучал отрывистый, сильный удар колокола: час. Он встрепенулся, и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука ощупью искала виски. Стало слышно, как он глотает, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз он заговорил более напряженно и страстно:

— Да, так вот... постойте... да, вот как это было. Сижу я там, в своей проклятой дыре, сижу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после ливней. Неделю за неделей дождь барабанил по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я дома со своими желтолицыми женщинами и своим шотландским виски. Я тогда очень хандрил, я был просто болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы. Я не могу в точности описать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь: яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине.

Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках, и мечтал о путешествиях. Вдруг раздается тревожный стук в дверь, и я увидел своего боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают, перебивая

друг друга и вытаращив глаза: меня спрашивает какая-то дама, леди, белая женщина.

Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?

Я готов уже сбежать с лестницы, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит дурное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто по дружбе пришел бы ко мне. Наконец я спускаюсь вниз.

В передней ждет дама. Увидев меня, она поспешно направляется мне навстречу. Густая дорожная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.

— Добрый день, доктор, — начинает она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы наперед заученной. — Простите, что я врываюсь к вам. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там. — «Почему она не подъехала к дому?» — молнией промелькнуло у меня в голове. — И вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога отлично зажила, он опять уже играет в гольф. Да, да, у нас все говорят об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчливого военного врача и обоих других впридачу, если бы вы переехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете, точно йог...

И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и неспокойное чувствуется в этой пустой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостьи. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя? Почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все сильнее волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней под неиссякаемым потоком ее болтовни. Наконец она на миг останавливается, и я прошу ее наверх. Она делает своему бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.

— Как у вас мило! — говорит она, осматривая мою комнату. — О, какая прелесть, книги! Я хотела бы их все прочесть! — Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз с тех пор, как я вышел к ней, она на минуту умолкает.

— Разрешите предложить вам чаю? — спрашиваю я.

Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать корешки книг.

— Нет, спасибо, доктор... нам нужно сейчас же ехать дальше... у меня мало времени... это была ведь просто прогулка... Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю... чудесная, удивительная вещь его «Education sentimenntale»[1]... Я вижу, вы читаете и по-французски. Чего только вы не знаете!.. Да, немцы... их всему учат в школе... Право, удивительно — знать столько языков!.. Вице-резидент бредит вами и всегда говорит, что вы единственный хирург, к кому он лег бы под нож... Наш старый доктор годится только для игры в бридж... Кстати, знаете ли (она все еще говорит, не оборачиваясь), сегодня мне самой пришло в голову, что хорошо было бы посоветоваться с вами... а мы как раз проезжали мимо, я и подумала... Ну, вы сегодня, может быть, заняты... я лучше заеду в другой раз.

«Наконец-то ты раскрыла карты!» — сейчас же подумал я. Но я и виду не подал и заверил ее, что сочту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.

— У меня ничего серьезного, — сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую с полки, — ничего серьезного, пустяки... женские неполадки, головокружение, обмороки. Сегодня утром, во время езды, на повороте мне вдруг стало дурно, я упала без чувств... бой должен был поднять меня и принести воды... Ну, может быть, шофер слишком быстро ехал... как вы думаете, доктор?

— Так трудно сказать. У вас часто бывают подобные обмороки?

— Нет... то есть да... в последнее время... именно в самое последнее время... да... обмороки и тошнота.

Она уже опять повернулась к книжному шкафу, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает... так нервно, почему не подымает глаз из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает тоном легкой болтовни:

— Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь?

— Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс...

Я направляюсь к ней, но она слегка отстраняется.

— Нет, нет, у меня нет жара... безусловно, безусловно нет... я измеряю температуру каждый день, с тех пор... с тех пор, как

[1] «Воспитание чувств» *(франц.)*.

начались эти обмороки. Жара нет, всегда тридцать шесть и четыре. И желудок в порядке.

Я медлю. Во мне все растет подозрение: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую. — Простите, — говорю я затем, — разрешите мне задать вам несколько вопросов?

— Конечно, вы ведь врач! — отвечает она, но тут же опять поворачивается ко мне спиной и начинает перебирать книги.

— У вас есть дети?

— Да, сын.

— А было ли у вас... было ли у вас раньше... я хочу сказать — тогда... были ли у вас подобные явления?

— Да.

Ее голос стал теперь совсем другим, отчетливым, без всякого жеманства и нервозности.

— А возможно ли, чтобы вы... простите за вопрос... возможно ли, чтобы сейчас была та же причина?

— Да.

Резко, словно острым ножом, отрезала она это. Ничто не дрогнуло в ее лице, которое я видел в профиль.

— Лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас... вы разрешите попросить вас... перейти в другую комнату?

Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.

— Нет... в этом нет надобности... я вполне уверена в причине моего недомогания.

Голос на мгновение умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан.

— Итак, слушайте... но сначала постарайтесь вдуматься во все это: к человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты... И вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Я весь похолодел: мной овладел страх перед железной решимостью этой женщины, начавшей с беспечной болтовни, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший клинок. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу — не в первый раз женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. А тут была... тут была железная, чисто мужская решимость... с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня... что она может подчинить ме-

ня своей воле... Однако... однако... во мне поднималась какая-то злоба... гордость мужчины, обида, потому что... я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага.

Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо, требовательно и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал. Я заговорил, но... уклончиво... невольно переняв ее болтливый, равнодушный тон. Я притворялся, что не понял ее, потому что — не знаю, можете ли вы понять это — я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот... хотел, чтобы она попросила... именно она, явившаяся с таким повелительным видом... И, кроме того, я знал, какую власть надо мной имеют такие высокомерные, холодные женщины.

Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки в порядке вещей, более того, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из медицинских журналов... Я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и... все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.

И, действительно, она резким движением прервала меня, словно отметая все эти успокоительные разговоры.

— Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я носила первого ребенка, мое здоровье было в лучшем состоянии... но теперь я уж не та... у меня бывают сердечные припадки...

— Вот как, сердечные припадки? — повторил я, изображая на лице беспокойство. — Сейчас послушаем! — Я сделал вид, что встаю, чтобы достать трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь резко и повелительно, как команда.

— У меня бывают припадки, доктор, и я попрошу вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования — вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие к вам.

Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.

— Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я ведь врач. И первым делом снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.

Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту медлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо — такое, какое боялся увидеть: непроницаемое, свидетельствующее о твердом, решительном характере, отмеченное не зависящей от возраста красотою, с серыми глазами, какие часто бывают у англичанок, — очень спокойные, но скрывающие затаенный огонь. Эти тонкие сжатые губы умели хранить тайну. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взгляд.

Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала:

— Знаете вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?

— Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния... хотите, чтобы я избавил вас от обмороков и тошноты, устранив... устранив причину. В этом все дело?

— Да.

Как нож гильотины, упало это слово.

— А вы знаете, что подобные эксперименты опасны... для обеих сторон?

— Да.

— Что закон запрещает их?

— Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.

— Но это требует заключение врача.

— Так вы дайте это заключение. Вы — врач.

Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, малодушный человек, дрожал, пораженный демонической силой ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», — нашептывало мне какое-то смутное вожделение.

— Это не всегда во власти врача. Но я готов... посоветоваться с коллегой в больнице...

— Не надо мне вашего коллеги... я пришла к вам.

— Позвольте узнать, почему именно ко мне?

Она холодно взглянула на меня.

— Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач и вы... — она в первый раз запнулась, — вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если... если вы сможете увезти домой значительную сумму.

Меня так и обдало холодом. Эта сухая, чисто коммерческая расчетливость ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не

раскрылись для просьбы, но она давно уже все вычислила и сначала выследила меня, как дичь, а потом начала травлю. Я чувствовал, как проникает в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.

— И эту значительную сумму вы... вы предоставили бы в мое распоряжение?

— За вашу помощь и немедленный отъезд.

— Вы знаете, что я, таким образом, теряю право на пенсию?

— Я возмещу вам ее.

— Вы говорите очень ясно... Но я хотел бы еще большей ясности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?

— Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.

Я задрожал... задрожал от гнева и... от восхищения. Все она рассчитала — и сумму и способ платежа, принуждавший меня к отъезду, она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной, уверенная в своей власти. Мне хотелось ударить ее по лицу... Но когда я поднялся (она тоже встала) и посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела... овладела... какая-то жажда мести, насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека; ни она, ни я уже не скрывали своей ненависти. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то... за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз заговорили вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, впилась в меня мысль, и я сказал... сказал ей...

Но постойте, так вам не понять, что я сделал... что сказал... мне нужно сначала объяснить вам, как... как зародилась во мне эта безумная мысль...

Опять тихонько звякнул во тьме стакан. И голос продолжал с еще большим волнением:

— Не думайте, что я хочу умалять свою вину, оправдываться, обелять себя... Но вы без этого не поймете... Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком... но, кажется, помогал я всегда охотно... А там в моей собачьей жизни это была ведь единственная радость: пользуясь горсточкой знаний, вколо-

ченных в мозг, сохранить жизнь живому существу... Я чувствовал себя тогда господом богом... Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, с змеиным укусом на вспухшей ноге, слезно умоляя, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я ездил в самые отдаленные места, чтобы помочь лежавшей в лихорадке женщине; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница, — еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому помогающему, — сознание, что ты нужен другому.

Но эта женщина — не знаю, сумею ли я объяснить вам, — она волновала, раздражала меня с той минуты, как вошла, словно мимоходом, в мой дом. Своим высокомерием она вызывала меня на сопротивление, будила во мне все... как бы это сказать... будила все подавленное, все скрытое, все злое. Меня сводило с ума, что она разыгрывает передо мной леди и с холодным равнодушием предлагает мне сделку, когда речь идет о жизни и смерти. И потом... потом... в конце концов от игры в гольф не родятся дети... я знал... то есть я вдруг с ужасающей ясностью подумал — это и была та мысль, — с ужасающей ясностью подумал о том, что эта спокойная, эта неприступная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда прочла в моем взгляде отказ... почти негодование, — что она два-три месяца назад лежала в постели с мужчиной, и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как уста в поцелуе... Вот это, вот это и была пронзившая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой надменной холодностью, словно английский офицер... И тогда, тогда у меня помутилось в голове... я обезумел от желания унизить ее... С этого мгновения я видел сквозь платье ее голое тело... с этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестоких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в угаре страсти, как тот, другой, которого я не знал. Это... это я и хотел вам объяснить... Как я ни опустился, я никогда еще не злоупотреблял своим положением врача... но здесь не было влечения, не было ничего сексуального, поверьте мне... я ведь не стал бы отпираться... только страстное желание победить ее гордость... победить как мужчина... Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, по виду холодные женщины всегда имели надо мной особую власть... но теперь к этому прибавля-

лось еще то, что я уже семь лет не знал белой женщины, что я не встречал сопротивления... Здешние женщины, эти щебечущие милые создания, с благоговейным трепетом отдаются белому человеку, «господину»... Они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы угождать вам с тихим гортанным смехом... Но именно из-за этой покорности, из-за этой рабской угодливости чувствуешь себя свиньей... Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, наглухо замкнутой и в то же время дразнящей своей тайной и напоминанием о недавней страсти... когда она дерзко вошла в клетку такого мужчины, как я, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полузверя... Это... вот это я хотел вам сказать, чтобы вы поняли все остальное... поняли то, что произошло потом. Итак... полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я внутренне весь подобрался и разыграл равнодушие. Я холодно произнес:

— Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, на это я не согласен.

Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Все же она спросила:

— Сколько же вы хотите?

Но я не желал продолжать разговор в притворно равнодушном тоне.

— Будем играть в открытую. Я не делец... не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за corrupted gold[1], может быть, я меньше всего делец... этим путем вы своего не добьетесь.

— Так вы не желаете?

— За деньги — нет.

На миг между нами воцарилось молчание. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание.

— Чего же вы еще можете хотеть?

Тут меня прорвало:

— Прежде всего я хочу, чтобы вы... чтобы вы не обращались ко мне, как к торгашу, а как к человеку... Чтобы вы, если вам нужна помощь, не... совали сразу же ваши гнусные деньги... а попросили... попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку... Я не только врач, у меня не только приемные

[1] Презренное золото *(англ.)*.

часы... у меня бывают и другие часы... может быть, вы пришли в такой час...

Она минуту молчит. Потом ее губы слегка кривятся, дрожат, и она быстро произносит:

— Значит, если бы я вас попросила... тогда вы бы это сделали?

— Вот вы уже опять торгуетесь! Вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю! Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.

Она вскидывает голову, как норовистый конь. С гневом смотрит на меня.

— Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть!

Тут мною овладел гнев, неистовый, безумный гнев.

— Тогда требую я, раз вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее — вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда... тогда я вам помогу.

Она с изумлением посмотрела на меня. Потом — о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, — на миг ее лицо словно окаменело, а потом... потом она вдруг расхохоталась... с неописуемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо... с презрением, которое уничтожило меня... и в то же время еще больше опьянило... Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный... Такая огромная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я... да, я готов был пасть перед ней ниц и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение... словно молния огнем опалила меня... Вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.

Я невольно бросился за ней... хотел объяснить ей... умолять ее о прощении... моя сила была ведь окончательно сломлена... но она еще раз оглянулась и проговорила... нет, приказала:

— Посмейте только идти за мной или выслеживать меня... Пожалеете!

В тот же миг за ней захлопнулась дверь.

Снова пауза. Снова молчание... Снова неумолчный шелест, словно от струящегося лунного света. И наконец опять его голос:

— Хлопнула дверь... но я стоял, не двигаясь с места... Я был словно загипнотизирован ее приказом... я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь... я слышал все и всем существом рвался к ней... чтобы ее... я не знаю, что... чтобы вернуть ее, или ударить, или задушить... но только

бежать за ней... за ней... Но я не мог это сделать, не мог шевельнуться, словно меня парализовало электрическим током... я был поражен, поражен в самое сердце убийственной молнией ее взора... Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать... Это может показаться смешным, но я все стоял и стоял... Прошло несколько минут, может быть, пять, может быть, десять, прежде чем я смог оторвать ногу от земли...

Но как только я сделал шаг, я уже весь горел и готов был бежать... Вмиг слетел я с лестницы... Она ведь могла пойти только к станции... Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы, и вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку... я должен... я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль... я должен поговорить с ней...

Я мчусь по пыльной улице... теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении... Но вот... на повороте к лесу, перед самой станцией, я вижу ее, она идет торопливым твердым шагом в сопровождении боя... Но и она, очевидно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна... Что она задумала? Почему хочет быть одна? Может быть, она хочет поговорить со мной наедине, чтобы он не слышал?.. Яростно нажимаю на педали... Вдруг что-то кидается мне наперерез... ее бой... я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю...

Поднимаюсь с бранью... невольно заношу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он увертывается... Встряхиваю велосипед, собираясь снова вскочить на него... Но подлец опять тут как тут, хватается за велосипед и говорит на ломаном английском языке: «You remain here»[1].

Вы не жили в тропиках... Вы не знаете, какая это дерзость, когда туземец хватается за велосипед белого «господина» и ему, «господину», приказывает оставаться на месте. В ответ на это я бью его по лицу... он шатается, но все-таки не выпускает велосипеда... Его узкие глаза широко раскрыты и полны страха... но он держит руль, держит его дьявольски крепко... «You remain here», - бормочет он еще раз.

К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы наглеца.

— Прочь, каналья! — прорычал я.

Он глядит на меня, весь съежившись, но не отпускает руля. Я снова бью его по голове, он все еще не отпускает. Тогда я

---

[1]Вы останетесь здесь *(англ.)*.

прихожу в ярость... я вижу, что ее уже нет, может быть, она уже уехала... Я закатываю ему настоящий боксерский удар под подбородок, сшибающий его с ног... Теперь велосипед опять в моем распоряжении... Вскакиваю в седло, но машина не идет... во время борьбы погнулась спица... Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее... ничего не выходит... Тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодяем, тот встает весь в крови и отходит в сторону... И тогда — нет, вы не можете понять, какой это позор там, если европеец... но я уже не понимал, что делаю... у меня была только одна мысль: за ней, догнать ее... и я побежал, побежал, как сумасшедший, по деревенской улице, мимо лачуг, где туземцы в изумлении теснились у дверей, чтобы посмотреть, как бежит белый человек, как бежит доктор.

Обливаясь потом, примчался я к станции... Мой первый вопрос был: — Где автомобиль?..— Только что уехал...— С удивлением смотрели на меня люди — я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал весь в поту и грязи, еще издали выкрикивая свой вопрос. На дороге за станцией я вижу клубящийся вдали белый дымок автомобиля... Ей удалось уехать... удалось, как должны удаваться все ее твердые, жестокие намерения...

Но бегство ей не помогло... В тропиках нет тайн между европейцами... все знают друг друга, всякая мелочь вырастает в событие... Не напрасно простоял ее шофер целый час перед правительственным бунгало... через несколько минут я уже знаю все... Знаю, кто она... что живет она в... ну, в главном городе района, в восьми часах езды отсюда по железной дороге... что она... ну, скажем, жена крупного коммерсанта, страшно богата, из хорошей семьи, англичанка... Знаю, что ее муж пробыл пять месяцев в Америке и в ближайшие дни... должен приехать, чтобы увезти ее в Европу...

А она — и эта мысль, как яд, жжет меня, — она беременна не больше двух или трех месяцев...

— До сих пор я еще мог все объяснить вам... может быть, только потому, что до этой минуты сам еще понимал себя... сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка... я потерял способность управлять своими поступками... то есть я ясно сознавал, как бессмысленно все, что я делаю, но я уже не имел власти над собой... я уже не понимал самого себя... я как одержимый бежал вперед, видя перед собой только одну цель... Впрочем, подождите... я

все же постараюсь объяснить вам... Знаете вы, что такое «амок»?

— Амок?.. Что-то припоминаю... Это род опьянения... у малайцев...

— Это больше, чем опьянение... это бешенство, напоминающее собачье... припадок бессмысленной, кровожадной мономании, которую нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления... Во время своего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев — когда речь идет о других, мы всегда ведь очень рассудительны и деловиты! — но мне так и не удалось выяснить причину этой ужасной и загадочной болезни... Это, вероятно, как-то связано с климатом, с этой душной, насыщенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервную систему, пока, наконец, она не взрывается... О чем я говорил? Об амоке? Да, амок — вот как это бывает: какой-нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою настойку... сидит, отупевший, равнодушный, вялый... как я сидел у себя в комнате... и вдруг вскакивает, хватает нож, бросается на улицу... и бежит все вперед и вперед... сам не зная куда... Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим «крисом», и вид крови еще больше разжигает его... Пена выступает у него на губах, он воет, как дикий зверь... и бежит, бежит, бежит, не смотрит ни вправо, ни влево, бежит с истошными воплями, с окровавленным ножом в руке, по своему ужасному, неуклонному пути... Люди в деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком... они кричат, предупреждая других, при его приближении: «Амок! Амок!», — и все обращается в бегство... а он мчится, не слыша, не видя, убивая встречных... пока его не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет на землю...

Я видел это раз из окна своего дома... это было страшное зрелище... но только потому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни... Точно так же, с тем же ужасным, неподвижным взором, с тем же исступлением ринулся я... вслед за этой женщиной... Я не помню, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой это произошло... Через десять минут, нет, что я говорю, через пять, через две... после того как я все узнал об этой женщине, ее имя, адрес, историю её жизни, я уже мчался на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и помчался на железнодорожную станцию... уехал, не предупредив окружного чиновника... не назначив себе заместителя, бросив дом и вещи на произвол судьбы... Вокруг меня столпились слуги, изумленные

женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся... помчался на железную дорогу и первым поездом уехал в город... Прошло не больше часа с того мгновения, как эта женщина вошла в мою комнату, а я уже поставил на карту всю свою будущность и мчался, гонимый амоком, сам не зная зачем...

Я мчался вперед очертя голову... В шесть часов вечера я приехал... в десять минут седьмого я был у нее в доме и велел доложить о себе... Это было... вы понимаете... самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать... но у гонимого амоком незрячие глаза, он не видит, куда бежит... Через несколько минут слуга вернулся... сказал вежливо и холодно... госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять...

Я вышел, шатаясь... Целый час я бродил вокруг дома, в безумной надежде, что она пошлет за мной... лишь после этого я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски... Виски и двойная доза веронала помогли мне... я наконец уснул... и навалившийся на меня тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью.

Прозвучал колокол — два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом, неумолчном журчании воды, которое неотступно сопровождало взволнованный рассказ человека, сидевшего во мраке против меня; мне показалось, что он вздрогнул, речь его оборвалась. Я опять услышал, как рука нащупывает бутылку, услышал тихое бульканье. Потом, видимо, успокоившись, он заговорил более ровным голосом:

— То, что последовало за этим, я едва ли сумею вам описать. Теперь я думаю, что у меня была лихорадка, во всяком случае я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием, — человек, гонимый амоком. Но не забудьте, что я приехал во вторник вечером, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Иокогамы ее муж; следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы спасти ее. Поймите: я знал, что должен оказать ей немедленную помощь, и не мог говорить с ней. Именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей

какой-нибудь знак, потому что именно мое неистовое и нелепое преследование испугало ее. Это было... да, постойте... как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели. Она видела во мне только безумного, который преследует ее, чтобы унизить, а я... в этом и была вся ужасная бессмыслица... я больше и не думал об этом. Я был вконец уничтожен, я хотел только помочь ей, услужить... Я пошел бы на преступление, на убийство, чтобы помочь ей... Но она, она этого не понимала. Утром, как только я проснулся, я сейчас же побежал опять к ее дому: у дверей стоял бой, тот самый бой, которого я ударил по лицу, и заметив меня — несомненно, он меня поджидал, — проворно юркнул в дверь. Быть может, он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе... ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь!.. Быть может, тогда все было уже подготовлено для моего приема... но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, у меня не хватило духа сделать еще одну попытку... У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел... ушел в ту минуту, когда она, может быть, ждала меня и мучилась не меньше моего.

Теперь я уже совсем не знал, что делать в этом чужом городе, где улицы, казалось, жгли мне подошвы... Вдруг у меня блеснула мысль; в тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я оказал помощь, и велел доложить о себе... В моей внешности было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство... может быть, он тогда уже угадал во мне человека, гонимого амоком... Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту... я должен переехать немедленно... Он взглянул на меня... не могу вам передать, как он на меня взглянул... ну, примерно так, как смотрит врач на больного...

— У вас не выдержали нервы, милый доктор, — сказал он, — я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить, подождите только немного... Скажем, недели четыре... мне нужно сначала подыскать вам заместителя.

— Не могу ждать ни единого дня, — ответил я.

Он опять окинул меня странным взглядом.

— Нужно потерпеть, доктор, — серьезно сказал он, — мы не можем оставить пост без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим.

Я стоял перед ним, стиснув зубы, в первый раз ясно ощущая, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже закипало негодование, но он со светской любезностью опередил меня:

— Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут все удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите по крайней мере сегодня вечером, — сегодня прием у губернатора, там будет вся наша колония. Многие давно уже хотят познакомиться с вами, спрашивают о вас и высказывают пожелание, чтобы вы перебрались сюда.

Последние его слова поразили меня. Спрашивают обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть точным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли говорить, что, гонимый нетерпением, я первым явился в огромный зал правительственного здания; безмолвные желтокожие слуги сновали взад и вперед, мягко ступая босыми ногами, и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько одинок, что слышал тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец, пришли два-три чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мною в продолжительную беседу; я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока мной не овладело вдруг какое-то необъяснимое нервное беспокойство. Я потерял самообладание и стал отвечать невпопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к его словам, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор — мне кажется, если бы он не отпустил меня, я все равно, пренебрегая вежливостью, обернулся бы, так сильно было это странное напряжение моих нервов, так мучительна была эта потребность. И действительно, не успел я обернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье с низким вырезом, матово поблескивали, как слоновая кость, ее прекрасные узкие плечи; она разговаривала, окруженная группой гостей. Она улыбалась, но я уловил в ее лице какую-то напряженность. Я подошел ближе — она не видела или не хотела меня видеть — и вгляделся в эту улыбку, любезную и холодно-

вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она... потому что я знал, что это ложь, лицемерие, виртуозное умение притворяться. Сегодня среда, мелькнуло у меня в голове, в субботу приходит пароход, на котором едет ее муж... Как может она так улыбаться, так... так уверенно, так беззаботно улыбаться и небрежно играть веером, вместо того чтобы комкать его от волнения? Я... я, чужой... я уже два дня дрожу в ожидании того часа... я, чужой, мучительно переживаю за нее ее страх, ее отчаяние... а она явилась на бал и улыбается, улыбается...

Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее; она, извинившись перед своими собеседниками, прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу — но только на секунду, потом она вежливо кивнула мне, как случайному знакомому, сказала «добрый вечер, доктор!» — и скрылась, прежде чем я успел решить, поклониться ей или нет.

Никто не мог бы разгадать, что таилось во взгляде этих серо-зеленых глаз, и я, я сам этого не знал. Почему она поклонилась... почему вдруг узнала меня?.. Было ли это самозащитой, или шагом к примирению, или просто замешательством? Не могу вам выразить, в каком я был волнении, во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с невозмутимым и беспечным выражением лица, а ведь я знал, что она... что она, так же, как и я, думает только об одном... только об одном... что только нам двоим в этой толпе известна ужасная тайна... а она танцевала... В эти минуты мои муки, страстное желание спасти ее и восхищение достигли апогея. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением мог выдать то, что так искусно скрывала она, — я не мог заставить себя смотреть в другую сторону, я должен был... да, должен был смотреть на нее, я пожирал ее глазами, издали впивался в ее невозмутимое лицо — не спадет ли маска хотя бы на миг. Она, должно быть, чувствовала на себе этот упорный взгляд. И он тяготил ее. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже знакомая мне складка высокомерного гнева снова прорезала ее лоб...

Но... но... я ведь уже говорил вам... меня гнал амок, я не смотрел ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее — этот взгляд говорил: «Не привлекай внимания! Возьми себя в ру-

ки!» — Я знал, что она... как бы это выразить?.. что она требует от меня сдержанности здесь, в большом зале... я понимал, что, уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею... Она хотела только избавиться от моей назойливости здесь... я знал, что она — и с полным основанием — боится какой-нибудь моей неловкой выходки... Вы видите... я знал все, я понял этот повелительный взгляд, но... но это было свыше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я поплелся к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к ним, хотя знал лишь немногих из них... Я хотел слышать, как она говорит, но каждый раз съеживался, точно побитая собака, под ее взглядом, изредка так холодно скользившим по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой я прислонился, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял столбом, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, на это уже обратили внимание... безусловно... потому что никто не сказал мне ни слова; и она, наверно, страдала от моего нелепого поведения.

Сколько бы я так простоял, не знаю... может быть, целую вечность... я не мог разбить чары, сковывавшие мою волю... Я был словно парализован яростным своим упорством... Но она не выдержала... Со свойственной ей восхитительной непринужденностью она внезапно сказала, обращаясь к окружавшим ее мужчинам:

— Я немного утомлена... хочу сегодня пораньше лечь. Спокойной ночи!

И вот она уже прошла мимо меня, небрежно и холодно кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, гордую, обнаженную спину. Прошла минута, прежде чем я понял, что она уходит... что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение... и так я простоял целую минуту, окаменев на месте, пока не понял этого... а тогда... тогда...

Однако погодите... погодите... Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка... сначала я должен описать вам место действия... Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом... пары ушли танцевать, пожилые мужчины — играть в карты... только по углам беседовали небольшие кучки гостей... Итак, зал был пуст, малейшее движение бросалось в

глаза под ярким светом люстр... и она неторопливой легкой походкой шла по этому просторному залу, изредка отвечая на поклоны. Шла с тем великолепным, высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней... Я... я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован, пока не понял, что она уходит... а когда я это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхода. Тут... о, до сих пор мне стыдно вспоминать об этом!.. тут что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал — вы слышите: я побежал... я не пошел, а побежал за ней, и стук моих каблуков гулко отдавался от стен зала... Я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня... я сгорал со стыда... я уже во время бега сознавал свое безумие... но я не мог... не мог остановиться... Я догнал ее у дверей... Она обернулась... ее глаза серой сталью вонзились в меня, ноздри задрожали от гнева... Я только открыл было рот... как она... вдруг громко рассмеялась... звонким, беззаботным, искренним смехом и сказала... громко, чтобы все слышали:

— Ах, доктор, только теперь вы вспомнили о рецепте для моего мальчика... уж эти ученые!..

Стоявшие вблизи добродушно засмеялись... Я понял, я был поражен — как мастерски спасла она положение!.. Порывшись в бумажнике, я второпях вырвал из блокнота чистый листок... она спокойно взяла его и... ушла... поблагодарив меня холодной улыбкой... В первую секунду я обрадовался... я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение... но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность... ненавидит больше смерти... понял, что могу сотни раз подходить к ее дверям, и она будет отгонять меня, как собаку.

Шатаясь, шел я по залу и чувствовал, что на меня смотрят... у меня был, вероятно, очень странный вид... Я пошел в буфет, выпил подряд две, три... четыре рюмки коньяку... Это спасло меня от обморока... нервы больше не выдерживали, они словно оборвались... Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник... Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха... Я пошел... точно не знаю, куда я пошел... в какие-то кабаки... и напился, напился, как человек, который хочет все забыть... но... но мне не удалось одурманить себя... ее смех отдавался во мне, резкий и злобный... этого проклятого смеха я никак не мог заглушить... Потом я бродил по гавани... револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я боль-

ше ни о чем и не думал и с одной этой мыслью пошел домой... с мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер... с одной этой мыслью.

Если я тогда не застрелился... клянусь вам, это была не трусость... для меня было бы избавлением спустить уже взведенный холодный курок... Но, как бы объяснить это вам... я чувствовал, что на мне еще лежит долг... да, тот самый долг помощи, тот проклятый долг... Меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть ей полезен, что я нужен ей. Было ведь уже утро четверга, а в субботу... я ведь говорил вам... в субботу должен был прийти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина не переживет своего унижения перед мужем и перед светом. О, как мучили меня мысли о безрассудно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь... Часами, клянусь вам, часами ходил я взад и вперед по комнате и ломал голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей... Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно... я всеми своими нервами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ноздрей... Часами, часами метался я по своей тесной комнате... был уже день, время приближалось к полудню...

И вдруг меня толкнуло к столу... я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей... я все написал... я скулил, как побитый пес, я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником... умолял ее довериться мне... Я обещал исчезнуть в тот же час из города, из колонии, умереть, если бы она пожелала... лишь бы она простила мне, и поверила, и позволила помочь ей в этот последний, роковой час... Я исписал двадцать страниц... Вероятно, это было безумное, немыслимое письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту... комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды... Я попытался перечитать письмо, но мне стало страшно первых же слов... дрожащими руками сложил я его и собирался уже сунуть в конверт... и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Жду здесь, в Странд-отеле, вашего прощения. Если до семи часов не получу ответа, я застрелюсь!»

После этого я позвонил бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все!

Возле нас что-то зазвенело и покатилось, — неосторожным движением он опрокинул бутылку. Я слышал, как его рука ша-

рила по палубе и, наконец, схватила пустую бутылку; сильно размахнувшись, он бросил ее в море. Несколько минут он молчал, потом заговорил еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо.

— Я больше не верую ни во что... для меня нет ни неба, ни ада... а если и есть ад, то я его не боюсь — он не может быть ужаснее часов, которые я пережил в то утро, в тот день. Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую полуденным зноем... комнату, где только стол, стул и кровать... На этом столе — ничего, кроме часов и револьвера, а у стола — человек... не сводящий глаз с секундной стрелки... человек, который не ест, не пьет, не курит, не двигается, который все время... слышите, все время, три часа подряд смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку, с тиканьем бегущую по этому кругу... Так... так провел я этот день, только ждал, ждал... но так, как гонимый амоком делает все — бессмысленно, тупо, с безумным, прямолинейным упорством.

Не стану описывать вам эти часы... это не поддается описанию... я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не... не сойдя с ума... И... в двадцать две минуты четвертого... я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы... раздался внезапный стук в дверь... Я вскакиваю... вскакиваю... как тигр, бросающийся на добычу, одним прыжком я у двери, распахиваю ее... в коридоре маленький китайчонок робко протягивает мне записку. Я выхватываю сложенную бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает.

Разворачиваю записку, хочу прочесть... и не могу... перед глазами красные круги... Подумайте об этой муке... наконец, наконец, я получил от нее ответ... а тут буквы прыгают и пляшут... Я окунаю голову в воду... становится лучше... снова берусь за записку и читаю:

«Поздно! Но ждите дома. Может быть, я вас еще позову».

Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого проспекта... слова нацарапаны карандашом, торопливо, кое-как, не обычным почерком... Я сам не знаю, почему эта записка так потрясла меня... Какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике или в экипаже... Каким-то неописуемым страхом и холодом повеяло на меня от этой тайной записки... и все-таки... и все-таки я был счастлив... она написала мне, я не должен был еще умирать, она позволяла мне помочь ей... может быть... я мог бы... о, я сразу исполнился самых несбыточных надежд и мечтаний... Сотни, тысячи раз перечи-

тывал я клочок бумаги, целовал его... рассматривал, в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова... Все смелее, все фантастичнее становились мои грезы, это был какой-то лихорадочный сон наяву... оцепенение, тупое и в то же время напряженное, между дремотой и бодрствованием, длившееся не то четверть часа, не то целые часы...

И вдруг я встрепенулся... Как будто постучали? Я затаил дыхание... минута, две минуты мертвой тишины... А потом опять тихий, словно мышиный шорох, тихий, но настойчивый стук... Я вскочил — голова у меня кружилась, — рванул дверь, за ней стоял бой, ее бой, тот самый, которого я тогда побил... Его смуглое лицо было пепельного цвета, тревожный взгляд говорил о несчастье. Мной овладел ужас...

— Что... что случилось? — с трудом выговорил я.

— Come quicly[1], — ответил он... и больше ничего...

Я бросился вниз по лестнице, он за мной... Внизу стояла «садо», маленькая коляска, мы сели...

— Что случилось? — еще раз спросил я...

Он молча взглянул на меня, весь дрожа, стиснув зубы... Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал... Я охотно еще раз ударил бы его, но... меня трогала его собачья преданность ей... и я не стал больше спрашивать... Колясочка так быстро мчалась по оживленным улицам, что прохожие с бранью отскакивали в сторону. Мы оставили за собой европейский квартал, берегом проехали в нижний город и врезались в шумливую сутолоку китайского квартала... Наконец, мы свернули в узкую уличку, где-то на отлете... остановились перед низкой лачугой... Домишко был грязный, вросший в землю, со стороны улицы — лавчонка, освещенная сальной свечой... одна из тех лавчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденых вещей... Бой поспешно постучался... Дверь приотворилась, из щели послышался сиплый голос... он спрашивал и спрашивал... Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул дверь... Старуха китаянка, испуганно вскрикнув, убежала... Бой вошел вслед за мной, провел меня узким коридором... открыл другую дверь... в темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови... Оттуда слышались стоны... Я ощупью стал пробираться вперед...

Снова голос пресекся. Потом заговорил — но это была уже не речь, а почти рыдание.

---

[1] Идите скорее *(англ.)*.

— Я... я нащупывал дорогу... и там... там, на грязной циновке... корчась от боли... лежало человеческое существо... лежала она...

Я не видел ее лица... Мои глаза еще не привыкли к темноте... ощупью я нашел ее руку... горячую... как огонь... У нее был жар, сильный жар... и я содрогнулся... я сразу понял все... Она бежала сюда от меня... дала искалечить себя... первой попавшейся грязной старухе... только потому, что боялась огласки... дала какой-то ведьме убить себя, лишь бы не довериться мне... Только потому, что я, безумец... не пощадил ее гордости, не помог ей сразу... потому что смерти она боялась меньше, чем меня...

Я крикнул, чтобы дали свет... Бой вскочил, старуха дрожащими руками внесла коптившую керосиновую лампу. Я едва удержался, чтобы не схватить старую каргу за горло... Она поставила лампу на стол... желтый свет упал на истерзанное тело... И вдруг... вдруг с меня точно рукой сняло всю мою одурь и злобу, всю эту нечистую накипь страстей... теперь я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знаниями человек... Я забыл о себе... мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигающимся ужасом... Нагое тело, о котором я грезил с такою страстью, я ощущал теперь только как... ну, как бы это сказать... как материю, как организм... я не чувствовал, что это она, я видел только жизнь, борющуюся со смертью, человека, корчившегося в убийственных муках... Ее кровь, ее горячая священная кровь текла по моим рукам, но я не испытывал ни волнения, ни ужаса... я был только врач... я видел только страдание и видел... и видел, что все погибло, что только чудо может спасти ее... Она была изувечена неумелой, преступной рукой и истекала кровью... а у меня в этом гнусном вертепе не было ничего, чтобы остановить кровь... не было даже чистой воды... Все, до чего я дотрагивался, было покрыто грязью...

— Нужно сейчас же в больницу, — сказал я. Но не успел я это произнести, как больная судорожным усилием воли приподнялась.

— Нет...нет... лучше смерть... чтобы никто не узнал... никто не узнал... Домой... домой!

Я понял: только за свою тайну, за свою честь боролась она... не за жизнь... И я повиновался. Бой принес носилки... мы уложили ее... обессиленную, в лихорадке... и словно труп понесли сквозь ночную тьму домой. Отстранили недоумевающих, испуганных слуг... как воры проникли в ее комнату... заперли две-

ри... А потом... потом началась борьба, долгая борьба со смертью...

Внезапно в мое плечо судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Его лицо вдруг приблизилось к моему; и я увидел белые оскаленные зубы и стекла очков, мерцавшие в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. И он уже не говорил — он кричал в пароксизме гнева:

— Знаете ли вы, вы, чужой человек, спокойно сидящий здесь в удобном кресле, совершающий прогулку по свету, знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Бывали вы когда-нибудь при этом, видели вы, как корчится тело, как посиневшие ногти впиваются в пустоту, как хрипит гортань, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком, как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось вам переживать это, вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждающему о долге оказывать помощь? Я часто видел все это, наблюдал как врач... Это были для меня клинические случаи, некая данность... я, так сказать, изучал это, но пережил только один раз... Я вместе с умирающей переживал это и умирал вместе с нею в ту ночь... в ту ужасную ночь, когда я сидел у ее постели и терзал свой мозг, пытаясь найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей эту женщину на моих глазах... против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать. Понимаете ли вы, что это значит — быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы столь основательно заметили, и все-таки сидеть без всякой пользы возле умирающей, знать и быть бессильным... знать только одно, только ужасную истину, что помочь нельзя... нельзя, хотя бы даже вскрыв себе все вены... Видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью, считать пульс, учащенный и прерывистый... затухающий у тебя под пальцами... быть врачом и не знать ничего, ничего... только сидеть и то бормотать молитву, как дряхлая старушонка, то грозить кулаком жалкому богу, о котором ведь знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете?.. Я... я только... одного не понимаю, как... как можно не умереть в такие минуты... как можно, поспав, проснуться на другое утро и чистить зубы, завязывать галстук... как можно жить после того, что я пережил... чувствуя, что это живое дыхание, что этот первый и единственный чело-

век, за которого я так боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня куда-то в неведомое, ускользает все быстрее с каждой минутой и я ничего не нахожу в своем воспаленном мозгу, что могло бы удержать этого человека...

И к тому же еще, чтобы удвоить мои муки, еще вот это... Когда я сидел у ее постели — я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит с пылающими щеками, горячая и истомленная, — да... когда я так сидел, я все время чувствовал за собой глаза, устремленные на меня с неистовым напряжением... Это бой сидел там на корточках, на полу, и шептал какие-то молитвы... Когда наши взгляды встречались, я читал в его глазах... нет, я не могу вам описать... читал такую мольбу, такую благодарность, и в эти минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня спасти ее... вы понимаете — ко мне, ко мне простирал он руки, как к богу... ко мне... а я знал, что я бессилен, знал, что все потеряно и что я здесь так же нужен, как ползающий по полу муравей... Ах, этот взгляд, как он меня мучил... Эта фанатическая, слепая вера в мое искусство... Мне хотелось крикнуть на него, ударить его ногой, такую боль причинял он мне... и все же я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней... и тайной... Как притаившийся зверь, сидел он, сжавшись клубком, за моей спиной... Стоило мне сказать слово, как он вскакивал, бесшумно ступая босыми ногами, приносил требуемое и, дрожа, исполненный ожидания, подавал мне просимую вещь, словно в этом была помощь... спасение... Я знаю, он вскрыл бы себе вены, чтобы ей помочь... такова была эта женщина, такую власть имела она над людьми, а я... у меня не было власти спасти каплю ее крови... О эта ночь, эта ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью!

К утру она еще раз очнулась... открыла глаза... теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности... они горели влажным, лихорадочным блеском, и она с недоумением оглядывала комнату. Потом она посмотрела на меня; казалось, она задумалась, стараясь вспомнить что-то, вглядываясь в мое лицо... и вдруг... я увидел... она вспомнила... Какой-то испуг, негодование, что-то... что-то... враждебное, гневное исказило ее черты... она начала двигать руками, словно хотела бежать... прочь, прочь от меня... Я видел, что она думает о том... о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание... она спокойно взглянула на меня, но дышала тяжело... Я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать... опять ее руки пришли в дви-

жение... она хотела приподняться, но была слишком слаба... Я стал ее успокаивать, наклонился над ней... тут она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом... ее губы тихо шевельнулись... это был последний, угасающий звук... Она сказала:

— Никто не узнает?.. Никто?

— Никто, — сказал я со всей силой убеждения, — обещаю вам.

Но в глазах ее все еще было беспокойство... Невнятно, с усилием она пролепетала:

— Поклянитесь мне... никто не узнает... поклянитесь!

Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня неизъяснимым взглядом... нежным, теплым, благодарным... да, поистине, поистине благодарным... она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно... Долго лежала она, обессиленная, с закрытыми глазами. Потом начался ужас... ужас... еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец...

Он долго молчал. Я заметил это только тогда, когда в тишине раздался колокол — один, два, три сильных удара — три часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще полчаса, час, и настанет день, и весь этот кошмар исчезнет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени были уже не так густы и черны в нашем углу. Он снял шапочку, и я увидел его голый череп и измученное лицо, показавшееся мне еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня, он выпрямился, и в его голосе зазвучали резкие, язвительные нотки.

— Для нее настал конец — но не для меня. Я был наедине с трупом — один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, а я... я должен был оберегать тайну... Да, вообразите себе мое положение: женщина из высшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на балу у губернатора, лежит мертвая в своей постели... При ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга... никто в доме не видел, когда и откуда он пришел... Ночью внесли ее на носилках и потом заперли дверь... а утром она уже мертва... Тогда лишь зовут слуг, и весь дом вдруг оглашается воплями... В тот же миг об этом узнают соседи, весь город... и только один человек может все это объяснить... это я, чужой человек, врач с отдаленного поста... Приятное положение, не правда ли?

Я знал, что мне предстояло. К счастью, подле меня был бой, надежный слуга, который читал малейшее желание в моих глазах; даже этот полудикарь понимал, что борьба здесь еще не кончена. Мне достаточно было сказать ему: «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза влажным, преданным, но в то же время решительным взглядом: «Yes, sir»[1].

Больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел все в полный порядок — и эта решительность, с какой он действовал, вернула самообладание и мне. Никогда в жизни не проявлял я подобной энергии и уж, конечно, никогда больше не проявлю. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с остервенением — и этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же басню о том, как посланный за врачом бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время как я с притворным спокойствием рассказывал все это, я ждал... ждал решительной минуты... ждал освидетельствования тела, без чего нельзя было заключить в гроб ее — и вместе с ней ее тайну... Не забудьте, был уже четверг, а в субботу должен был приехать ее муж...

В девять часов мне, наконец, доложили о приходе городского врача. Я посылал за ним — он был мой начальник и в то же время соперник, — тот самый врач, о котором она так презрительно отзывалась и которому, очевидно, была уже известна моя просьба о переводе. Я почувствовал это, как только он взглянул на меня, — он был моим врагом. Но именно это и придало мне силы.

Уже в передней он спросил:

— Когда умерла госпожа...? — он назвал ее имя.

— В шесть часов утра.

— Когда она послала за вами?

— В одиннадцать вечера.

— Вы знали, что я ее врач?..

— Да, но медлить было нельзя... и потом... покойная пожелала, чтобы пришел именно я. Она запретила звать другого врача.

Он уставился на меня; краска появилась на его бледном, несколько оплывшем лице, — я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но мне только это и нужно было — я всеми силами стремился к быстрой развязке, зная, что долго мои нервы не

[1] Да, сэр *(англ.)*.

выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал: — Ну что же, если вы считаете, что можете обойтись без меня... но все-таки мой служебный долг — удостоверить смерть и... от чего она наступила.

Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол.

Он удивленно поднял брови: — Что это значит?

Я спокойно стал против него.

— Речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина обратилась ко мне после... после неудачного вмешательства... Я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. И я прошу вас помочь мне.

Он широко раскрыл глаза от изумления. — Вы предлагаете мне, — проговорил он с запинкой, — мне, должностному лицу, покрыть преступление?

— Да, предлагаю, я должен это сделать.

— Чтобы я за ваше преступление...

— Я уже сказал вам, что я не прикасался к этой женщине, а то... а то я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свое прегрешение — если угодно, назовем это так, — и мир ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была запятнана.

Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение. — Вы не потерпите! Так... Ну, вы ведь мой начальник... или по крайней мере собираетесь стать им... Попробуйте только приказывать мне!.. Я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла... Недурной практикой вы тут занялись... недурной образец для начала... Но теперь я приступлю к осмотру, я сам, и вы можете быть уверены, что свидетельство, под которым я поставлю свое имя, будет соответствовать истине. Я не подпишусь под ложью.

Я спокойно ответил ему:

— На этот раз вам придется все-таки это сделать. Иначе вы не выйдете из этой комнаты.

При этом я сунул руку в карман — револьвера при мне не было. Но он вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и в упор посмотрел на него.

— Послушайте, что я вам скажу... чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены... чужая — тоже... я дошел уже до такого предела... Единственное, что я хочу, — это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти... Слушайте: даю вам честное слово — если

вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана... какой-нибудь случайностью, то я через несколько дней покину город, страну... и, если вы этого потребуете, застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю и я буду уверен в том, что никто... вы понимаете, — никто не сможет расследовать дело. Это, я надеюсь, вас удовлетворит.

В моем голосе было, вероятно, что-то угрожающее, какая-то опасность, потому что, когда я невольно сделал шаг к нему, он отскочил с тем же выражением ужаса, с каким... ну, с каким люди спасаются от гонимого амоком, когда он мчится, размахивая крисом... И он сразу стал другим... каким-то пришибленным и робким, от его уверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он пробормотал еще:

— Не было случая в моей жизни, чтобы я подписал ложное свидетельство... но так или иначе что-нибудь придумаем... мало ли что бывает... Однако не мог же я так, сразу...

— Конечно, не могли, — поспешил я поддакнуть ему. — («Только скорее!.. только скорее!..» — стучало у меня в висках), — но теперь, когда вы знаете, что вы только причинили бы боль живому и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться.

Он кивнул. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово (оно было опубликовано затем в газетах и вполне правдоподобно описывало картину паралича сердца). После этого он встал и посмотрел на меня.

— Вы уедете на этой же неделе, не правда ли?

— Даю вам честное слово.

Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым.

— Я сейчас же закажу гроб, — сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но что-то, видимо, было во мне, какое-то безмерное страдание, — он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою. — Желаю вам справиться с этим, — сказал он.

Я не понял, что он имеет в виду. Был ли я болен? Или... сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, сделав над собой последнее усилие, запер за ним. Потом опять у меня застучало в висках, все закачалось и завертелось передо мной, и у самой ее постели я рухнул на пол... как... как падает в изнеможении гонимый амоком в конце своего безумного бега.

Он опять умолк. Меня знобило — оттого ли, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробегал по кораблю?

Но на измученном лице, которое я уже ясно различал во мгле рассвета, снова отразилось усилие воли, и он заговорил опять:

— Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул. Это был бой, с робким и почтительным видом стоявший перед мной и тревожно заглядывавший мне в глаза.

— Сюда хотят войти... хотят видеть ее...

— Не впускать никого!

— Да... но...

В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Его явно что-то мучило.

— Кто это?

Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. Потом сказал — он не назвал имени... откуда берется вдруг в таком первобытном существе столько понимания? Почему в иные мгновения необыкновенную чуткость проявляют совсем темные люди?.. Бой сказал... тихо и боязливо: — Это он.

Я вскочил... я сразу понял, и меня охватило жгучее, нетерпеливое желание увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно... но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы я совершенно забыл о нем... Забыл, что здесь замешан еще один человек — тот, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне... Двенадцатью часами, сутками раньше я ненавидел бы этого человека, мог бы разорвать его на куски... Но теперь... Я не могу, не могу передать вам, как я жаждал увидеть его... полюбить за то, что она его любила.

Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял юный, совсем юный офицер, светловолосый, очень смущенный, очень бледный. Он казался почти ребенком, так... так трогательно молод он был, и невыразимо потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выдержку... скрыть свое волнение. Я сразу заметил, что у него дрожит рука, когда он поднес ее к фуражке... Мне хотелось обнять его... потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной... не соблазнитель, не гордец... Нет, полуребенку, чистому, нежному созданию подарила она себя.

В крайнем смущении стоял передо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Усики над его губой предательски вздрагивали... это юный офицер, этот мальчик едва удерживался, чтобы не расплакаться.

— Простите, — сказал он, наконец, — я хотел бы еще раз... увидеть... госпожу...

Невольно, сам того не замечая, я обнял его, чужого человека, за плечи и повел, как ведут больного. Она посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом... уже в этот миг между нами вспыхнуло сознание какой-то общности. Я подвел его к мертвой... Она лежала, белая на белых простынях... Я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняет его, поэтому я отошел в сторону, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели неверными шагами, волоча ноги... по тому, как дергались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему сердце... он шел... как человек, идущий навстречу чудовищной буре... И вдруг упал на колени перед постелью... так же, как раньше упал я.

Я подскочил к нему, поднял его и усадил в кресло. Он больше не стыдился и заплакал навзрыд. Я не мог произнести ни слова и только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку... с каким-то страхом... и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд.

— Скажите мне правду, доктор, — проговорил он, — она наложила на себя руки?

— Нет, — ответил я.

— А... кто-нибудь... кто-нибудь... виноват в ее смерти?

— Нет, — повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться крик: «Я! Я! Я! И ты! Мы оба! И ее упрямство, ее злосчастное упрямство!» Но я удержался и повторил еще раз:

— Нет...никто не виноват... Судьба!

— Просто не верится, — простонал он, — не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Как это мыслимо, как это могло случиться?

Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я тайны покойной. Все эти дни мы были как два брата, словно озаренные связывавшим нас чувством... Мы не поверяли его друг другу, но оба знали, что вся наша жизнь принадлежала этой женщине... Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы — и он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него... что она хотела, чтобы я убил этого ребенка, его ребенка... и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него... потому что — я забыл вам сказать — меня разыскивали... Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт... он

не хотел верить официальной версии... ходили темные слухи... и он искал меня... Но я не мог решиться на встречу с ним... увидеть его, человека, заставлявшего, как я знал, ее страдать... Я прятался... четыре дня не выходил из дому, четыре дня мы оба не покидали квартиры... Ее возлюбленный купил для меня под чужим именем место на пароходе, чтобы я мог бежать... Словно вор, прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал...

Я бросил там все, что имел... свой дом и работу, на которую потратил семь лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы, а начальство, вероятно, уже уволило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост... Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе... в этом мире, где все напоминало мне о ней... Как вор, бежал я ночью, только чтобы уйти от нее... забыть...

Но... когда я взошел на борт... ночью... в полночь... мой друг был со мной... тогда... тогда... как раз поднимали что-то краном... что-то продолговатое, черное... это был ее гроб... вы слышите: ее гроб!.. Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее... и я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, тоже был тут... он везет тело в Англию... может быть, он хочет произвести там вскрытие... Он овладел ею... теперь она опять принадлежит ему... уже не нам... нам обоим. Но я еще здесь... Я пойду за ней до конца... он не узнает, он не должен узнать... я сумею защитить ее тайну от любого посягательства... от этого негодяя, из-за которого она пошла на смерть... Ничего, ничего ему не узнать... ее тайна принадлежит мне, только мне одному...

Понимаете вы теперь... понимаете... почему я не могу видеть людей... не выношу их смеха... когда они флиртуют и жаждут сближения?.. Потому что там, внизу... внизу, в трюме, между тюками с чаем и кокосовыми орехами, стоит ее гроб... Я не могу пробраться туда, там заперто... но я сознаю, ощущаю это всем своим существом, ощущаю каждую секунду... и тогда, когда здесь играют вальсы или танго... Это ведь глупо, на дне моря лежат миллионы мертвецов; под любой пядью земли, на которую мы ступаем ногой, гниет труп, и все-таки я не могу, не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются. Я чувствую, что она здесь, и знаю, чего она от меня хочет... я знаю, на мне еще лежит долг... еще не конец... ее тайна еще не погребена... Покойная еще не отпустила меня... »

Роман Владимира Набокова «Лолита» долгие годы был известен в нашей стране по самиздатовским рукописям. Трудно было предположить, что его когда-нибудь напечатают, настолько он выламывается из утвердившейся литературной традиции. Все в нем полемично, бросает вызов стойким литературным взглядам и приемам. В самом деле, можно ли развивать тему человеческого соблазна и счастья, рассказывая о греховной связи немолодого мужчины с девочкой? Не лучше ли приискать другой сюжет? Писатель рассказывает об этой любви с таким невозмутимым упоением, что вопрос о порочности как бы не возникает. Удельный вес эротики избыточен даже по сравнению со смелыми художественными новациями.

Однако читатель явно ошибется, если сведет содержание романа к любовно-эротической теме. Речь идет вовсе не о запретной страсти. Об этом в русской литературе писалось. Сатанинское сладострастие призвано в данном сочинении выразить нечто всечеловеческое. Роман дразняще многозначен. Мужчина, идущий к закату жизни, не имеющий, согласно описанию, конкретного национального облика, испытывает неодолимое влечение к юным девочкам. Но менее всего разрабатывается здесь тема совращения. Лолита рождена для любовных утех. Двенадцатилетняя американская школьница по жизненному призванию наделена пылкой чувственностью. Набоковское слово «нимфетка» вошло в современный лексикон, в словари. Она опаляет героя, который любит ее мучительно, но без взаимности, и в конце концов теряет...

За интимно-заповедной сюжетикой в романе проступает гораздо более значительная символика. Эротическая тема — это вообще скорее метафора, нежели стремление проникнуть в природу греховного чувства. Писатель не только вводит нас в мир человеческих страстей, он погружает и в мир экзистенциальных, уникальных переживаний.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Лолита

«5. Дни моей юности, как оглянусь на них, кажутся улетающим от меня бледным вихрем повторных лоскутков, как утренняя мятель употребленных бумажек, видных пассажиру американского экспресса в заднее наблюдательное окно последнего вагона, за которым они вьются. В моих гигиенических сношениях с женщинами я был практичен, насмешлив и быстр. В мои университетские годы в Лондоне и Париже я удовлетворялся платными цыпками. Мои занятия науками были прилежны и пристальны, но не очень плодотворны. Сначала я думал стать психиатром, как многие неудачники; но я был неудачником особенным; меня охватила диковинная усталость (надо пойти к доктору, — такое томление); и я перешел

на изучение английской литературы, которым пробавляется не один поэт-пустоцвет, превратясь в профессора с трубочкой, в пиджаке из добротной шерсти. Париж тридцатых годов пришелся мне впору. Я обсуждал советские фильмы с американскими литераторами. Я сидел с уранистами в кафэ Des Deux Magots. Я печатал извилистые этюды в малочитаемых журналах. Я сочинял пародии — на Элиота, например:

Пускай фрейляйн фон Кульп, еще держась
За скобку двери, обернется... Нет,
Не двинусь ни за нею, ни за Фреской.
Ни за той чайкой...

Одна из моих работ, озаглавленная «Прустовская тема в письме Китса к Бенджамину Бейли» вызвала одобрительные ухмылки у шести-семи ученых, прочитавших ее. Я пустился писать «Краткую историю английской поэзии» для издателя с большим именем, а затем начал составлять тот учебник французской литературы (со сравнительными примерами из литературы английской) для американских и британских читателей, которому предстояло занимать меня в течение сороковых годов, и последний томик которого был почти готов к напечатанию в день моего ареста.

Я нашел службу: преподавал английский язык группе взрослых парижан шестнадцатого округа. Затем в продолжение двух зим был учителем мужской гимназии. Иногда я пользовался знакомствами в среде психиатров и работников по общественному призрению, чтобы с ними посещать разные учреждения, как, например, сиротские приюты и школы для малолетних преступниц, где на бледных, со слипшимися ресницами отроковиц я мог взирать с той полной безнаказанностью, которая нам даруется в сновидениях.

А теперь хочу изложить следующую мысль. В возрастных пределах между девятью и четырнадцатью годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников, вдвое или во много раз старше них, обнаруживают истинную свою сущность — сущность не человеческую, а нимфическую (т. е. демонскую); и этих маленьких избранниц я предлагаю именовать так: нимфетки.

Читатель заметит, что пространственные понятия я заменяю понятиями времени. Более того: мне бы хотелось, чтобы он увидел эти пределы, 9-14, как зримые очертания (зеркалистые отмели, алеющие скалы) очарованного острова, на кото-

ром водятся эти мои нимфетки и который окружен широким туманным океаном. Спрашивается: в этих возрастных пределах все ли девочки — нимфетки? Разумеется, нет. Иначе мы, посвященные, мы, одинокие мореходы, мы, нимфолепты, давно бы сошли с ума. Но и красота тоже не служит критерием, между тем как вульгарность (или то хотя бы, что зовется вульгарностью в той или другой среде) не исключает непременно присутствия тех таинственных черт — той сказочно-странной грации, той неуловимой, переменчивой, душеубийственной, вкрадчивой прелести, — которые отличают нимфетку от сверстниц, несравненно более зависящих от пространственного мира единовременных явлений, чем от невесомого острова завороженного времени, где Лолита играет с ей подобными. Внутри тех же возрастных границ число настоящих нимфеток гораздо меньше числа некрасивых или просто «миленьких», или даже «смазливых», но вполне заурядных, пухленьких, мешковатых, холоднокожих, человечьих по природе своей, девочек, с круглыми животиками, с косичками, таких, которые могут или не могут потом превратиться в красивых, как говорится, женщин (посмотрите-ка на иную гадкую пышечку в черных чулках и белой шляпке, перевоплощающуюся в дивную звезду экрана). Если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую на групповом снимке школьниц или герль-скаутов, он не всегда ткнет в нимфетку. Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте (о, как приходится нам ежиться и хорониться!), дабы узнать сразу, по неизъяснимым приметам — по слегка кошачьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов и еще по другим признакам, перечислить которые мне запрещают отчаяние, стыд, слезы нежности — маленького смертоносного демона в толпе обыкновенных детей: она-то, нимфетка, стоит среди них неузнанная, и сама не чующая своей баснословной власти.

И еще: в виду примата времени в этом колдовском деле, научный работник должен быть готов принять во внимание, что необходима разница в несколько лет (я бы сказал, не менее десяти, но обычно в тридцать или сорок — и до девяноста в немногих известных случаях) между девочкой и мужчиной для того, чтобы тот мог подпасть под чары нимфетки. Тут вопрос приспособления хрусталика, вопрос некоторого расстояния, которое внутренний глаз с приятным волнением превозмогает, и вопрос некоторого контраста, который разум постигает с

судорогой порочной услады. «Когда я был ребенком, и она ребенком была» (всё Эдгаровый перегар), моя Аннабелла не была для меня нимфеткой: я был ей ровня; задним числом я сам был фавненком, на том же очарованном острове времени; но нынче, в сентябре 1952-го года, по истечении двадцати девяти лет, мне думается, что я могу разглядеть в ней исходное роковое наваждение. Мы любили преждевременной любовью, отличавшейся тем неистовством, которое так часто разбивает жизнь зрелых людей. Я был крепкий паренек и выжил; но отрава осталась в ране, и вот я уже мужал в лоне нашей цивилизации, которая позволяет мужчине увлекаться девушкой шестнадцатилетней, но не девочкой двенадцатилетней.

Итак немудрено, что моя взрослая жизнь в Европе была чудовищно двойственна. Вовне я имел так называемые нормальные сношения с земнородными женщинами, у которых груди тыквами или грушами, внутри же я был сжигаем в адской печи сосредоточенной похоти, возбуждаемой во мне каждой встречной нимфеткой, к которой я, будучи законоуважающим трусом, не смел подступиться. Громоздкие человечьи самки, которыми мне дозволялось пользоваться, служили лишь паллиативом. Я готов поверить, что ощущения, мною извлекаемые из естественного соития, равнялись более или менее тем, которые испытывают нормальные большие мужчины, общаясь с нормальными большими женщинами в том рутинном ритме, который сотрясает мир; но беда в том, что этим господам не довелось, как довелось мне, познать проблеск несравненно более пронзительного блаженства. Тусклейший из моих к поллюции ведущих снов был в тысячу раз красочнее прелюбодеяний, которые мужественнейший гений или талантливейший импотент могли бы вообразить. Мой мир был расщеплен. Я чуял присутствие не одного, а двух полов, из коих ни тот ни другой не был моим; оба были женскими для анатома; для меня же, смотревшего сквозь особую призму чувств, «они были столь же различны между собой, как мечта и мачта». Все это я теперь рационализирую, но в двадцать — двадцать пять лет я не так ясно разбирался в своих страданиях. Тело отлично знало, чего оно жаждет, но мой рассудок отклонял каждую его мольбу. Мной овладевали то страх и стыд, то безрассудный оптимизм. Меня душили общественные запреты. Психоаналисты манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды. То, что единственными объектами любовного трепета были для меня сестры Аннабеллы, ее наперсницы и кордебалет, мне казалось подчас предзнаменованием умопо-

мешательства. Иногда же я говорил себе, что все зависит от точки зрения, и что в сущности ничего нет дурного в том, что меня до одури волнуют малолетние девочки. Позволю себе напомнить читателю, что в Англии, с тех пор как был принят закон (в 1933-м году) о Детях и Молодых Особах, термин «герль-чайльд» (т.е. девочка) определяется, как «лицо женского пола, имеющее от роду свыше восьми и меньше четырнадцати лет» (после чего, от четырнадцати до семнадцати, статут определяет это лицо как «молодую особу»). С другой стороны, в Америке, а именно в Массачусетс, термин «уэйуард чайльд» (непутевое дитя) относится технически к девочке между семью и семнадцатью годами, которая «общается с порочными и безнравственными лицами». Хью Броутон, полемический писатель времен Джэмса Первого, доказал, что Рахаб была блудницей в десять лет. Все это крайне интересно, и я допускаю, что вы уже видите, как у меня пенится рот перед припадком — но нет, ничего не пенится, я просто пускаю выщелком разноцветные блошки счастливых мыслей в соответствующую чашечку. Вот еще картинки. Вот Виргилий, который (цитирую старого английского поэта) «нимфетку в тоне пел одном», хотя по всей вероятности предпочитал перитон мальчика. Вот две из еще несозревших дочек короля Ахнатена и его королевы Нефертити, у которых было шесть таких — нильских, бритоголовых, голеньких (ничего кроме множества рядов бус), с мягкими коричневыми щенячьими брюшками, с длинными эбеновыми глазами, спокойно расположившиеся на подушках и совершенно целые после трех тысяч лет. Вот ряд десятилетних невест, которых принуждают сесть на фасциний — кол из слоновой кости в храмах классического образования. Брак и сожительство с детьми встречаются еще довольно часто в некоторых областях Индии. Так, восьмидесятилетние старики-лепчанцы сочетаются с восьмилетними девочками, и кому какое дело. В конце концов Данте безумно влюбился в свою Беатриче, когда минуло только девять лет ей, такой искрящейся, крашеной, прелестной, в пунцовом платье с дорогими каменьями, а было это в 1274-м году, во Флоренции, на частном пиру, в веселом мае месяце. Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок, среди прекрасной равнины, видимой с Воклюзских холмов.

Но давайте будем чопорными и культурными. Гумберт Гумберт усердно старался быть хорошим. Ей Богу, старался.

Он относился крайне бережно к обыкновенным детям, к их чистоте, открытой обидам, и ни при каких обстоятельствах не посягнул бы на невинность ребенка, если была хотя бы отдаленнейшая возможность скандала. Но как билось у бедняги сердце, когда среди невинной детской толпы он замечал ребенка-демона, «enfant charmante et fourbe» — глаза с поволокой, яркие губы, десять лет каторги, коли покажешь ей, что глядишь на нее. Так шла жизнь. Гумберт был вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал. Почкообразная стадия в развитии грудей рано (в 10 7/10 лет) наступает в череде соматических изменений, сопровождающих приближение половой зрелости. А следующий известный нам признак — это первое появление (в 11 2/10 лет) пигментированных волосков. Моя чашечка полным полна блошек.

Кораблекрушение. Коралловый остров. Я один с озябшей дочкой утонувшего пассажира. Душенька, ведь это только игра! Какие чудесные приключения я бывало воображал, сидя на твердой скамье в городском парке и притворяясь погруженным в мреющую книгу. Вокруг мирного эрудита свободно резвились нимфетки, как если бы он был приглядевшейся парковой статуей или частью светотени под старым деревом. Както раз совершенная красотка в шотландской юбочке с грохотом поставила тяжеловооруженную ногу подле меня на скамейку, дабы окунуть в меня свои голые руки и затянуть ремень роликового конька — и я растворился в солнечных пятнах, заменяя книжкой фиговый лист, между тем как ее русые локоны падали ей на поцарапанное колено, и древесная тень, которую я с нею делил, пульсировала и таяла на ее икре, сиявшей так близко от моей хамелеоновой щеки. Другой раз рыжеволосая школьница повисла надо мною в вагоне метро, и оранжевый пушок у нее подмышкой был откровением, оставшимся на много недель у меня в крови. Я бы мог пересказать немало такого рода односторонних миниатюрных романов. Окончание некоторых из них бывало приправлено адовым снадобием. Бывало, например, я замечал с балкона ночью, в освещенном окне через улицу, нимфетку, раздевающуюся перед услужливым зеркалом. В этой обособленности, в этом отдалении, видение приобретало невероятно пряную прелесть, которая заставляла меня, балконного зрителя, нестись во весь опор к своему одинокому утолению. Но с бесовской внезапностью нежный узор наготы, уже принявший от меня дар поклонения, превращался в озаренный лампой отвратительно голый локоть мужчины в исподнем белье, читающего газету у

отворенного окна в жаркой, влажной, безнадежной летней ночи.

Скакание через веревочку. Скакание на одной ноге по размеченной мелом панели. Незабвенная старуха в черном, которая сидела рядом со мной на парковой скамье, на пыточной скамье моего блаженства (нимфетка подо мной старалась нащупать укатившийся стеклянный шарик), и которая спросила меня — наглая ведьма — не болит ли у меня живот. Ах, оставьте меня в моем зацветающем парке, в моем мшистом саду. Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея.

6. Кстати: я часто спрашивал себя, что случалось с ними потом, с этими нимфетками. В нашем чугунно-решетчатом мире причин и следствий, не могло ли содрогание, мною выкраденное у них, отразиться на их будущем? Вот, была моей — и никогда не узнает. Хорошо. Но не скажется ли это впоследствии, не напортил ли я ей как-нибудь в ее дальнейшей судьбе тем, что вовлек ее образ в свое тайное сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений!

Я выяснил, однако, во что они превращаются, эти обаятельные, сумасводящие нимфетки, когда подрастают. Помнится, брел я как то подвечер по оживленной улице, весною, в центре Парижа. Тоненькая девушка небольшого роста прошла мимо меня скорым тропотком на высоких каблучках; мы одновременно оглянулись; она остановилась, и я подошел к ней. Голова ее едва доходила до моей нагрудной шерсти; личико было круглое, с ямочками, какое часто встречается у молодых француженок. Мне понравились ее длинные ресницы и жемчужно-серый tailleur, облегавший ее юное тело, которое еще хранило (вот это-то и было нимфическим эхом, холодком наслаждения, взмывом в чреслах) что-то детское, примешивавшееся к профессиональному frétillement ее маленького ловкого зада. Я осведомился о ее цене, и она немедленно ответила с музыкальной серебряной точностью (птица — сущая птица!) «Cent». Я попробовал поторговаться, но она оценила дикое глухое желание у меня в глазах, устремленных с такой высоты на ее круглый лобик и зачаточную шляпу (букетик да бант): «Tant pis», произнесла она, перемигнув, и сделала вид, что уходит. Я подумал: ведь всего три года тому назад я мог видеть, как она возвращается домой из школы! Эта картина решила дело. Она повела меня вверх по обычной крутой лестнице с обычным сигналом звонка, уведомляющим господина, не желающего

встретить другого господина, что путь свободен или несвободен — унылый путь к гнусной комнатке, состоящей из кровати и биде. Как обычно, она прежде всего потребовала свой petit cadeau, и как обычно, я спросил ее имя (Monigue) и возраст (восемнадцать). Я был отлично знаком с банальными ухватками проституток: ото всех них слышишь это dixhuit — четкое чирикание с ноткой мечтательного обмана, которое они издают, бедняжки, до десяти раз в сутки. Но в данном случае было ясно, что Моника скорее прибавляет, чем убавляет себе годика два. Это я вывел из многих подробностей ее компактного, как бы точеного, и до странности неразвитого тела. Поразительно быстро раздевшись, она постояла с минуту у окна, наполовину завернувшись в мутную кисею занавески, слушая с детским удовольствием (что в книге было бы халтурой) шарманщика, игравшего в уже налитом сумерками дворе. Когда я осмотрел ее ручки и обратил ее внимание на грязные ногти, она проговорила, простодушно нахмурясь, «Oui, ce n'est pas bien» и пошла было к рукомойнику, но я сказал, что это неважно, совершенно неважно. Со своими подстриженными темными волосами, светло-серым взором и бледной кожей она была исключительно очаровательна. Бедра у нее были не шире, чем у присевшего на корточки мальчика. Более того, я без колебания могу утверждать (и вот собственно почему я так благодарно длю это пребывание с маленькой Моникой в кисейно-серой келье воспоминания), что из тех восьмидесяти или девяноста шлюх, которые в разное время по моей просьбе мною занимались, она была единственной, давшей мне укол истинного наслаждения. «Il était malin, celui qui a inventé ce truc-là», любезно заметила она и вернулась в одетое состояние с той же высокого стиля быстротой, с которой из него вышла.

Я спросил, не даст ли она мне еще одно, более основательное, свидание в тот же вечер, и она обещала встретить меня около углового кафе, прибавив, что в течение всей своей маленькой жизни никогда еще никого не надула. Мы возвратились в ту же комнату. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей, какая она хорошенькая, на что она ответила скромно: «Tu es bien gentil de dire ca», а потом, заметив то, что я заметил сам в зеркале, отражавшем наш тесный Эдем, а именно ужасную гримасу нежности, искривившую мне рот, исполнительная Моника (о, она несомненно была в свое время нимфеткой!), захотела узнать, не стереть ли ей, avant gu'on se couche, слой краски с губ на случай, если захочу поцеловать ее. Конечно, захочу. С нею я дал себе волю в большей степени, чем с какой-

либо другой молодой гетерой, и в ту ночь мое последнее впечатление от Моники и ее длинных ресниц отзывает чем-то веселым, чего нет в других воспоминаниях, связанных с моей унизительной, убогой и угрюмой половой жизнью. Вид у нее был необыкновенно довольный, когда я дал ей пятьдесят франков сверх уговора, после чего она засеменила в ночную апрельскую морось с тяжелым Гумбертом валившим следом за ее узкой спиной. Остановившись перед витриной, она произнесла с большим смаком «Je vais m'acheter des bas!» — и не дай мне Бог когда-либо забыть маленький лопающийся звук детских губ этой парижаночки на слове «bas», произнесенном ею так сочно, что «а» чуть не превратилось в краткое бойкое «о».

Следующее наше свидание состоялось на другой день, в два пятнадцать пополудни у меня на квартире, но оно оказалось менее удовлетворительным: за ночь она как бы повзрослела, перешла в старший класс, и к тому же была сильно простужена. Заразившись от нее насморком, я отменил четвертую встречу — да впрочем и рад был прервать рост чувства, угрожавшего обременить меня душераздирающими грезами и вялым разочарованием. Так пускай же она останется гладкой тонкой Моникой — такой, какою она была впродолжение тех двух-трех минут, когда беспризорная нимфетка просвечивала сквозь деловитую молодую проститутку.

Мое недолгое с нею знакомство навело меня на ряд мыслей, которые верно покажутся довольно очевидными читателю, знающему толк в этих делах. По объявлению в непристойном журнальчике я очутился, в один предприимчивый день, в конторе некоей Mlle Edith, которая начала с того, что предложила мне выбрать себе спутницу жизни из собрания довольно формальных фотографий в довольно засаленном альбоме («Regardez-moi cette belle brune?» — уже в подвенечном платье). Когда же я оттолкнул альбом и неловко, с усилием, высказал свою преступную мечту, она посмотрела на меня будто собираясь меня прогнать. Однако, поинтересовавшись, сколько я готов выложить, она соизволила обещать познакомить меня с лицом, которое «могло бы устроить дело». На другой день астматическая женщина, размалеванная, говорливая, пропитанная чесноком, с почти фарсовым провансальским выговором и черными усами над лиловой губой, повела меня в свое собственное, по-видимому, обиталище и там, предварительно наделив звучным лобзанием собранные пучком кончики толстых пальцев дабы подчеркнуть качество своего лакомого как розанчик товара, театрально отпахнула занавеску, за которой

обнаружилась половина, служившая по всем признакам спальней большому и нетребовательному семейству; но на сцене сейчас никого не было, кроме чудовищно упитанной, смуглой, отталкивающе некрасивой девушки, лет по крайней мере пятнадцати, с малиновыми лентами в тяжелых черных косах, которая сидела на стуле и нарочито нянчила лысую куклу. Когда я отрицательно покачал головой и попытался выбраться из ловушки, сводня, учащенно лопоча, начала стягивать грязно-серую фуфайку с бюста молодой великанши, а затем, убедившись в моем решении уйти, потребовала «son argent». Дверь в глубине комнаты отворилась, и двое мужчин, выйдя из кухни, где они обедали, присоединились к спору. Были они какого-то кривого сложения, с голыми шеями, чернявые; один из них был в темных очках. Маленький мальчик и замызганный, колченогий младенец замаячили где-то за ними. С наглой логичностью, присущей кошмарам, разъяренная сводня, указав на мужчину в очках, заявила, что он прежде служил в полиции — так что лучше, мол, раскошелиться. Я подошел к Марии (ибо таково было ее звездное имя), которая к тому времени преспокойно переправила свои грузные ляжки со стула в спальне на табурет за кухонным столом, чтобы там снова приняться за суп, а младенец между тем поднял с полу ему принадлежавшую куклу. В порыве жалости, сообщавшей некий драматизм моему идиотскому жесту, я сунул деньги в ее равнодушную руку. Она сдала мой дар экс-сыщику, и мне было разрешено удалиться.

7. Я не знаю, был ли альбом свахи добавочным звеном в ромашковой гирлянде судьбы — но как бы то ни было, вскоре после этого я решил жениться. Мне пришло в голову, что ровная жизнь, домашний стол, все условности брачного быта, профилактическая однообразность постельной деятельности и — как знать — будущий рост некоторых нравственных ценностей, некоторых чисто духовных эрзацев, могли бы помочь мне — если не отделаться от порочных и опасных позывов, то по крайней мере мирно с ними справляться. Небольшое имущество, доставшееся мне после кончины отца — (ничего особенного — «Мирану» он давно продал) в придачу к моей поразительной, хоть и несколько брутальной, мужской красоте, позволило мне со спокойной уверенностью пуститься на соответствующие поиски. Хорошенько осмотревшись, я остановил свой выбор на дочери польского доктора: добряк лечил меня от

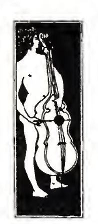
сердечных перебоев и припадков головокружения. Иногда мы с ним играли в шахматы; его дочь смотрела на меня из-за мольберта и мной одолженные ей глаза или костяшки рук вставляла в ту кубистическую чепуху, которую тогдашние образованные барышни писали вместо персиков и овечек. Позволю себе повторить, тихо, но внушительно: я был, и еще остался, не взирая на свои бедствия, исключительным красавцем, со сдержанными движениями, с мягкими темными волосами и как-бы пасмурной, но тем более привлекательной осанкой большого тела. При такой мужественности часто случается, что в удобопоказуемых чертах субъекта отражается что-то хмурое и воспаленное, относящееся до того, что ему приходится скрывать. Так было и со мной. Увы, я отлично знал, что мне стоит только прищелкнуть пальцами, чтобы получить любую взрослую особу, избранную мной; я даже привык оказывать женщинам не слишком много внимания, боясь именно того, что та или другая плюхнется как налитой соком плод ко мне на холодное лоно. Если бы я был что называется «средним французом», охочим до разряженных дам, я легко бы нашел между обезумелыми красавицами, плескавшими в мою угрюмую скалу, существо значительно более пленительное, чем моя Валерия. Но в этом выборе я руководился соображениями, которые по существу сводились — как я слишком поздно понял — к жалкому компромиссу. И все это только показывает, как ужасно глуп был бедный Гумберт в любовных делах».

Цвейг и Набоков не просто раскрывают природу глубокой, всепроникающей и исступленной страсти. Они вплотную подводят нас к теме, которая захватила умы в XIX и XX веке: как выглядит изнанка эроса? Философы, ученые, писатели задумались над тем, не проявляется ли в могучей темной стихии нечто нечеловеческое? Перед читателем возник мир извращенных, мутных, недифференцированных страстей. Третий раздел нашей книги посвящен этим странностям — разрушительному в человеке.





НЕОДОЛИМЫЕ ВОЗГЛАСЫ ПЛОТИ



...И — раскалясь в полете —
В прабогатырских тьмах —
Неодолимые возгласы плоти:
Ох! — Эх! — Ах!

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

В одни прекрасный день известный в Париже маркиз Луи-Альдонс-Донацнан де Сад отправился а Марсель. Здесь его уже ждал лакей, предусмотрительно снявшнй для него апартаменты. Тривиальная любовная история? Ничего подобного. Молодому маркизу нужна была не просто партнерша. В комнате его ждали четыре обнаженных девицы, аид и прихотливость поз которых рождали откровенно содомные страсти. Парижане и раньше знали про обширные гаремы восточных шахов. Но там царили все-таки совсем иные порядки. Владыка искал наслаждения в объятьях одной прельстительницы, которую выбирал на каждую ночь...

Возможно ли утолять сладострастие в обществе четырех соблазнительниц? Оказывается, это не так просто. Страсть иногда угасает, несмотря на все старания, не захватывает маркиза. Как же взбодрить себя? Нежными ласками, лирическим шепотом? Нет... Есть другие, пока мало опробованные средства. И маркиз берется за ременную плеть, на которой укреплены рыболовные крючки, и начинает хлестать свою подругу. Вид ее мучений вызывает у него не сострадание, а острое, жестокое желание. Наслаждение буквально захлестывает маркиза...

А что же его подруги, ставшие жертвой неистовства? Они, еще не ведая толком, что испытанное ими извращенное чувство войдет в историю европейской сексуальности, торопятся в полицию. Сержант записывает их сбивчивые рассказы о плетке, о наглых домогательствах маркиза, не дозволенных даже в борделе, о порошке из шпанских мушек, который стимулирует похоть, и намеревается арестовать Луи-Альдонса-Донацнана де Сада.

Под покровом ночи маркиз бежит из Парижа в Италию. И не один, а с молодой женщиной, с собственной свояченицей, недавно вышедшей из монастыря.

В Париже бушуют ревнители благочестия. Роятся слухи. Кто-то сообщает, что в саду у маркиза обнаружены человеческие кости. Он, оказывается, не

только бичует жертвы, но и выпускает кровь из жил, пока несчастные корчатся в последних конвульсиях. Живую плоть де Сад приправляет особым способом, готовя к трапезе наслаждения. Это у него в замке исчезают дети. Он мучитель и отравитель, коварный соблазнитель и душегуб... Хорошо бы заточить извращенца в темницу, но как его поймать? Срочно изготовлено соломенное чучело, абсолютное подобие маркиза. Собирается толпа. Чучело бросают в огонь. Оно корчится в пламени, вызывая у зрителей глубокое наслаждение... Что ни говори, а маркиз разбирался в сладостном таинстве мести.

Правосудие все-таки торжествует. Маркиз пойман и заключен в Бастилию. В Венсенском замке он отбывает долгое наказание. Сидя в темнице, маркиз дает волю воображению. Он пишет том за томом, расходуя скудные запасы бумаги. На бумажный свиток наносятся мельчайшие буквы. Кое-что из написанного вполне благопристойно. Надо полагать, маркиз раскаялся и впал в сентиментальность. Пьесы, исторические хроники, письма, повести и рассказы свидетельствуют о его целомудрии.

Но вот снова слышится свист хлыста. Воображением заключенного овладевают кошмары. Он описывает прихоти любострастия с невиданным пылом. И не просто описывает. Он пытается намекнуть, что не следует гасить пыл души. Пора забыть запреты кровосмешения. Кузина, дочь, мать, — не все ли равно. Природа милостива, не надо только противиться ей, гоня искушения прочь...

Недавно европейский мир почтил память маркиза де Сада. Исполнилось 250 лет со дня его рождения: он появился на свет в 1740 году. Узнали мы кое-что из его жизнеописаний. Более четверти века он провел в тюрьмах и крепостях. Двенадцать лет просидел в Бастилии. За десять дней до ее штурма попал в психиатрическую лечебницу в Шарантоне. Освобожденный во время разрушения тюрем, участвовал в Великой французской революции. От почетного аристократического титула, естественно, отказался. Дни свои кончил в 1814 году в сумасшедшем доме...

В завещании маркиз наказывал сжечь его тело и неопубликованные рукописи. Волю его, казалось бы, выполнили. Но спустя некоторое время обнаружилось, что рукописи уцелели: как говорится, они не горят. Уцелевшие произведения печатать запретили. Но ведь известно — запретный плод сладок. А тут еще наследники маркиза кое-что попридержали. Вот уже и юбилей прошел, а сколько не напечатано! Правда, изданного набралось на 30 томов. Но как много еще неизвестного!

Из 15 томов, написанных де Садом в тюрьме, анонимно напечатаны «Философия альков» и «Жюстина, или Несчастие добродетели». Главный труд маркиза — «120 дней Содома». Сюжет — знатные люди Парижа, в их числе герцог, епископ, банкир и судья, забрав своих домочадцев, отправились в путешествие. Прогулка в основном удалась. Поклонники садизма познали все радости запретных наслаждений... Кое-что из подобных увеселе-

ний великий Данте разглядел в Аду, а кое-что и там не видывали. Банкир, правда, остался в живых. И по роду профессии подсчитал: 30 человек погибло во время Содома. Оставшиеся в живых им позавидовали...

Парадоксально, но полагают, что возрождение имени де Сада связано с творчеством французского поэта Гийома Аполлинера. Именно Аполлинер, удрученный бесчеловечностью окружающего мира и тоскуя по гуманизму, усмотрел в наследии маркиза вызов господствующей морали. Так или иначе, но есть правда в словах французского философа и писателя Альбера Камю: «С де Сада начинается современная история и современная трагедия». Без психологических протуберанцев садизма вряд ли можно понять этот жестокий век. Без низменных страстей, замешанных на жестокости и крови, нельзя разгадать и современную трагедию человечества. Кстати, несколько лет назад итальянский кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини поставил фильм «120 дней Содома». Кошмары, описанные де Садом, оказались в известной мере похожими на катастрофы нашего века. Стоило только одеть монстров маркиза в черные мундиры СС.

Вот несколько фрагментов из произведений де Сада.

МАРКИЗ ДЕ САД

Алина и Валькур

I. «Мы оказались в серале, где сам монарх снял с нас покрывала. Двух служанок Клементины отвели в тайные покои, собираясь использовать для каких-то услуг, а, возможно, приватных удовольствий, о которых мы не догадывались. С тех пор мы их больше не видели... После этого нас подвергли осмотру, который, впрочем, длился совсем недолго, потому что один цвет нашей кожи действовал на принца возбуждающе и он находился в том агрессивном состоянии, когда жажда наслаждений не нуждается в разжигании зрелищем. Он с силой обхватил Клементину, и насчастная женщина... Какая картина, боже правый! Мне казалось, что я вижу разъяренного тигра, разрывающего когтями тщедушного ягненка... Трудно представить, что в мире есть существа, настолько лишенные чувствительности и утонченности, чтобы подобным образом извращать самые что ни на есть нежные любовные удовольствия... Кем надо быть, чтобы вкушать их с таким неистовством, принося в жертву своим эгоистическим ощущениям все чувства объекта своей страсти! В этот момент мною овладело столь сильное

отвращение к нему, что я не знала, достанет ли у меня сил прибегнуть к средствам, с помощью которых я рассчитывала подчинить его себе.

Утолив первый порыв похоти, он повернулся ко мне и сказал, явно в надежде вновь возбудить себя: «Приблизься, я сделаю тебя столь же счастливой, как твою подругу».

«Тиран, — ответила ему я, — ты плохо знаешь мой народ, если воображаешь, что родившуюся в нашей стране женщину могут сделать счастливой ласки такого монстра, как ты. Сначала заслужи милости, которых ты жаждешь, и я окажу их, когда сочту тебя достойным».

Удивленный таким ответом, Бен Маакоро взял меня за руку и вывел на освещенное место, чтобы получше рассмотреть.

— Так что это за народ, — сказал он, — где своему хозяину говорят столь наглые речи?

— Это народ, где наслаждение получают только любя, где расположение завоевывают с помощью знаков внимания, где мужчины служат женщинам и получают милости от женщин только как вознаграждение за оказываемые им услуги.

— А разве та женщина, которая только что мне подчинилась, не из той же страны, что и ты?

— Нет, не из той же, но это не значит, что ты нанес ей менее тяжкое оскорбление. Ты ею обладал, но она ненавидит тебя. Советую со мной вести себя по-другому. Забудь грубые удовольствия, чтобы научиться вкушать удовольствия утонченные, удовольствия, которые будут длиться всю жизнь, составляя ее прелесть, в отличие от брутального удовлетворения, о котором ты уже забыл, а твоя жертва отнеслась к нему с презрением.

— А что за удовольствия ты обещаешь мне взамен тех, которых отказываешь?

— Это самые трепетные из известных человеку удовольствий, только они и делают его счастливым, — сердечной привязанности.

— Объясни мне, что это такое. Я тебя не понимаю.

— Ну, я буду любить тебя.

— Ты будешь любить меня?

— Больше того, я буду тебя почитать.

— А что за польза мне от всего этого? Какое наслаждение я из этого извлеку?

— Куда более чистое, чем те, которые тебе известны. Оно приведет твою душу в состояние в тысячу раз более утонченное, чем то, которое ты получал до сих пор.

— Ты очень красива, — произнес принц, вглядываясь в меня, — мне кажется, я уже кое-что начинаю понимать. Мне приятно смотреть на тебя, я испытываю при этом почти такое же наслаждение, как при поклонении Богу... Ты, может быть, и есть этот Бог, только Бог, принявший облик белой женщины?

— Нет, я вовсе не Бог, а одно из самых заурядных созданий природы. Но если ты меня послушаешься и заслужишь мою любовь, я сделаю тебя более счастливым, чем это дано Богу.

— Так ты знаешь способ доставлять удовольствия, неизвестные в здешних странах?

— Да, но чтобы ты их испытал, должно пройти время, нужно, чтобы ты на коленях отказался от вымышленных прав, которые дает тебе сила, в пользу прав, которые дает мне моя слабость. Я буду отдавать тебе приказы, а ты подчиняться, ты будешь угадывать мои желания и удовлетворять их, ты будешь моим рабом, я буду держать тебя в цепях. За счастье, к которому ты стремишься, ты должен будешь заплатить полным подчинением.

— Твой голос имеет надо мной несомненную власть, твои глаза сжигают мне душу, в меня проникают твои слова. На тебя нужно набрасывать покрывало, ибо ты — как слишком яркое светило, а твои речи подобны меду, изливающемуся на рану, оставленную отравленной стрелой Яга.

— Так ты считаешь меня чем-то высшим по сравнению с собой?

— Ты как луна рядом со звездами. Лучами своей красоты ты расщепляешь мою власть, как молния расщепляет кедр, гордо устремленный к небу.

— Ну что ж, тогда позволь мне с подругой уйти и больше не оскорбляй ее.

— А что я получу за свое повиновение?

— Я позволю тебе оказывать мне услуги.

— Но ты наградишь меня за то, что я для тебя сделаю?

— Да, но только когда буду иметь власть, которую ты мне обещаешь.

При этих словах он сам открыл двери сераля, отдав приказание, чтобы мне отвели лучшие покои во дворце, а пока его приказание исполнялось, он спросил, не возражаю ли я, чтобы он вкушал пищу вместе со мной. Я ответила согласием. Принесли фрукты, он отведал их, после чего предложил Клементине и мне. После еды я попросила разрешения удалиться в отведенные мне покои и отдохнуть там вместе с подругой. Он упорно отказывался поместить нас вместе, полагая, что ему

легче будет победить меня в одиночестве. И только с колоссальными усилиями, после угроз, что я никогда его не полюблю, мне удалось добиться общих покоев с Клементиной. Наконец, мы удалились в сопровождении двух рабынь, приставленных к нам принцем...

— О, какой мужчина! — сказала Клементина, когда мы остались одни. — Первый раз сталкиваюсь с таким гигантом. Во всей Европе не сыщешь женщины, которая могла бы иметь дело с таким дикарем. Ну-ну, смейся, смейся, — продолжала она, заметив, что я покатываюсь со смеху, — я бы посмотрела, как ты посмеешься, оказавшись на моем месте! Тебе будет не до веселья.

— Неужели такой пустяк может привести тебя в уныние?

— Ты называешь это пустяком! Я же сказала, что больший кошмар трудно себе представить. Да лучше тысячу раз встретиться с быком у ворот Алькала в Мадриде, чем один раз сразиться с подобным каннибалом. Но погоди, твой черед не за горами, тогда и тебе будет что порассказать.

МАРКИЗ ДЕ САД

Жюстина

II. Когда я спустилась в долину, колокольня исчезла из глаз. Единственным ориентиром оставался лес, и теперь дорога казалась мне куда длинней, чем это представлялось вначале. Но я не поддалась унынию. Дойдя до опушки и заметив, что солнце сядет еще не скоро, я решилась пойти лесом, в надежде добраться до монастыря раньше, чем наступит темнота. Однако в лесу не было никаких признаков человеческого присутствия, жилья, а дорогой мне служила еле заметная тропинка, по которой я двигалась почти наощупь. Пройдя лесом не менее пяти лье, я по-прежнему никого не встретила. И только когда солнце совсем скрылось за горизонтом, послышался звон колокола... Я прислушиваюсь, бегу на этот звук, тороплюсь, тропинка слегка расширяется, я натыкаюсь сначала на какие-то заборы, а потом вижу и монастырь. Трудно придумать более уединенное место. До ближайшего селения — больше шести лье, со всех сторон обитель окружена непроходимым лесом и к тому же расположена в низине. Оказывается, я спускалась по отлогому склону и, очутившись в низине, потеряла из виду колокольню.

К стене монастыря примыкала хижина садовника, бывшего одновременно и привратником. Я спросила у него, могу ли

повидать настоятеля, и объяснила, что в это благочестивое место меня привела потребность в утешении и желание припасть к чудотворному образу Пречистой Божьей матери и испросить милости святых отцов, в обители которых образ этот хранится. Я надеюсь на исцеление от несчастий, которые мне пришлось претерпеть на пути сюда.

Садовник позвонил в колокол, и его впустили в обитель. Он отсутствовал довольно долго, поскольку было поздно и пресвятые отцы ужинали, и привел с собой одного из монахов.

— Вот, мадмуазель, отец Клемент, наш управляющий. Он пришел справиться, стоит ли из-за вашей просьбы беспокоить отца-настоятеля.

Появление Клемента, мужчины лет сорока восьми, огромного роста и необъятной толщины, с мрачным и свирепым взглядом, с хриплым голосом и очень грубыми манерами, заставило меня содрогнуться. Невольно вспомнились недавние мои злоключения, кровавыми письменами проступившие в моем потрясенном мозгу...

— Что вам здесь нужно? — спросил монах, неприветливо взглянул на меня. — Кто же приходит в церковь в такую пору?.. У вас вид настоящей искательницы приключений.

— Святой отец, — воскликнула я, опускаясь перед ним на колени, — мне казалось, в дом божий можно прийти в любое время. Я пришла издалека, движимая верой и благочестием, и прошу, если можно, исповеди и утешения. Когда причины, приведшие меня сюда, станут вам известны, вы сами решите, достойна я или не достойна лицезреть икону Божьей матери.

— Время сейчас слишком позднее для исповеди, — ответил монах, несколько смягчившись. — Где вы собираетесь провести ночь? У нас — не странноприимный дом... Нужно было приходить утром.

Я объяснила, что помешало мне прийти раньше. Клемент пообещал передать мою просьбу настоятелю. Через некоторое время дверь отворилась и в хижину садовника вошел настоятель, отец Северино; он пригласил меня в храм.

Северино, немолодой человек лет пятидесяти пяти, сохранил красивое и свежее лицо и крепкое тело. Он был мускулист, как Геркулес, и при этом не выглядел грубым: весь облик его отличался изысканностью и приятностью. Очевидно, в молодости он был очень хорош собой, об этом свидетельствовали прекрасные глаза, благородство черт и манера держать себя, как нельзя более обаятельная и любезная. По легкому акценту можно было понять, что он уроженец не здешних мест, и, дол-

жна признаться, манеры этого монаха помогли мне несколько прийти в себя от ужаса, вызванного видом его предшественника.

— Хотя вы, милочка моя, появились и в неурочный час, — вежливо сказал он, — и не в наших обычаях принимать посетителей в столь позднее время, я все-таки согласен исповедать вас. А после исповеди поудобней устроим вас на ночь и завтра же вы преклоните колени перед святой иконой, ради которой совершили свое паломничество.

Мы вошли в церковь. Дверь закрылась за нами, в исповедальне горит светильник, отец Северино ведет меня туда, занимает свое место и призывает полностью довериться ему. И я радостно доверилась этому доброму человеку, рассказав свою историю от начала до конца. Призналась во всех прегрешениях, во всех злоключениях, сказала даже о позорном клейме, которое выжег на мне этот варвар Роден. Отец Северино с величайшим вниманием и жалостью выслушал и даже попросил уточнить некоторые подробности. Но отдельные невольные жесты и восклицания тем не менее выдали его. Увы! Я поняла это слишком поздно. Когда я смогла посмотреть на все происшедшее со смирением и как бы со стороны, мне вспомнилось, что некоторые движения доказывали его любострастие, а кое-какие вопросы были продиктованы жаждой непристойных моментов.

Его вопросы касались пяти обстоятельств: правда ли, что я сирота и родилась в Париже; действительно ли у меня нет никаких родственников, друзей и покровителей, то есть никого, кому я могла бы сообщить о себе; правда ли, что о своем намерении посетить монастырь я сказала только пастушке и что на обратном пути не должна ни с кем встретиться; уверена ли я, что после изнасилования меня никто не видел и что насильник овладел мною как с той стороны, которую допускает природа, так и с той, которую она запрещает; нет ли у меня подозрения, что за мной следили, и не мог ли кто-нибудь заметить, как я входила в монастырь...

Я с полной откровенностью, скромностью и простодушием ответила на эти вопросы.

— Что ж, — заключил настоятель, поднимаясь и беря меня за руку, — завтра вы получите возможность припасть к иконе, ради которой явились сюда. Но сначала удовлетворим ваши насущные потребности...

С этими словами он увлек меня в глубь храма.

— Как, отец мой! — воскликнула я, не в силах сдержать беспокойства. — Разве для этого...

— А как же, очаровательная странница, — ответствовал монах, заводя меня в ризницу. — Неужели перспектива провести ночь с четырьмя святыми пустынниками пугает вас? Милый ангел, не сомневайтесь, мы найдем средства не дать вам соскучиться; впрочем, даже если мы и не доставим вам особых удовольствий, то вы послужите нашим в полной мере.

Его слова потрясли меня, от ужаса я покрылась холодным потом, меня колотило как в лихорадке. Уже смерклось, и мы шли в полной темноте. У меня подкашивались ноги, в моем смятенном воображении маячила смерть, занесшая косу над моей головой... Куда девалась прежняя учтивость монаха? Поддерживая меня, он то и дело разражался ругательствами:

— Пошевеливайся, потаскуха ты этакая! Помни, никакие жалобы и вопли тебе здесь не помогут.

Эти безжалостные слова вернули мне силы, я поняла, что слабостью от него ничего не добьешься.

— О, небо! — воскликнула я. — Неужели ты снова делаешь меня жертвой моих возвышенных чувств? Неужели мое стремление к таинствам религии так преступно, что заслуживает подобного наказания?..

Мы шли по таким темным закоулкам, что я уже не различала дороги. Северино следовал за мной, шумно дыша, бормоча что-то неразборчиво, словно пьяный. Время от времени он останавливал меня, охватывая одной рукой за талию, в то время, как его другая рука пробиралась сзади под мои юбки, бесстыдно проникая в то злосчастное отверстие, которое существует и у мужчин и которое составляет единственный объект для тех, кто предпочитает мужской пол в своих постыдных развлечениях. Много раз развратный монах прикоснулся языком к этому потаенному отверстию, прежде чем мы возобновили наш путь. Спустившись на тридцать — сорок ступеней вниз и отворив дверь, мы оказались на пороге красивой, великолепно освещенной залы, где за накрытым столом сидели три монаха и четыре девушки. Им прислуживали четыре совершенно обнаженные женщины. Я оцепенела от этого зрелища, но Северино силой втолкнул меня в залу.

— Господа, — сказал он, войдя, — позвольте представить вам существо поистине феноменальное. Добродетельное, как Лукреция, но в то же время с клеймом падшей женщины на плече и с наивностью и кротостью Пресвятой Девы... За шесть лет, друзья мои, она только один раз подверглась насилию. Так что перед вами — почти весталка... Во всяком случае, вы-

дает себя за таковую... И при том какая красавица! Представляю, как Клемент порезвится на ее прекрасных округлостях!

— Ух... разрази меня гром! — воскликнул полупьяный Клемент, поднимаясь из-за стола и направляясь ко мне. — Приятная встреча, право, хочется самому во всем убедиться.

... Прерву на время нить своего повествования, чтобы описать тех, в чьем обществе я оказалась. Северино вам уже известен, о его наклонностях вы также догадываетесь. Увы, его извращенность зашла так далеко, что он не признавал других вариантов. Поразителен и каприз природы: страсть этого чудовища искать пути поуже сочеталась с орудием столь огромных размеров, что с трудом протиснулось бы даже в самые широкие ворота.

Я уже набросала портрет Клемента. Прибавьте к этому жестокость, крайнее коварство, невоздержанность во всем, язвительный ум, развращенный нрав, скотские поступки, ни грана чувствительности, деликатности, набожности. К тому же тело его было столь изнурено излишествами, что в течение последних лет он получал удовольствия только от самых варварских приемов.

Третьему участнику отвратительных оргий, отцу Антонену, было сорок лет. Это был человек невысокого роста, поджарый и очень сильный: его оснастка по своим размерам не уступала Северино, а по злобности он мог бы поспорить с Клементом. У него были те же вкусы, что и у Клемента, но предавался им отец Антонен все-таки не с таким неистовством. Ибо, если следуя странной мании, Клемент имел целью унижать и тиранить женщину, так как это был единственный доступный ему способ удовольствия, Антонен пользовался женщиной таким образом от избытка сил, прибегая к бичеванию, только чтобы возбудить удостоенную его благосклонного внимания, пробудить в ней пыл и рвение. Одним словом, брутальность одного была продиктована желанием, а брутальность другого — пресыщенностью.

Самый старый из четырех развратников, отец Иероним, оказался и самым распутным. В душе этого монаха соединились чудовищные пороки, наклонности и извращения. Кроме уже описанных причуд, он имел еще одну, стремясь получить ту «росу», которой его собратья окропляли женщин, обратно: то есть «терял» (что случалось с ним довольно редко) только при том условии, если потерянное к нему возвращалось. Он воздавал равную дань всем храмам Венеры, но поскольку силы уже оставляли его, Иероним на склоне лет предпочитал то, что

требовало от него наименьших усилий, заставляя женщину заботиться о пробуждении желания и достижения оргазма. Его излюбленные «врата» — рот, и пока он предавался любимому удовольствию, другая женщина обычно разжигала его чувственность с помощью розог. Характер этого монаха был столь же замкнутым, сколь и злобным. Так что какую бы форму порок не принял в этом доме, он наверняка нашел бы ревностных исполнителей.

Все станет более понятным, если вспомнить историю создания монастыря. Огромные суммы были потрачены Орденом, чтобы построить этот притон, существующий более ста лет. В нем постоянно жили четыре монаха: самых богатых, с блестящими связями, благородного происхождения и с отменным опытом по части разврата, чтобы добровольно заточить себя в этом медвежьем углу. Как станет ясно из моего дальнейшего повествования, логово это содержалось в глубокой тайне.

Теперь вернемся к остальным действующим лицам.

Восемь женщин, присутствующих на ужине, так отличались друг от друга, что стоит каждую описать отдельно, начиная с самой младшей. Ей было не более десяти лет. Весьма приятное личико с правильными чертами. Во всем ее облике чувствовалась униженность своим положением и подавленность.

Другой было лет пятнадцать. И на ее лице читались растерянность и стыдливость, но тем не менее оно было прекрасно, и вся она была весьма соблазнительной девицей.

Третьей можно было дать лет двадцать. Блондинка, писаная красавица, очень тоненькая и милая, но, видимо, более привычная к разврату.

Четвертой явно исполнилось тридцать: это была одна из самых ярких женщин, каких только можно себе вообразить; она выделялась благородными манерами и добродетелями, свойственными чувствительной душе.

Пятой было тридцать пять, и она была на третьем месяце беременности — очень живая брюнетка с прекрасными глазами, утратившая, на мой взгляд, всякое чувство приличия и сдержанности. Шестая казалась ее ровесницей. Высокого роста, неимоверной толщины, с приятным лицом; но формам этой гигантши сильно вредила ее полнота. На ее обширном, совершенно обнаженном теле я не увидела буквально живого места — так отделали ее жестокие негодяи, с которыми свела нас судьба.

Седьмая и восьмая участницы ужина были очень красивыми женщинами примерно сорока лет.

Теперь вернемся к истории моих злоключений.

Как только я очутилась в зале, все окружили меня. Клемент впился своим зловонным ртом в мой, я с отвращением отбивалась, но мне дали понять, что сопротивление — не более чем бесполезное жеманство, и что мне не остается ничего иного, как последовать примеру других женщин.

— Неужели вы не понимаете, — сказал Северино, — что в таком неприступном убежище, как это, ваши капризы смешны. Вы уже перенесли немало неприятностей, но, обратите внимание, в их числе не хватает самой главной, которая может постигнуть целомудренную девицу. Не пора ли сломить вашу высокомерную добродетель? Как можно оставаться чуть ли не девственницей в ваши двадцать два года? Женщины, которых вы здесь видите, тоже пытались упрямиться, но в результате подчинились, поняв, что строптивость приводит только к дурному обращению. Сейчас самое время показать вам, — продолжал настоятель, махнув рукой на плети, розги, хлысты, веревки и массу других орудий наказания, — да, сейчас самое подходящее время показать вам то, чем мы учим бунтовщиц. Подумайте, есть ли у вас желание испробовать все это на себе? И чего вы этим добьетесь? Равенства? Это понятие нам не известно. Гуманности? Нашим единственным удовольствием является пренебрежение ее законами. Исполнения религиозного долга? Но в наших глазах он ничего не стоит, презрение к религии только увеличивается от наших знаний о ней. Или, может быть, вы сошлетесь на родителей... на друзей... на судей? Но они ничего здесь не значат, моя дорогая. Перед вами эгоизм, разврат, жестокость и богохульство. Единственный ваш удел — полная покорность, вы — в неприступном убежище, в которое не проникал без нашего соизволения ни один смертный. Даже если бы монастырь был захвачен, разграблен и сожжен, то и тогда это убежище не обнаружили бы... Вот где вы, моя милочка, оказались, и притом в обществе четырех развратников, которые не имеют ни малейшего желания вас щадить и которых ваши уговоры, слезы и мольбы способны распалить еще больше. К кому же тогда вы воззовете, к Богу, к которому взывали только что с таким пылом и который, чтобы вознаградить вас, привел сюда, в эту западню? К этому химерическому Богу, которого мы здесь ежедневно поносим, преступая его бессмысленные заповеди?.. Теперь вы, надеюсь, понимаете, что нет такой силы, которая могла бы вас вырвать из

наших рук? Даже с помощью чуда вам не удастся более сохранить добродетель, которой вы так кичитесь. Вы наверняка станете объектом всех любовных шалостей, которыми мы пожелаем предаться в вашем обществе... Ну-ка, шлюха, раздевайся, твое тело послужит нашему сладострастию, мы немедленно им воспользуемся. Иначе жестокие побои научат тебя тому, как ты, ничтожная, должна нам подчиняться.

Этот ужасный приказ на несколько мгновений парализовал меня. Потом я сделала то, что подсказало мое сердце — бросилась к ногам отца Северино и принялась отчаянно умолять его не использовать во зло мое положение. Мои слезы орошали ноги этого человека, я заклинала его самым трогательным образом... Господи, все было совершенно бесполезно. Могла ли я поверить, что подобного развратника мои слезы действительно только разожгут. Все мои попытки умилостивить насильников только увеличивали их похоть...

— Возьмите эту девку, — гневно вскричал Северино, — и чтобы она тут же осталась в чем мать родила и на своей шкуре убедилась, что мы не те люди, в ком голос Природы заглушен каким-то жалким состраданием!

Клемент, вне себя от ярости — мое сопротивление особенно раззадорило его, — точным и судорожным рывком, со страшными ругательствами стащил с меня одежду.

— Ба! Да она настоящая красавица, — воскликнул настоятель, оглаживая нижнюю часть моей спины. — Разрази меня гром, она превосходно сложена. Давайте действовать по порядку, друзья мои. Наши методы вам известны, они должны примениться к ней в полном объеме. Остальные женщины должны быть поблизости, чтобы предвосхищать или возбуждать наши желания.

Разрешите мне утаить от вас часть отвратительных поступков, на которые распутство может толкнуть отъявленных негодяев. Пусть ваше воображение дорисует, как они переходят от женщины к женщине, сравнивая, сопоставляя, обсуждая... Начало дает только слабое представление о кошмаре, который мне пришлось испытать впоследствии.

— Вперед, — провозгласил наконец Северино, не в силах больше сдерживаться, — пусть каждый насладиться ею, как пожелает.

Негодяй распластывает меня на канапе в позе, благоприятствующей его мерзким намерениям — при этом два монаха держат меня. Он стремится получить удовольствие преступным и извращенным способом, который уподобляет нас про-

тивоположному полу и унижает наш собственный. Однако, то ли потому, что оснастка этого бесстыдника слишком несоразмерна, то ли потому, что Природа возмущается во мне при одной только мысли о подобном соединении, преодолеть сопротивление ему не удается. Он делает попытку за попыткой, но безуспешно... Он налегает, разрывает... все напрасно. Ярость этого монстра обрушивается на меня, он меня бьет, щиплет, кусает. Это вдохновляет его на новые попытки, мое ослабевшее тело поддается, таран проникает... Я испускаю ужасающие крики, пока он полностью овладевает мною. В конце концов, Северино, как змея, выпустившая яд, лишается сил, — уступает, плача от ярости, усилиям, которые я предпринимаю, чтобы от него освободиться. Никогда в жизни не испытывала я такой боли.

Ко мне подскакивает Клемент, держа розги, его глаза сверкают вероломством.

— Ну, настоятель, я отомщу за вас, — обращается он к Северино, — я проучу эту наглую девку за то, что она осмелилась противиться!

Держать меня уже нет нужды. Он перебрасывает меня через колено, придавливая живот, и его взорам открываются излюбленные им части тела. Сначала Клемент бьет несильно, но это только прелюдия, вскоре, разъярившись, этот ублюдок начинает хлестать что есть силы; его удары обжигают мои бедра и поясницу. К этой жестокости мучитель смеет присоединять любовь: он впивает своим ртом мои стоны, которые исторгают причиняемые им страдания... Он слизывает текущие по моему лицу слезы, целует меня, угрожает, ни на минуту не прерывая экзекуции. Все это время одна из женщин, опустившись перед ним на колени, поглаживает его обеими руками, и чем лучше это ей удается, тем сильней удары, обрушивающиеся на меня. Я чувствую, что еще немного, и он рассечет меня на части, но ничто не предвещает конца моих страданий. На мне нет живого места. Но Клемент неколебим. Вожделенный финал наступает от бредовой фантазии монаха: моя грудь оказывается во власти этого палача, он кусает ее и... это приносит желаемый результат. Все сопровождается страшными воплями и проклятиями. Ослабевший Клемент передает меня Иерониму.

— Для вашей невинности я представляю не большую опасность, чем Клемент, — шепчет этот распутник, поглаживая окровавленный алтарь, на который его приятель возложил свою жертву. — Я только хочу поцеловать этот желобок. Позволю себе также его приласкать, ибо в свою очередь намерен оказать

ему внимание. Но я желаю большего, — продолжал старый сатир, путешествуя своими пальцами туда, где побывал Северино, — я хочу, чтобы курочка снесла мне яичко и чтобы я им полакомился... Ну что, есть оно там? Есть, черт побери! Да какое мягкое!..

Иероним приникает губами, приказав, что мне следует сделать, и я с отвращением подчиняюсь. Увы, отказать нет сил. Презренный монах доволен. Он ставит меня перед собой на колени и утоляет свою страсть способом, который исключает возможность жалоб. Пока он занят мною, толстуха бьет его кнутом, а другая угощает таким же яичком, что и я...

Наступает очередь Антонена.

— Посмотрим-ка на эту святую непорочность. Взята с первой атаки, вряд ли теперь она посмеет заявить о себе... — говорит он.

Поставив меня в позу, избранную Клементом, он в ярости сносит «двери храма» и проникает в «святилище». Хотя атака его не менее яростна, чем штурм Северино, вынести ее мне легче, так как она направлена на более широкий вход. Мощный атлет обхватывает мои бедра и рьяно сотрясает меня. Судя по усилиям этого Геракла, ему мало овладеть крепостью, он хочет стереть ее в порошок. От ужасных атак я теряю сознание, но жестокий победитель не обращает на это никакого внимания и удваивает усилия. Женщины, окружив Антонена, подхлестывают его чувственность: усевшись на моей пояснице, пятнадцатилетняя девица подставляет его губам свой алтарь; женщина постарше, стоя перед ним на коленях, прибегает к помощи языка. Чтобы разжечь себя еще больше, он руками ласкает двух других женщин, впадая таким образом в глубокий экстаз. Вскоре конец наступает. Но разделить его с моим партнером мне мешает отвращение, внушаемое его непотребством... Монах наслаждается в одиночестве, содрогаясь и вопя... Он прямо-таки заливает меня доказательствами своей страсти. Единственное, что остается мне, — боль и слезы... отчаянье и угрызения совести.

После оргии настоятель поручил меня заботам тридцатилетней женщины по имени Омфала. Он приказал, чтобы она все мне объяснила и устроила на новом месте. Я ничего не видела и не слышала: уничтоженная и отчаявшаяся, я мечтала только о том, чтобы хоть немного прийти в себя. Но стоило мне лечь в постель, как с необыкновенной живостью предстал передо мной весь ужас моего падения: надругательства, которым подверглась я сама и свидетельницей которых стала,

мелькали перед моими глазами. Если иной раз воображение и рисовало мне удовольствия подобного рода, то они представали передо мной такими же целомудренными, как вдохновивший на них Господь и как Природа, давшая их людям в утешение; они представлялись мне плодами любви и нежности. Мне и в голову не приходило, что мужчина, уподобившись дикому зверю, мог наслаждаться только болезненными стонами своей подруги... «О, небо! — шептала я. — Теперь я вижу, что за каждым добродетельным поступком, внушенным мне моим сердцем, незамедлительно следует наказание! Что было дурного в моем желании, о Боже правый, прийти в этот монастырь на исповедь? Неужели я прогневила тебя, Господи, своим желанием молиться? Открой мне неисповедимые пути Провидения, если не хочешь, чтобы я взбунтовалась против него!» Размышления мои сопровождались горькими слезами, которыми я и встретила рассвет.

III. К моей кровати подошла Омфала. «Милая подруга, — сказала она, — прошу тебя, не отчаивайся. Я, как и ты, проплакала первые дни, когда попала сюда, а теперь привыкла. Привыкнешь и ты. Поначалу жизнь в этом монастыре действительно кажется невыносимой. Пыткой ее делает здесь не просто необходимость утолять страсти этих развратников, но утрата свободы и то, как с нами обращаются в этом кошмарном месте».

В несчастье люди утешаются тем, что видят вокруг себя таких же несчастных. Хотя я испытывала ужасные страдания, я подавила их и попросила Омфалу рассказать мне, какие беды меня еще могут здесь ожидать.

— Подожди немного, — ответила мне моя наставница. — Сначала встань, оденься, осмотрим наше жилище и тех, кто в нем обитает, а потом поговорим.

Я последовала совету Омфалы и убедилась, что нахожусь в очень большой комнате, в которой у стен располагались восемь довольно опрятных подвесных постелей небольших размеров; рядом с каждой из них было по небольшой кабинке. Окна, через которые свет проникал в большую комнату, и кабинки были расположены на высоте полутора метров от пола и снабжены решетками изнутри и снаружи. Посередине главной комнаты стоял большой стол, за которым женщины принимали пищу и работали. Имелись еще три обитых железом двери;

с внутренней стороны на них не было запоров, зато снаружи на этих дверях были укреплены огромные засовы.

— Это и есть наша тюрьма? — спросила я Омфалу.

— Да, моя милая, — ответила она, — это и есть наше единственное обиталище. Восемь других женщин живут по соседству в такой же комнате, но мы видимся с ними лишь тогда, когда это бывает угодно монахам.

Я вошла в свою кабинку; это была комнатка площадью около трех с половиной квадратных метров, свет проникал в нее, как и в большую комнату, через зарешеченное окно, расположенное на большой высоте. Единственными предметами обстановки были биде, туалетный столик и нужник. Когда я вышла оттуда, меня окружили и стали рассматривать другие обитательницы комнаты; их было семь, восьмой оказалась я. Омфала жила в другой комнате и пришла в нашу, чтобы рассказать мне о здешних порядках. Если бы я захотела, она могла бы остаться с нами; ее место в другом помещении заняла бы в таком случае одна из этих женщин. Прежде чем вернуться к рассказу Омфалы, я хочу описать семерых обитательниц комнаты, которых послала мне судьба. Опишу их по возрасту, начиная с самой младшей.

Ей было двенадцать лет. Живое и умное личико, превосходные волосы и очень красивый рот.

Следующей девушке было шестнадцать. Одна из самых красивых блондинок, каких мне когда-либо приходилось видеть, с исключительно тонкими чертами лица; изящество и нежность, свойственные ее возрасту, соединялись в ней с какой-то особой привлекательностью (бывшей, возможно, плодом выпавшего на ее долю печального опыта), которая делала ее еще прекрасней.

Третьей исполнилось двадцать три года. Она была очень хороша собой, но очарованию, которым наделила эту женщину Природа, вредило, на мой взгляд, ее поведение, отличавшееся наглостью и бесстыдством.

Четвертой, казалось, лет двадцать шесть. Сложена она была, как настоящая Венера, хотя формы были слишком развитыми; кожа ослепительной белизны, нежное, открытое, улыбающееся лицо, красивые глаза; рот немного великоват, но с великолепными зубами, прекрасные светлые волосы.

Пятая насчитывала тридцать два года. Она была на пятом месяце беременности: немного печальное лицо — правильный овал, большие, очень живые глаза, мелодичный голос; чрезмерная бледность, вероятно, от хрупкого здоровья; она, как

мне сообщили, была от природы склонна к распутству и довела себя этим до истощения.

Шестая женщина, тридцати трех лет, была крупной, хорошо сложенной особой, с исключительно эффектным лицом и красивым телом.

Седьмой минуло тридцать восемь лет. Самая старшая в нашей комнате, она отличалась исключительной привлекательностью. Омфала предупредила меня, что у нее дурной характер и что она любит женщин.

— Уступить — верный способ ей понравиться, — сообщила моя наставница, — а отказать — значит навлечь на свою голову все насчастья, какие только могут обрушиться на нас в этом доме. Так что имей это в виду.

Омфала спросила у старшей по комнате (ее звали Урсулой) позволения опекать меня. Урсула согласилась при условии, что я ее поцелую. Как только я к ней приблизилась, ее грязный язык стал искать моего, пальцами она старалась привести меня в возбуждение, к которому я отнюдь не была готова. Но мне волей-неволей пришлось согласиться на все, и когда ей показалось, что она добилась своей цели, она отослала меня в мою кабинку, где Омфала рассказала мне следующее.

— Все женщины, которых ты, моя дорогая, видела вчера, и те, которых увидела только что, делятся на четыре класса: в каждом по четыре женщины.

Первый — это класс детства, куда входят девочки от самого нежного возраста до шестнадцати лет; одеваются они в белое.

Второй класс (его цвет зеленый) называют классом юности — для девушек от шестнадцати до двадцати одного года.

Третий класс объединяет молодых женщин от двадцати одного года до тридцати, которые одеваются в голубое; мы с тобой принадлежим к этому классу.

К четвертому классу относятся женщины зрелого возраста, за тридцать. Его представительницы носят платье красно-коричневого цвета с золотым отливом.

На ужинах у преподобных отцов женщины либо перемешиваются без разбора, либо присутствуют классами. Все зависит от причуд монахов. В остальное время они живут в двух помещениях без какого-то особого деления, как ты можешь судить по этой комнате...

Количество женщин здесь всегда одно и то же (шестнадцать, по восемь в каждой комнате), причем, как ты видишь, на каждой из нас одежда того класса, к которому она принадлежит. Сегодня и тебе выдадут твою одежду. Днем мы носим до-

машнее одеяние соответствующего цвета; вечером надеваем длинное платье и делаем себе прическу. Старшая по комнате имеет над нами абсолютную власть, неподчинение ей является преступлением; в ее обязанности входит осматривать нас перед тем, как мы отправляемся на ужин; если что-то оказывается не в порядке, она подвергается наказанию наравне с нами. Наши прегрешения могут быть разного рода. За каждое из них полагается особое наказание: их список висит в обеих комнатах. Дежурный регент не только доводит до нашего сведения приказы, назначает женщин для участия в ужине, осматривает жилые комнаты и принимает жалобы от старшей по комнате — вечером он, в зависимости от прегрешения, осуществляет наказания. Перечислю их вместе с преступлениями, за которые наказания назначаются.

За то, что не встала с постели после подъема — тридцать ударов кнутом (почти за все наказывают кнутом; монахи без труда перешли от бичевания как способа получения удовольствия к нему же как излюбленному способу наказания). За то, что во время оргии — случайно или по какой-то другой причине, — вместо одной части тела подставила другую — пятьдесят ударов кнутом. Плохо одета или плохо причесана — двадцать ударов. Не предупредила, что начались месячные — шестьдесят ударов. В день, когда врач установил, что ты беременна — сто ударов. За небрежность, неспособность или отказ сделать что-то во время оргии — двести ударов. А сколько раз монахи по своей нечеловеческой злобности уличали нас в грехах, которых мы не совершили? Сколько раз, увидев, что мы уступили требованию другого, кто-нибудь из них тут же настаивал, чтобы мы то же сделали для него, прекрасно зная, что это физически невозможно. На наши упреки и жалобы здесь не обращают ни малейшего внимания, нужно подчиняться или терпеть наказание. За любое нарушение в комнате или неподчинение старшей полагается шестьдесят ударов кнутом. Если у тебя заплаканный или огорченный вид, приступ раскаяния или хоть малейший признак возврата к вере — двести ударов кнутом. Если монах выбирает тебя, чтобы в последний раз испытать любовное наслаждение и это ему не удается (неважно, происходит это по его собственной вине — что бывает нередко — или по твоей), тут же на месте триста ударов. Малейший намек на то, что предложения монахов вызывают у тебя неприязнь, наказывается двумястами ударами. За попытку побега или бунта — бросают на девять дней в карцер, совершенно голой, и каждый день — по триста ударов. За интриги, дурные советы и

ссоры между собой, если только это выйдет наружу, — триста ударов. За недостаточно уважительное отношение к монахам — сто восемьдесят ударов. Таковы наши прегрешения. В остальном мы вольны делать, что нам заблагорассудится: спать в одной постели, ссориться, доходить до каких угодно излишеств в пьянстве и обжорстве, ругаться, богохульствовать. Все это не вызывает ни малейшей реакции, за эти грехи нам дурного слова не скажут. Бранят нас только за то, о чем я сказала. Но если старшая по комнате захочет, то может избавить нас от многих из этих наказаний; к сожалению, за ее заступничество надо расплачиваться услугами еще более отвратительными, чем кара, от которой она охраняет. У той и у другой старшей одинаковые наклонности, чтобы получить власть, надо вступить с ними в недвусмысленные отношения. В случае отказа они без меры увеличивают число твоих прегрешений, а дежурные монахи не только не выговаривают им за эту несправедливость, но поощряют ее. Сами старшие также подчиняются правилам, за подозрение в попустительстве их жестоко наказывают. Все это нужно не для того, чтобы держать нас в особой строгости, просто этим распутникам нравится выискивать предлоги для наказания, это придает их сладострастию еще большую остроту...

Все здешние обитательницы самого благородного происхождения. Ваша покорная слуга, например, единственная дочь графа де *... До двенадцати лет я жила в Париже, отец давал за мной сто тысяч приданого; меня похитили, когда я вместе с гувернанткой возвращалась из нашего поместья в Пантеонское аббатство, где воспитывалась; гувернантка исчезла, не исключено, что она была подкуплена; сюда меня доставили в почтовой карете. Примерно то же произошло и с остальными. Двадцатилетняя девушка принадлежит к одной из самых лучших фамилий Пуату. Шестнадцатилетняя — дочь барона де * знатнейшего дворянина Лотарингии. Среди предков двадцатитрехлетней девушки есть и графы, и герцоги, и маркизы; не менее благородные предки у двенадцатилетней девочки и тридцатидвухлетней дамы. В монастыре нет ни одной женщины, которая (по своему происхождению) не могла бы претендовать на самое завидное будущее и которая не подвергалась бы здесь крайне унизительному обращению. Но недостойные монахи пошли еще дальше, возжелав обесчестить собственные семьи. Помнишь двадцатишестилетнюю, одну из самых красивых женщин? Это — дочь Клемента. Тринадцатилетняя — племянница Иеронима...

Причины, по которым нас отсюда отсылают, совершенно непонятны. Возрастные изменения — подурнение, например, — тут не при чем, монахи руководствуются исключительно своей прихотью. Сегодня они могут изгнать женщину, которой еще вчера отдавали предпочтение, и могут продержать еще десять лет ту, которой, казалось бы, уже давно пресытились. Возьми хоть старшую по комнате, Урсулу: она здесь двенадцать лет, но все еще в фаворе; я своими глазами видела, как для того, чтобы сохранить ее, монахи изгоняли пятнадцатилетних девочек такой красоты, что сами Грации не удержались бы от ревности. Всего восемь дней назад была отослана одна шестнадцатилетняя, красотой соперничавшая с Венерой; она пробыла здесь всего год, но забеременела, а это, я уже говорила тебе, считается здесь великим прегрешением. Месяц назад они отказались от семнадцатилетней девушки. В прошлом году избавились от двадцатилетней — та была на восьмом месяце беременности, а недавно выгнали одну, когда у нее начались роды. Не подумай, что женщины хоть в малейшей степени проявляли строптивость: были такие, которые предупреждали все желания монахов — и исчезали через полгода; были угрюмые и своенравные особы, которые провели здесь долгие годы. Поэтому рекомендовать новоприбывшим какую-то форму поведения нельзя: фантазия этих чудовищ совершенно непредсказуема, и только она управляет их поступками...

Об отсылке предупреждают утром того же дня. В девять часов, как обычно, дежурный регент приходит и говорит примерно так: «Омфала, вы высылаетесь из монастыря, вечером я приду за вами». Потом все идет обычным чередом, но во время утреннего осмотра вы уже к нему не подходите. После ухода регента отсылаемая обнимает подруг, клятвенно уверяет их, что сделает для них все: подаст в суд, предаст происходящее здесь огласке... потом приходит монах, забирает женщину с собой, и она исчезает без следа. В эти дни, как обычно, устраивается ужин, но монахи, по нашим наблюдениям, редко доходят до крайней степени распутства, они словно экономят силы, но пьют намного больше, иногда просто до бесчувствия; в такие дни нас отсылают к себе значительно раньше, причем отсылают всех, включая сопровождающих.

— Ну, что ж, — ответила я Омфале, — никто из них не смог вам помочь, поскольку это были слабые, запуганные или совсем еще юные существа, у которых просто не хватило решимости за вас заступиться. Не думаю, что монахи убивают отсылаемых, не представляю себе, чтобы разумные существа

могли дойти до такой крайности... О, я знаю, знаю... после всего, чего я здесь насмотрелась, мне не следовало бы оправдывать этих людей, но нельзя вообразить себе, что они способны совершить такие кошмарные поступки, о которых и думать-то страшно. Дорогая подруга,— с жаром продолжала я,— хочешь, дадим друг другу нерушимую клятву, я буду верна ей до конца!... Хочешь?

— Да.

— Клянусь тебе самым дорогим, что у меня есть, клянусь Господом, которому я поклоняюсь... обещаю тебе погибнуть или положить конец этим бесчинствам... Обещай мне то же!

— Не обманывай себя, все эти клятвы бесполезны. Их давали в этом доме женщины, более тебя ненавидевшие здешние порядки, женщины храбрые, с огромными связями... и ближайшие подруги не сдержали своих клятв. Поверь моему горькому опыту, клятвы наши — пустой звук, на них нельзя полагаться...

IV. Итак, ты не устаешь поражаться, что явления грязного и даже мерзкого свойства могут вызывать в наших самых чувствительных органах возбуждение, доходящее до исступления. Но прежде чем этому удивляться, нужно осознать, что объекты имеют в наших глазах только ту ценность, которой их наделяет наше воображение. Если следовать этой непоколебимой истине, то, возможно, самые неожиданные, иногда даже самые отталкивающие и отвратительные вещи могут оказывать на наши чувства сильное воздействие. Воображение есть одна из способностей человеческого духа, в котором через посредство органов чувств отображаются предметы, на основе чего затем образуются идеи. Воображение, само будучи результатом устройства конкретного человека, тем или иным способом просеивает воспринятые объекты, создавая идеи на базе следствий, связанных с потрясением от их восприятия. Приведу одно сравнение, облегчающее понимание сказанного. Не знаю, приходилось ли тебе видеть разной формы зеркала, одни из которых уменьшают предметы, другие — увеличивают, одни делают их уродливыми, другие — прелестными? И ты думаешь, что если бы каждое из подобных зеркал, наряду со способностью к объективному отражению, обладало еще и творческой способностью, оно, как и человек, который в него смотрится, не фиксировало бы разные изображения одного и того же че-

ловека? И может ли быть портрет независим от способа восприятия оригинала? А если бы к двум способностям, которыми мы только что наделили наше зеркало, оно обладало еще и чувствительностью, разве оно не питало бы к человеку, отразившемуся в нем тем или иным способом, нечто вроде чувства, доступного ему в отношении воспринятого объекта? Тогда зеркало, в котором бы он отражался прекрасным, любило бы его, а зеркало, в котором он представал бы безобразным, его ненавидело, а между тем это был бы один и тот же человек.

Таково людское воображение: один и тот же объект предстает в нем в стольких формах, сколько есть видов воображения, и в зависимости от воздействия, полученного от объекта, оно (воображение) определяет себя как любящее или ненавидящее его. Если при восприятии объект воздействует на него благоприятным образом, оно его любит и оказывает ему предпочтение, пусть даже в самом этом предмете нет ничего приятного. Но если объект — какой бы ценностью он ни обладал в глазах другого, — подействовал на фантазию неприятным образом, она отвернется от него, ибо все органы чувств образуются и действуют в зависимости от их влияния на воображение. В свете сказанного нет ничего удивительного в том, что то, что положительно нравится одним, у других может вызывать отвращение и, напротив, у чего-то из ряда вон выходящего могут оказаться сторонники... Есть ведь такие зеркала, в которых и безобразный человек будет выглядеть прекрасным.

Если допустить, что чувственное наслаждение всегда находится в зависимости от воображения и им упорядочивается, надо ли удивляться тому, что воображение вносит в наслаждения большую вариативность, или тому огромному множеству вкусов и страстей, которое порождается различными фантазиями. Вкусы с уклоном в сладострастие должны поражать не больше, чем страсти банальные. Нет причины находить ту или иную любовную фантазию необычной, соответствующей гастрономической фантазии: как в том, так и в другом случае непомерное обожание того, что огромное большинство находит отвратительным, должно удивлять не более, чем любовь к тому, что всеми признается достойным. Единодушие доказывает единообразие в строении органов, но ничего не говорит в пользу любимого объекта. Пусть три четверти жителей земли считают запах розы очень приятным: это не может служить доказательством того, что оставшаяся четвертая часть заслуживает осуждения за неприятие этого запаха, или того, что этот запах является приятным по своей природе.

Так что хотя склонности отдельных людей шокируют застарелые предрассудки, их наличию отнюдь не следует удивляться: эти люди нуждаются не в увещеваниях, не в наказаниях, но в том, чтобы их склонности удовлетворялись, чтобы на их пути сметались все препятствия. В противном случае справедливость не восторжествует. Обладать или не обладать той или иной причудливой склонностью от них зависело не более, чем от вас самих зависит быть умным или глупым, хорошо сложенным или горбатым. Органы, которые делают нас восприимчивыми к разного рода фантазиям, образуются еще в материнском чреве; первые услышанные нами речи направляют эту энергию в определенное русло — и вот наши склонности уже сформировались, и ничто в мире не может их уничтожить. От воспитания в этих делах мало что зависит, и кому на роду написано стать негодяем, станет им несмотря на то, насколько хорошее образование ему удалось получить; точно так же тот, кто предрасположен к добру, будет стремиться к добродетели в любом случае, даже если у него был плохой воспитатель. В обоих случаях действия определяются строением органов и оттисками, запечатленными в них природой: поэтому первый из них не более достоин наказания, чем второй — вознаграждения.

Когда речь идет о вещах второстепенных, мы, как это ни странно, принимаем различие склонностей как должное, но как только дело заходит о сладострастии, дело почему-то принимает иной оборот. Женщины всегда ревниво стоят на страже своих прав, охранять которые побуждает их слабость; постоянно опасаются чего-то лишиться, а если некто, к своему несчастью, прибегнет для получения наслаждения к процедурам, которые затрагивают их культ, вот вам и преступление, достойное эшафота. Справедливостью здесь и не пахнет. Почему чувственное удовольствие должно делать человека лучше, чем другие жизненные удовольствия? Должны ли, одним словом, наши склонности возлагаться исключительно на алтарь продолжения рода, а не на части тела, противоположные ему или наиболее удаленные от него? Мне кажется, нужно не более удивляться тому, что человек идиосинкратичен в плотских удовольствиях, чем в отправлении всех других жизненных функций. Повторяю: во всех этих случаях его идиосинкразии являются результатом строения органов. Разве он виноват, если то, что волнует вас, на него не воздействует, а воздействует то, что кажется отталкивающим вам? Какой человек — будь он хозяином своих склонностей — не исправил бы их тут же по

общей мерке и вместо того, чтобы проявлять своеобразие своих вкусов, не предпочел бы быть как все? Жестоко наказывать такого человека — верх варварства и нетерпимости. Вина его по отношению к обществу не больше, чем вина кривого или горбатого от рождения; наказывать или высмеивать такого человека — все равно что обижать горбуна. Человек с отклоняющимися вкусами это, если угодно, больной, как женщина, страдающая истерическими припадками. Приходило ли комунибудь в голову наказывать больного или истеричку? Так будем столь же справедливы к человеку с идиосинкратическими вкусами, ведь он, подобно больному и истеричке, достоин жалости, а не порицания.

Таково оправдание этих людей в моральном плане. Думаю, что не составит труда найти аргументы в их защиту и в плане физическом: когда получит дальнейшее развитие анатомия, она установит связь между строением человека и его наклонностями. Что в таком случае будете делать вы, педанты, палачи, судейские чиновники, законодатели, лица духовного звания? Во что превратятся ваши законы, ваша мораль, ваша религия, ваши виселицы, ваш рай, ваш Бог, ваш ад, когда будет научно доказано, что того или иного истечения жидкостей, строения волокон, густоту кровяных телец или животных духов достаточно, чтобы человек стал предметом вашего наказания или поощрения? »

В наш век обнаружился обостренный интерес историков к проблеме разрушительного и агрессивного в человеке. Он был обусловлен тем, что насилие стало все чаще прорываться в отношениях между людьми и народами. В истолковании этого сразу обозначились все противоположные точки зрения.

Одни ученые пришли к выводу, что разрушительное в человеке восходит к досознательному, докультурному, животному. В ходе исторической эволюции человек, мол, изо всех сил пытается преодолеть то, что досталось ему от природы.

Другие ученые, напротив, полагают, что пароксизм разрушительства коренится вовсе не в инстинктах. Именно культура враждебна природе. Она выработала целую систему всевозможных табу, подавляющих естественные, живые страсти. До определенного времени эти ограничения еще как-то позволяют человеку сохранить себя. Но наступает предел, когда социальность буквально душит спонтанные стихийные влечения индивида. И тогда в нем просыпается агрессивность, неодолимое желание сбросить с себя ярмо запретов.

В зависимости от облюбованной позиции некоторые исследователи обнаруживали интерес к человеческой природе, к изучению человеческих потребностей и влечений. Все человеческое обладало для них безоговорочным приоритетом. Что касается социальности, то она анализировалась только критически, как узда, набрасываемая на стихийность, спонтанность человека. Иные, напротив, именно в развитии культурных форм усматривали источник прогресса. Они пытались умозрительно сконструировать человеческие связи, в которых страсти человека выглядели бы предрешенными...

Известный французский социалист-утопист Шарль Фурье (1772-1837 гг.) принадлежит к числу тех мыслителей, которые пытаются подсказать человечеству идею жизнеустройства. В работе «Новый любовный мир» он доказывает, что и страсти человека подлежат формовке...

ШАРЛЬ ФУРЬЕ

Новый любовный мир

«Для того, чтобы удовлетворить наклонности всех возрастных групп и доставить им совершенно новые удовольствия в любви, я должен по всем пунктам опровергнуть предрассудки цивилизованного[1] состояния, чьим следствием является порядок вещей, при котором невозможно реализовывать различные вкусы. Так что сам читатель заинтересован, чтобы я вооружился против него и его предрассудков, перенеся его в новый мир, в мир, где неслыханные до сих пор установления породят новые удовольствия для всех возрастов и полов. Повторяю, провозгласить это условие — в интересах самого читателя. Мое же дело это выполнить.

Прежде всего важно избежать догматического тона в делах любви. Этот предмет, однако, столь запутан, смесь предрассудков и философии насадила здесь такое количество заблуждений, что для того, чтобы вернуть людей к природе, нужны особые усилия. Но следует учесть, что каждый является врагом предрассудков, на которые я собираюсь напасть, ибо их устранение наделило бы всякого благами, которых он желает. В силу всего этого читатель должен заранее принять сторону моего учения и хотеть своего собственного поражения.

Нам предстоит разобраться и вынести решение в весьма затянувшейся тяжбе: мы имеем в виду спор любви чувствен-

[1] Т.е., по Фурье, буржуазного.

ной и идеальной. Все единодушно отдают пальму первенства второму виду любви, но невольно получается так, что побеждает все-таки любовь чувственная; осуждаемая в теории, она господствует на практике. Поэтому поэт Бернар был совершенно прав, обращаясь к нашим красавицам с такими словами: «Если вас попросят выбрать между Гераклом и Адонисом, вы покраснеете, но выберете Геракла».

Материальная любовь по рангу уступает первенство любви идеальной, но ее можно сравнить с визирем, власть которого больше власти самого султана. Такое положение не соответствует цели природы, стремящейся к равновесию двух компонентов любви: чувственного и сентиментального. Нам предстоит изложить законы этого равновесия, от которых пользы куда больше, чем от воображаемых законов равенства, не доказывая ни один из них, нас потчует политика. Мы еще и до половины не познали сентиментальную любовь, сущность которой постигли, как им кажется, романисты и влюбленные. Нам не известны самые феерические повороты, на которые способна любовь этого рода, и вскоре мы откроем в ней наслаждения, столь же новые и столь же девственные, как рудники Колоса к моменту прибытия европейцев.

Удовольствия при режиме гармонии — государственное дело

Этот предмет представляется легкомысленным цивилизованным людям, которые относят любовь к числу явлений бесполезных и провозглашают ее, ссылаясь на авторитет Диогена, праздным занятием. Они признают любовь только как гарантируемое конституцией удовольствие, освященное брачным обрядом. Иначе обстоит все при гармонии[1], где удовольствия становятся государственным делом, частью целенаправленной политики; там по необходимости придают большую важность любви, которая справедливо занимает в числе удовольствий первое место. Речь идет о том, чтобы обеспечить наслаждение любовью лицам всех возрастов, а не только тем, кто пользуется ею в настоящее время в расцвете сил. Решение этой необыч-

[1] Т.е., по Фурье, новый гармонический строй, в котором должны развернуться все человеческие способности.

ной проблемы потребует от нас некоторого напряжения мысли, но не стоит пугаться нескольких шипов, если речь идет о новом устройстве любовного мира. Кроме того, на этом пути нас будут ждать не тернии, а всего лишь ученые споры, скорее приятные, нежели утомительные.

В теории любви, как и во всех других теориях, цивилизованным людям, преисполненным самодовольства при ничтожности их реальных успехов, без труда удается убедить себя, что они достигли максимальных познаний. Впрочем, этому эгоизму поддались не все, о чем свидетельствует Жан-Жак Руссо, один из самых умелых живописцев любви, заслуживающий в этом плане определенного доверия. Воображение нарисовало ему виды любви более чистые, чем те, которые реально существуют в цивилизованных обществах. Если Руссо их не обнародовал, то, по крайней мере, сумел их предвосхитить — и в этом его заслуга; в этом смысле он превосходит Сервантеса, который, высмеяв сентиментальную любовь как некий вздор, способствовал удушению одного из самых распространенных видов страстного влечения, какие породила современная цивилизация: селадонизма[1].

По правде говоря, этим видом влечения беззастенчиво злоупотребляли. Прикрываясь возвышенными чувствами, странствующие рыцари занимались распутством самого низкого свойства, а иногда даже насилием. Тем не менее, очевидно, что присущее им маниакальное стремление к сентиментальной экзальтации было глыбой драгоценного камня, из которого умелый резчик мог бы изваять нечто весьма внушительное. Цивилизации не удалось найти ключа к этой загадке, и, удушив в зародыше этот вид влечения, Сервантес, вероятно, оказал услугу своему времени, но он поступил бы куда лучше, если бы послужил всем временам, исследовав, какие новые формы способен принять селадонизм или чистая (платоническая) любовь. Покажется удивительным, что эти формы любви осложняются полигамией и омнигамией (являющимися с точки зрения морали смертными грехами), но противоположности, как известно, сходятся.

---

[1] Неологизм Фурье, производный от имени героя известного романа. — *(Примечание переводчика).*

Полное удовлетворение в плане материальном — единственное средство возвышения чувств

Поскольку природа стремится к равновесию двух компонентов любви, плотского и идеального удовольствия, принижать материальное — называемое цинизмом, вожделением и похотью — значит, оказывать делу чувства плохую услугу. Я сказал бы, что чистая любовь — то, что называется чувством, — есть не более чем греза или лицемерие у тех, кто не удовлетворен в материальном плане; чувство нельзя возвести в превосходную степень иначе, как посредством полного удовлетворения материальной стороны любви. Эта поправка, против которой, я полагаю, не станет возражать ни одна женщина, откроет нам совершенно новые способы использования сентиментальной связи, значительно превосходящие все то, что изобрело воображение романистов.

Начнем с констатации того, что при цивилизации эта связь не существует вообще. Одного этого зияния, если оно будет доказано, достаточно для того, чтобы лишить силы все теории цивилизованных людей по поводу любви.

Для начала дадим краткие определения пяти порядков любви:

1) простой или радикальный порядок (сочетание простого материального и простого сентиментального);

2) сложный или сбалансированный порядок (включающий в себя два элемента любви);

3) полигамный или трансцендентный порядок, относящийся к множеству союзов сложной любви;

4) омнигамный или унитарный порядок (включающий в себя сложные или особенно распущенные оргии, явления, цивилизации неизвестные);

5) двусмысленный или смешанный порядок, включающий в себя виды (любви), к настоящему времени вышедшие из употребления.

В этой классификации нет ничего произвольного, она отражает поступательное развитие природы. Нам известны лишь два первых порядка, а легально мы признаем исключительно второй порядок.

Наши обычаи не допускают на законном основании ни чистого селадонизма, ни чистого цинизма. Законодательно у нас утвержден только второй порядок или предполагаемая смесь материальной и духовной связи. Оба эти вида связи освяща-

ются конституцией и религией в форме брачных уз, в которых часто видят не более как материальную связь.

Третий и четвертый порядки у нас не допускаются. Полигамия разрешена пятистам миллионам варваров, но распространяется только на мужчин; им равным образом разрешена и омнигамия или оргия, потому что любой варвар имеет право предаваться наслаждению хоть с двадцатью купленными им женщинами. В гармонии используются все пять порядков — простой, сложный, полигамный, омнигамный и смешанный — и нам предстоит подумать о том, как все эти порядки установить и гарантировать применительно ко всем женщинам и мужчинам как в любви, так и в любой другой страсти.

Лишение или страх лишения необходимого минимума материального удовлетворения, доводя до крайности тайное сладострастие женщин, извращает их суждения обо всем, что связано со страстью и сентиментальной любовью. Несмотря на инстинктивное стремление к любви, они имеют на этот счет расплывчатые и искаженные представления: внешне поддерживая культ чувства, они косвенно освящают тиранию материального начала. Известно, насколько лишение какого-либо наслаждения или запрет на него усиливают стремление к нему и делают неспособным судить о том, каким правилам надлежит следовать при его достижении. Не случайно такая приманка, как обильное пиршество и крепкие напитки, заставляют изголодавшуюся чернь терять всякие представления о чести и увлекают ее на путь преступлений. Как же наши дамы, приученные с момента полового созревания получать чувственные удовольствия втайне, могут не испытать на себе этого влияния и не заразиться предрассудками, делающими их неспособными отличать материальное начало от сентиментального? Именно это я хочу продемонстрировать в кратком трактате о трансцендентном использовании чистой любви, т. е. о предмете, который считался изученным до конца, но к которому, на самом деле, еще даже не приступали.

Поскольку этот спор рассчитан на женщин, я постараюсь сделать его доступным для их понимания. Не сомневаюсь, что они простят суровость моей критики, ибо в основе ее — необходимость обеспечить им все материальные наслаждения с целью исправить их суждения и укрепить их души во всем, что касается чувств.

Сквозь всяческие ложные принципы просматривается вполне похвальное устремление, а именно сплав религиозного духа с любовью. Причем с любовью, входящей в компетенцию одного лишь Бога, следовательно, выходящей за пределы законодательства, создаваемого людьми. Так, никакая суеверная догма не может побуждать женщин раскрывать на исповеди свои любовные похождения, о которых они говорят «тайна женщины есть тайна Божья». К сожалению, оказывается, что Божья тайна не совпадает с тайнами женщин, для которых остается загадкой то, к чему побуждает их Бог в любовных делах. Они имеют столь смутное представление о своем предназначении, что повсеместно позволяют распускать слухи о своем непостоянстве, защищая себя в этом вопросе наихудшим образом. Стоит им дать себе немного труда изучить выдвигаемое мной положение о трансцендентном чувстве, как они удостоверятся, что самые возвышенные виды любви ... как правило, неотделимы от столь раскритикованного непостоянства. Вооружившись этой новой теорией, женщины смогут, наконец, заткнуть рот молодым и старым болтунам, которые неустанно упрекают женщин за их непостоянство, забывая, что это обвинение само по себе абсурдно, поскольку неизбежно затрагивает одновременно оба пола, — ведь один из партнеров не может проявлять непостоянство без помощи другого. Для того, чтобы с основанием обвинять в непостоянстве один из полов, нужно допустить существование, как минимум, трех полов.

То есть цивилизованные люди веками благодушно утверждают мнения совершенно абсурдные и лишенные смысла настолько, что даже желторотый житель гармонии не удостоил бы их и минутного обсуждения: ему бы сразу стало ясно, что непостоянство женщин лишь доказывает такое же непостоянство и мужчин. А обвинение, распространяющееся на весь род, на самом деле падает на непоследовательных краснобаев, которые в качестве упрека человечеству выдвигают то, что составляет природу человека: обвинять род человеческий в непостоянстве — все равно что упрекать лань в том, что она предпочитает обитать в лесу. Почему, собственно, ей там не обитать, если она создана для этого?

Поскольку мужчинам нравится женское непостоянство и они нашептывают об этом на ухо женщинам, то любой хорошенькой особе на одного обладателя, мужа или любовника, призывающего ее к верности, приходится двадцать соискателей-претендентов на нее, склоняющих ее к неверности (точно так же поступал и ее муж в отношении двадцати женщин до

нее); не подлежит сомнению, что девятнадцать-двадцать любителей амурных похождений в расцвете сил, т.е. в возрасте от 25 до 30 лет, поощряют неверность и что женщины должны изменять, чтобы привести свое поведение в соответствие с поведением мужчин, с их тайным подстрекательством к неверности, столь разительно отличающимся от их публичного лицемерия и напыщенного морализма, над которыми они сами же втайне смеются. Следовательно, на самом деле непостоянство относится к природе человеческой, поэтому его надлежит любить не просто как участь всех (за редкими исключениями), но и как залог самых возвышенных добродетелей. В части четвертой будет доказано, что в гармонии непостоянство в любви становится знаком возвышеннейших социальных добродетелей.

Чтобы дать представление об этом предмете, приведу пример, когда любовь сильнейшим образом отклоняется от цели страстей, состоящей в образовании связей и их максимальном расширении. В каждом городе или кантоне есть, как правило, лицо мужского и лицо женского пола, чья совершенная красота возбуждает едва ли не всеобщее вожделение и многие из известных страстей. Нарцисс и Психея являются лучшими украшениями города Гнида, множество сограждан домогается их и можно привести имена, по меньшей мере, двадцати жителей Гнида, которые испытывают явную страсть к Психее, и стольких же жительниц этого города, которые пылают аналогичной страстью к Нарциссу.

В соответствии с законом цивилизации Психея должна принадлежать исключительно своему целомудренному супругу, а Нарцисс — не менее целомудренной супруге. Но закон притяжения (по страсти) дает иной расклад. Он гласит, что милостями Нарцисса и Психеи хотели бы пользоваться двадцать пар влюбленных. Итак, если при распределении притяжений Бог не руководствуется произволом, он должен изыскать средство удовлетворить сорок людей, которые испытывают желание к Психее и Нарциссу, причем удовлетворить их честным путем, возбудив взаимный энтузиазм и сентиментальное обаяние, без которого нельзя обойтись в гармонии, во всем стремящейся к равновесию материального и духовного. Короче, нужно найти средство, позволяющее прекрасной супружеской паре, не теряя достоинства, вступить в связь с еще двадцатью парами, которые питают к ней желание. Ведь если до-

биться этого недостойным образом, исчезло бы духовное и сентиментальное очарование, а без этих элементов любовная связь превратилась бы в чисто материальную, в разновидность грубого, только животного наслаждения. Нужно же, напротив, чтобы возбуждающая желание пара, вступая в связь, вызывала самый возвышенный энтузиазм...

Задача действительно непосильная для цивилизованных умов. Стремясь найти ее решение, они разродятся одной и той же нелепостью, гласящей: если Психея по очереди отдастся двадцати мужчинам, она превратится в презренную проститутку в глазах тех же влюбленных, которым она уступила, она станет позором и отбросом Гнида. Поэтому нужно, чтобы она выбрала одного из этих двадцати. Что же касается девятнадцати остальных, им придется поискать себе другой предмет любви.

Ручаюсь, что такой ответ дадут все наши Эдипы. Но им надо еще примирить свое мнение с тремя действующими причинами, с Богом, с моралью и с самими собой.

1. *С Богом.* Он распределил притяжение таким образом, чтобы это было приятно всем, а не фрустрировало и не унижало их. Если Психея отдаст предпочтение одному из двадцати претендентов и сохранит ему верность, ожидания девятнадцати остальных будут обмануты. Следовательно, выявится непоследовательность Бога, сделавшего (в данном случае) любовный соблазн в двадцать раз более сильным, чем это нужно для всеобщего удовлетворения. С другой стороны, если Психея удовлетворит всех двадцать влюбленных в нее мужчин и в благодарность за свои благодеяния пожнет лишь общее презрение, Бог докажет свое утонченное недоброжелательство тем, что наделил притягательность властью предать позору ту, что наилучшим образом ее удовлетворяет, и пожрать на глазах двадцати претендентов предмет их удовлетворенной страсти.

2. *С моралью.* Она противится тому, чтобы Психея остановила свой выбор на одном из двадцати воздыхателей, ибо, согласно философии, благородная девица должна подчиняться в вопросах любви воле своего любимого отца и любимой матери. В результате Психее придется выйти замуж за какого-нибудь престарелого прокурора, на совести которого немало преступлений, только потому, что он, благодаря своему богатству,

сумел заручиться благорасположением ее почтенных родителей. Что же касается двадцати влюбленных, им не останется ничего иного, как рукоплескать этому браку, чтобы не навлечь на себя обвинения в безнравственности, и остерегаться бросить на Психею хоть один вожделеющий взгляд, следуя священной заповеди, которая гласит: «Не возжелай быка ближнего своего, ни его жены, ни его осла».

3. *С самими собой.* Каждый презирает женщину, которая уступила двадцати мужчинам, тогда как сам он в период своей молодости пытался соблазнить двадцать, а может быть, и сто женщин; причем от этого он отнюдь не перестал относиться к себе с уважением. Между собой мужчины превозносят того, кто соблазнил наибольшее число женщин, так что если Нарциссу удалось бы тайком и без огласки вступить в связь с двадцатью влюбленными в него женщинами, он составил бы себе репутацию милого повесы. Странная непоследовательность! Один и тот же образ действий находят «милым» у одного пола и «отвратительным» у другого, хотя женщины вынуждены вести себя таким образом в силу того, что таково поведение мужчин. Ведь мужчины не могут (если, конечно, это не гарем) последовательно вступить в связь с двадцатью женщинами без того, чтобы эти женщины не вступили в связь с двадцатью мужчинами.

Эта непоследовательность цивилизованных людей доставляет нам одно весьма ценное наблюдение: она доказывает, что общее мнение наполовину одобряет образ действий, который я собираюсь описать (любовь разных степеней), и что гармония будет куда более последовательной, достраивая его до целого, поскольку терпимость к многообразию проявлений любви у одного пола вынужденно подталкивает к подобному же поведению и другой пол.

Перейдем к изложению существа проблемы. Я уже предупреждал, что это потребует некоторого напряжения мысли...

Ошибочность представления о любви цивилизованных философов связана с тем, что их спекуляции в этом вопросе касались исключительно парной любви: в силу этого они и пришли к одному и тому же результату, каковым является эгоизм, неизбежное следствие ограниченности парной любви. Поэтому в размышлениях об освобождающих эффектах люб-

ви следует основываться на ее коллективном отправлении, и именно по этому пути я намереваюсь следовать. Иначе пе было бы никакого средства побудить Психею и Нарцисса вступить в отношения с двумя другими лицами: это означало бы двойную неверность, страсть отталкивающую и отвратительную. Но я могу доказать, что если каждый из них будет отдаваться множеству искателей при определенных условиях, применимых также в цивилизации, в глазах публики, искателей и своих собственных оба они превратятся в образец добродетели, результатом чего будет всеобщая связь, в том числе связь с публикой, влюбленной менее, чем искатели, но охваченной таким же энтузиазмом при виде филантропической жертвенности, проявленной ангелической парой.

Не нужно спешить ничего предрешать в этом вопросе, пока не познаны необычные побуждения, действующие при этом. В гармонии найдутся средства облагородить все, что может благоприятствовать мудрости или приращению богатств, добродетели или расширению социальных связей; и гармония же дискредитирует то, что делает жизнь людей беднее и ведет к сокращению числа связей.

Итак, вступая в связь с двадцатью лицами, пылающими к ним страстью, Психея и Нарцисс способствуют прогрессу мудрости и добродетели. Необходимо, чтобы эта связь была священной в глазах всего общества, чтобы она протекала в максимально облагороженных формах, прямо противоположных развратным оргиям цивилизованных.

Какими причинами может быть продиктована благосклонность Психеи и Нарцисса, чем будет облагорожена приносимая ими жертва? Такова проблема ангелической связи; она поможет нам понять то, каким образом благодаря воздействию чистой любви и утонченности чувства трансцендентного, возлюбленные, прежде чем соединиться друг с другом, вступят в телесную связь с теми, кто проявил к этому пылкое желание, добившись этим актом любовной филантропии блеска, не уступающего тому, каким цивилизация окружает Дециев, Регулов и других религиозных и политических мучеников.

Только что поставленная мной проблема трудноразрешима для всех. Есть ли такой город или такой кантон, где не было бы своей Психеи, к которой пылают страстью двадцать мужчин, и своего Нарцисса, составляющего предмет обожания двадцати женщин? Добавим, что Деции любви, благородным порывом побуждаемые отдаться всем искателям, не должны принимать в соображение их возраст и красоту; они будут счи-

тать для себя честью оказать милость как дряхлому старику, так и зеленому юнцу.

Нужно показать, что в любви, как и в других страстях, человеческая природа имеет не простой, а сложный характер, что она обладает свойством формировать из одного и того же зародыша нечто благое — благородный тип в его прямом развитии, и нечто дурное — извращенное развитие отвратительного свойства. Приведу здесь свое обычное сравнение гусеницы и бабочки, развивающихся в разных направлениях из одной и той же куколки. Это сравнение помогает ориентации и его надо постоянно держать в уме, чтобы приучить себя осмыслять каждую страсть в ее двойном развитии, прямом (благородном) и обратном (отталкивающем). Поскольку мы живем при механизме цивилизации, любовь, как и другие страсти, подчинена перевернутому механизму или состоянию нравственной гусеницы с его лживостью, эгоизмом или другими отвратительными свойствами. Об этом можно судить по состоянию интересующей нас проблемы. Разве мнение по этому вопросу не является свидетельством крайнего эгоизма? Каждый из двадцати воздыхателей Психеи хочет ею насладиться и вместе с тем хочет, чтобы она была обесчещена, если окажет милость девятнадцати остальным. Но разве он обладает на нее большими правами, чем эти остальные? Ведь они все ее одинаково любят. Каждый из них красотой не уступает ему, а возможно, и превосходит его заслугами и правом на обладание Психеей. По справедливости, она должна относиться к другим так же, как к нему, и если она согласится одарить их всех своей благосклонностью, она будет в 20 раз щедрее, а они — в 20 раз несправедливее и отвратительней.

На это каждый из искателей отвечает: моя природа говорит мне, что Психея поступит гнусно, отдавшись девятнадцати другим претендентам, я хочу, чтобы она принадлежала исключительно мне. Но того же самого хочет каждый из двадцати. Как же вас всех удовлетворить? Нужно, видно, по приговору Соломона, разрезать ее на 20 частей, каждая из которых перейдет в полное владение каждого из вас. «Но нет, я хочу ее целиком и только для себя». Так же и каждая из претенденток на Нарцисса хочет его только для себя. Вот она, справедливость цивилизованных: они не сумели в любви подняться до чего-то более возвышенного, нежели чистый эгоизм, самая гнусная из всех страстей, и после этого еще хвалятся своей способностью к совершенствованию...

Мы наделяем любовь именем божественной страсти. Но как же тогда получается, что страсть, которая делает нас равными Богу и в некотором смысле дает нам приобщиться к его сущности, ввергает нас в крайний эгоизм и несправедливость? Бог был бы пределом эгоизма, если бы действовал, как приведенные выше влюбленные, желающие быть единственными обладателями блага, которое Психея соглашается разделить между ними. Допустим, некий милосердный человек, Дамон, хочет раздать 20 экю двадцати беднякам. Что подумал бы он об этих несчастных, если бы каждый из них предложил ему исключить девятнадцать остальных и отдать всю сумму только ему одному? Он ответил бы им: вы все — эгоисты и не только не заслуживаете всей суммы, но одной двадцатой ее, которую я намеревался вам дать; я не дам вам ни единого обола.

Мы, без сомнения, стали бы рукоплескать такому решению Дамона и наказанию, которое он назначил этим жадным нищим. И каково было бы наше удивление, если бы каждый из этих бедняков по очереди заявил следующее: этот Дамон — ужасный человек, мерзавец самого последнего разбора; кроме меня, он, видите ли, хочет подать милостыню девятнадцати моим товарищам. Нас, конечно, возмутило бы подобное бесстыдство. Наконец, если бы после уговоров Дамон их простил и роздал им 20 экю, они, приняв эту милостыню, принялись бы... изрыгать на него оскорбления и называть презреннейшим из людей. Каково было бы наше негодование на этих двадцать разбойников, являющихся тем не менее точным слепком с наших двадцати влюбленных с их притязаниями на исключительное обладание...

Допустим, Психея и Нарцисс влюблены друг в друга. Они самые красивые молодые люди в Гниде, так что сорок претендующих на них мужчин и женщин находят вполне нормальным, что они отдают друг другу предпочтение. Однако, если, следуя непостижимому при наших нравах порыву, Психея и Нарцисс согласятся принадлежать друг другу лишь после того, как вступят в связь по очереди с каждым из двадцати соискателей, благородное самопожертвование двух влюбленных, лишающих себя близости ради друзей, станет столь же почетным, сколь презренна обычная проституция. Но какие, собственно говоря, мотивы могут побудить наших влюбленных принести себя в жертву удовольствию сограждан? Это и будет объяснено при разборе степеней любви или чистого чувства в высшей степени. А до этого признаем, что современной любви чужда эта прямая и либеральная направленность и она разви-

вается в прямо противоположном, эгоистическом направлении. Об этом будущем нововведении мы рассуждаем как десятилетний ребенок, утверждающий, что, ухаживая за женщинами и девушками, его старший брат поступает очень глупо и что гораздо большее удовольствие — играть мраморными шариками; такому ребенку обычно отвечают, что когда ему будет 20 лет, он запоет по-другому и будет предпочитать дам своим детским играм, на что он только улыбается снисходительной улыбкой неведения, вызывающей и у взрослых улыбку снисхождения. Столь же мало понимают в этих делах цивилизованные люди, кичащиеся своей эгоистической любовью. В ней, не спорю, есть свое очарование, и немалое, но, зная неизвестную им теорию эволюции, я вправе заверить их, что гармония посеет семена либерализма в вопросах любви, которые будут развиваться в направлении, противоположном развитию наших нравов. Это даст ангелическим парам и тем, с кем они вступают в связь, возможность вкусить возвышенного и святого опьянения, высокого сладострастия, столь же превосходящего наш нынешний эгоизм, сколь очарование юношеской любви превосходит игры десятилетних мальчишек.

А если добавить, что в устройстве, которое я собираюсь описать, эгоистическая или цивилизованная любовь будет разрешена всем на совершенно законном основании, станет очевидным, что новое устройство, вводящее зародыш всеобщей связи и удовлетворения, является воистину божественным устройством, и что мы жестоко ошибались, принимая за божественную страсть современный модус любви или исключительную, нелиберальную любовь, склонность чисто человеческую, исполненную эгоизма и отмеченную печатью порока, свидетельствующую об отсутствии божественного духа».

Эта статься Фурье впервые была напечатана в 1967 году в парижском издательстве «Антропос», где вышел седьмой том сочинений философа. Выпуск ее через полтора века после того, как она была написана, оказался сенсацией. Ведь исследователи были убеждены, что рукопись сгорела во время пожара в библиотеке Эколь Нормаль. На самом деле работу хранили ученики великого мыслителя, полагая, что она вступает в разлад с его основным учением. Ведь он в основном пытался регулировать промышленные и общественные связи, а тут приступил к наладке человеческих чувств...

На самом деле у Фурье нет никаких противоречий. Нам, прошедшим через опыт антиутопии (Евгений Замятин, Джордж Оруэлл и другие), известно,

что, пытаясь навязать человечеству принудительное счастье, обязательно начинают подавлять неодолимые возгласы плоти. Стоит только вывести законы многообразных притяжений, в основе которых лежит страсть, как любовные отношения людей будут «упорядочены». Наступит гармония любовного мира, в которой плотские страсти будут вообще отодвинуты. Зато воцарятся безгрешная любовь, эротика, рожденная трудовым энтузиазмом, и бесполезное волокитство пожилых селадонов.

Так надо ли было жечь де Сада?.. Об этом размышляет французская писательница Симона до Бовуар. Это ей принадлежат прекрасные романы об абсурдности мира.

СИМОНА ДЕ БОВУАР

Надо ли жечь Сада ?

1. «Властный, холеричный, доходящий до крайности во всем, величайший из распутников, атеист до фанатизма. Вы заперли меня в этой клетке, но убейте меня или примите таким как есть, потому что я не изменюсь...» Они предпочли убить его: сначала скукой тюрьмы, потом нищетой и, наконец, забвением. Память о Саде была искажена многочисленными выдумками, само его имя погребено под грузом таких слов, как «садизм» и «садистский». Его частные записки потеряны, рукописи сожжены, книги запрещены. Хотя в конце XIX века несколько любознательных умов, в том числе Суинберн, проявили к нему интерес, только Аполлинер вернул ему место во французской литературе. Однако до официального признания еще далеко. Можно пролистать объемистые труды «Идеи XVIII века» или даже «Чувственность в XVIII веке» и не встретить его имени. Вполне понятно, что именно в ответ на это умолчание почитатели Сада объявили его пророком, предтечей Ницше, Фрейда, Штирнера и сюрреализма. Но этот культ «божественного маркиза», основанный, как и все культы, на ложном представлении, служит только его предательству. Критиков, которые относятся к Саду не как к злодею или идолу, а как к человеку и писателю, можно пересчитать по пальцам. Благодаря им мы вновь открываем для себя это имя.

Однако, каково же его истинное место? Почему имя маркиза де Сада заслуживает нашего интереса? Даже его поклонники с готовностью признают, что произведения его по большей части нечитабельны. Что касается его философии, то она не банальна только в силу непоследовательности автора. А что

до его грехов, то они не так уж оригинальны: в учебниках психиатрии описано множество не менее интересных случаев. Дело в том, что Сад заслуживает внимания не как писатель и не как сексуальный извращенец, а по причине обоснованной им самим взаимосвязи этих двух сторон своей личности. Его отклонения от нормы приобретают ценность, когда он разрабатывает сложную систему их оправдания. Сад старался представить свою психофизиологическую природу как результат этического выбора. В этом акте заключено стремление преодолеть свою отчужденность от людей и, может быть, просьба о помиловании. Только поэтому его судьба приобретает глубокий общечеловеческий смысл. Можем ли мы существовать в обществе, не жертвуя своей индивидуальностью? Эта проблема касается всех. В случае Сада индивидуальные отличия доведены до предела, а его литературные усилия показывают, насколько страстно он желал быть признанным обществом. Таким образом, в его книгах отражена крайняя форма конфликта между человеком и обществом, в котором ни одна индивидуальность не может уцелеть, не подавляя себя. Это парадокс и в известном смысле триумф Сада.

Для того, чтобы понять развитие личности Сада, было бы полезно иметь точные и подробные сведения о его жизни. К несчастью, несмотря на усилия биографов, мы их не имеем. У нас нет даже его портрета, а описания современников крайне скупы. Говорят, что описание Сада Шарлем Нодье напоминает стареющего Оскара Уайльда, а также Робера де Монтескье, хочется видеть в Саде и черты барона де Шарлю. Еще более огорчительно, что мы почти ничего не знаем о его детстве. Если принять историю Валькура за автобиографический набросок, Саду в раннем детстве пришлось узнать немало зла и обид. Воспитываемый вместе с Луи-Жозефом де Бурбон, он, по-видимому, настолько яростно и грубо защищался от эгоистического высокомерия юного принца, что его пришлось удалить от двора. Возможно, его пребывание в мрачном замке Сомон и Эбревильском аббатстве оставило след в его воображении, но мы не знаем ничего значительного ни о кратких годах учения, ни о службе в армии, ни о начале его жизни в роли светского молодого человека и дебошира. Можно попытаться воссоздать историю Сада по его книгам; это сделал Пьер Клоссовский, который видит ключ к личности и произведениям Сада в его непримиримой ненависти к матери. Как бы то ни было, на основании некоторых общих рассуждений мы должны признать важную роль взаимоотношений Сада с родителями; детали

для нас недоступны. Из-за этого пробела правда о его личности никогда не будет открыта — любые объяснения будут иметь темные места, которые могли бы прояснить только подробности детства Сада.

Однако, как мы уже говорили, основной интерес для нас представляют не извращения Сада, а его способ нести за них ответственность. Он сделал из своей сексуальности этику; этику он выразил в литературе. И именно это сообщает ему истинную оригинальность. Причины его странных вкусов непонятны, но мы можем представить, как он возвел эти вкусы в принципы и почему довел их до фанатизма.

По внешним проявлениям Сад в возрасте двадцати трех лет был похож на всех молодых аристократов того времени. Он был образован, любил театр, искусство и литературу. Он славился расточительством, содержал любовницу и часто посещал бордели. Он женился по настоянию родителей на Рене-Пелаж де Монтрейль, дочери мелких аристократов, но имевшей хорошее приданое. Это было началом бедствий, преследовавших его всю жизнь. Женившись в мае, в октябре Сад был арестован за эксцессы в публичном доме, который он регулярно посещал. Причина ареста была достаточно серьезной, чтобы умолять начальника тюрьмы сохранить ее в секрете, иначе его жизнь будет безнадежно испорчена. Это обстоятельство заставляет предполагать, что эротизм Сада уже принял весьма компрометирующую форму. То же предположение подтверждается тем, что спустя год инспектор Марэ разослал содержательницам публичных домов предупреждение о нежелательности маркиза в качестве клиента.

Все эти происшествия связаны с очень важным моментом: в самом начале жизни взрослого человека Сад с горечью убеждается в том, что его личные удовольствия несовместимы с социальной жизнью.

В молодом Саде не было ничего от революционера или бунтаря. У него не было ни малейшего желания отвергать привилегии, дарованные ему происхождением, положением в обществе и богатством жены. Тем не менее все это не могло принести ему удовлетворения. Он хотел быть не только общественной фигурой, чьи действия регламентированы условностями и заведенным порядком, но и живым человеческим существом. Было только одно место, где он мог обрести себя в этом смысле, и это была не супружеская спальня, а бордель, в котором он мог купить право отдаться своим фантазиям.

Это было общей мечтой большинства молодых аристократов. Отпрыски идущего к упадку класса, некогда обладавшего реальной силой, они пытались символически, в обстановке спальни, вернуть к жизни статус суверенного деспота-феодала. Сад тоже жаждал иллюзии силы. «Чего хочет человек, совершающий половой акт? Того, чтобы все вокруг отдавало тебе свое внимание, думало только о тебе, заботилось только о тебе. Любой мужчина желает быть тираном, когда совокупляется». Подобного рода опьянение прямой дорогой ведет к жестокости; распутник, мучающий партнера, «вкушает все удовольствия, которые сильная натура находит в полном проявлении своей силы. Он подчиняет, он — тиран».

На самом деле отхлестать плеткой (по предварительному соглашению) нескольких девиц — не бог весть какой подвиг. И то, что Сад наполняет его таким значением, сразу наводит на определенные подозрения. Поражает тот факт, что за пределами своего «маленького домика» ему и в голову не приходило «полностью проявить свою силу». В нем нет ни тени амбиции, стремления к власти, предприимчивости, и я вполне готова допустить, что он был трусом. Симпатия, с которой он рисует Бланже, делает очень похожими на признание следующие слова: «Смелый ребенок мог ввергнуть этого гиганта в панику. ...он становился робким и трусливым, и одна только мысль о самой безобидной схватке, но на равных, обратила бы его в бегство на край света».

Он так много говорил о силе духа не потому, что ею обладал, а потому, что к ней стремился. Оказавшись лицом к лицу с несчастьем, он хныкал и впадал в уныние. Ужас перед нищетой, который постоянно его преследовал, был симптомом более глобального беспокойства, страха перед реальностью. Он не доверял всем и каждому, потому что ощущал собственную ненадежность. Он залезал в долги, он приходил в ярость без всякой причины и мог сбежать или пойти на уступки в самый неподходящий момент. Его не интересовал этот скучный и все же угрожающий мир. Когда он пишет, что «ревность подчиняет себе и в то же время объединяет все другие страсти», он дает точное описание своего собственного опыта. Эротизм кажется ему единственным возможным наполнением существования. И если он посвятил себя ему с такой энергией, таким бесстыдством и неистовством, то потому, что предпочел жить в мире воображаемом, потому, что придавал большее значение фантазиям, которыми опутывал акт наслаждения, чем ему самому.

В случае Сада скандал был, по-видимому, неизбежен. Возможно, единственным способом получить удовлетворение от своего тайного триумфа было сделать его явным. Он играл с огнем и считал себя хозяином положения, но общество, желавшее безраздельного господства над человеком, было начеку. Оно цепко ухватилось за его тайну и классифицировало ее как преступление.

Хотя первой реакцией Сада были стыд и раскаяние, он слишком ценил свои развлечения, чтобы их оставить. Вместо этого он решил избавиться от чувства стыда, бросив вызов обществу. Весьма примечательно, что его первая преднамеренная скандальная демонстрация имела место сразу после выхода из тюрьмы. Он приехал в свой замок в сопровождении любовницы, которая под именем мадам де Сад пела и танцевала перед прованской знатью.

Близкое общение с женой показало Саду, как пресна и скучна добродетель, и он восставал против добродетели со всей силой отвращения, которое только может испытывать существо из плоти и крови. Но с помощью той же жены он, к своему восторгу, обнаружил, как легко может быть поругано Добро в его облеченной в плоть форме. Жена не была для него врагом, но, как все жены, она воплощала в себе добровольную жертву и сообщницу. Отношения де Сада с маркизой, вероятно, нашли почти полное отражение в описании отношений Бламона с его женой. Бламон находит особое удовольствие в том, чтобы необыкновенно ласково обращаться с женой именно в те моменты, когда он лелеет в душе самые черные замыслы. Нанести удар, когда ожидают радости — в этом может заключаться одно из высочайших проявлений воли тирана, и Сад понял это за сто пятьдесят лет до психоаналитиков. Мучитель, замаскированный под влюбленного, наслаждается видом жертвы, преисполненной благодарности, принимающей жестокость за нежность. Несомненно, именно возможность соединения таких невинных наслаждений с выполнением социального долга позволила Саду иметь троих детей от жены.

Он и в дальнейшем имел приятную возможность наблюдать, как добродетель становится союзницей и прислужницей греха. Мадам де Сад прикрывала проступки мужа в течение многих лет. Она с большим искусством организовала его побег из тюрьмы, она поощряла его интригу с собственной сестрой, оргии в замке Ла Косте происходили при ее участии. Она зашла настолько далеко, что скомпрометировала себя, когда подложила серебро в вещи горничной, чтобы дискредитиро-

вать ее обвинения против маркиза. Сад никогда не проявлял ни малейшей благодарности, одно упоминание о таком свойстве, как благодарность, приводило его в бешенство. Но вполне возможно, что он чувствовал к жене своеобразное расположение, свойственное деспоту по отношению к своей безусловной собственности. Если Рене-Пелаж несомненно представляла собой большой успех Сада, то мадам де Монтрейль стала воплощением его поражения. Она была носителем абстрактной и универсальной справедливости, которая с неизбежностью противостоит индивидуальности. В лице тещи враждебное общество проложило дорогу в дом Сада, отравило ему удовольствия, и он отступил перед его мощью. Опороченный и обесчещенный, он начал сомневаться. Виновным становится только обвиненный человек, мадам де Монтрейль обвинила его и сделала из него преступника. Вот почему он никогда на переставал мстить ей в своих книгах — в ней он убивал собственную вину.

Но если Сад был в конце концов побежден своей тещей и законом, он сам внес немалый вклад в свое поражение. Какова бы ни была роль случая и его собственной неосмотрительности в скандале 1763 года, несомненно, впоследствии он стал видеть в риске и опасности дополнительный источник наслаждения. Он не зря выбрал день Пасхи, чтобы заманить нищенку Розу Келлер к себе в дом. Она сбежала избитая, испуганная и полураздетая, а Сад поплатился за это развлечение двумя короткими сроками тюрьмы, а в 1771 году снова попал в тюрьму, уже за долги. Немедленно вслед за этим он совратил свою юную свояченицу. Она была канониссой, девственницей и сестрой жены — все это придавало приключению особую пикантность. Однако он не оставил своих старых марсельских привязанностей и в 1772 году дело приняло неожиданный и угрожающий оборот. Маркиз сбежал в Италию со свояченицей, а в это время он и его лакей Латур были приговорены к смерти in absentia и их изображения казнены на городской площади в Эксе. Канонисса нашла убежище в одном из монастырей, где она и провела остаток жизни. А Сад спрятался в Савойе. Его поймали и заключили в замок Миолан, откуда он спасся с помощью жены. Однако отныне он стал преследуемым, он знал, что ему никогда не позволят вернуться к нормальной жизни. Тем с большим рвением он пытался воплотить в жизнь свои мечты. В замке Ла Косте он устроил небольшой, послушный его воле, гарем. С помощью маркизы он собрал коллекцию из нескольких красивых лакеев, секретаря — неграмотного, но

привлекательного, соблазнительной кухарки, горничной и двух молодых девушек, доставленных сводниями. Но его замок не был неприступной цитаделью «Ста двадцати дней Содома», он был окружен обществом. Девицы сбежали, горничная родила ребенка, чье отцовство она приписывала Саду, отец кухарки пытался его застрелить, а красавца-секретаря родители забрали домой. Саду снова пришлось убедиться в том, что реальный мир довольно трудно превратить в театр.

Мадам де Монтрейль, которая не могла простить ему падения младшей дочери, приложила некоторые усилия и 7 сентября 1778 года он оказался в Венсенне, за семью замками, «как дикий зверь».

И теперь начинается другая история. Одиннадцать лет, сначала в Венсенне, а потом в Бастилии, погибает человек, но рождается писатель. Человек был сломлен очень быстро. Обреченный на импотенцию, не знающий, как долго продлится заключение, Сад повредился в рассудке, и ум его блуждал в горячечном бреду. Однако интеллектуальные способности вернулись к нему довольно быстро, а сексуальный голод он компенсировал радостями обильного стола. Его слуга рассказывал, что маркиз непрерывно дымил как каминная труба и ел за четверых. Жена посылала ему горы снеди, и он достиг невероятной толщины. Он жаловался, обвинял, умолял и все же слегка развлекал себя, мучая жену. Он имел наглость ревновать, приписывал ей козни против себя, а когда она его навещала, находил, что маркиза недостаточно скромно одета. Начиная с 1782 года он решил, что только литература способна заполнить его жизнь — «восторгом, вызовом, искренностью и наслаждениями воображения». Его экстремизм сказался и здесь: он писал в состоянии неистовства, писал и одновременно ел.

Революция освободила Сада из заточения, и он надеялся, что в его жизни начинается новый период. Жена просила развода, сыновья и дочь были ему абсолютно чужими. Освободившись от семьи, он, кого старое общество сделало изгоем, попытался приспособиться к новому, которое вернуло ему достоинство гражданина. Его пьесы шли в театре с большим успехом, он с энтузиазмом сочинял революционные речи. Однако роман с революцией продолжался недолго. Саду было пятьдесят лет, он имел сомнительное прошлое и аристократическое происхождение, которого не могла зачеркнуть его ненависть к аристократии. Мир, к которому он пытался приспособиться, снова оказался слишком реальным, оказывающим грубое сопротивление. И им управляли те же универсальные

законы, которые Сад считал фальшивыми и несправедливыми. Когда во имя этих законов общество узаконило убийство, Сад в ужасе отшатнулся.

Человек, высказывающий удивление тем, что Сад дискредитировал себя в глазах Революции гуманностью, вместо того, чтобы занять место губернатора в провинции и мучить и убивать людей сколько душе угодно, не понимает его по-настоящему. Пролитие крови могло служить для него источником возбуждения лишь при определенных обстоятельствах: жестокость должна была иметь отношение к нему и к определенному, конкретному индивидууму. Он не хотел судить, приговаривать и наблюдать «анонимную» смерть издалека. Он ничто так не ненавидел в старом обществе, как его узаконенное право судить и наказывать, жертвой которого он стал сам. Вот почему Сад в роли главного присяжного чаще всего оправдывал обвиняемого. В декабре 1793 года его заключили в тюрьму по обвинению в «умеренности». Освобожденный через год, он писал: «Республиканская тюрьма с ее вечной гильотиной перед глазами нанесла мне в сто раз больше вреда, чем все Бастилии вместе взятые». Зло перестало быть притягательным, когда преступление было объявлено добродетелью, и хотя сексуальность Сада с годами не уменьшилась, гильотина уничтожила болезненную поэтику извращенного эротизма. Он не потерял памяти, но утратил движущую силу, и сама жизнь стала для него слишком тяжелым трудом. Лишенный социальных и семейных рамок, которые тем не менее были ему необходимы, он влачил жалкое существование в нищете и болезнях и работал в Версальском театре за сорок су в день. Декрет 28 июня 1779 года, запрещавший вычеркнуть его имя из списка аристократов, подлежащих изгнанию, заставил его воскликнуть в отчаянии: «Смерть и нищета — вот награда, которую я получил за свою преданность Республике». Он получил все же право гражданства и в декабре 1799 года играл роль в своей пьесе, однако, к началу 1800 оказался в версальской больнице, «умирающий от голода и холода», под угрозой тюрьмы за долги. Он был так несчастлив во враждебном мире так называемых «свободных» людей, что, может быть, сам стремился оказаться в одиночестве и безопасности тюрьмы. Сознательное или невольное, это желание было исполнено, и 5 апреля 1801 года его заперли в приюте Сен-Пелаж, а потом переправили в Шарантон, куда под видом его дочери последовала мадам Квесне (она фигурирует в его переписке под именем «Чувствительной Дамы»). Там он и оставался до конца жизни. Конечно, оказав-

шись взаперти, Сад протестовал и боролся за свободу. Но по крайней мере он снова смог целиком посвятить себя страсти, заменившей ему чувственные удовольствия, — писательству. Он стал заботиться только о спокойствии своей повседневной жизни, гулял по саду с «Чувствительной дамой», писал комедии для призреваемых и ставил их на сцене. После «Философии в спальне» он сочинил измененную и расширенную версию «Жюстины», за которой последовала «Жюльетта». Эти два произведения появились в десятитомном издании в 1797 году, были напечатаны и «Преступления любви».

Его натура не изменилась, но он устал от борьбы. «Сад был вежлив до приторности, — говорит Нодье, — грациозен до нелепости и с почтением говорил обо всем том, о чем принято говорить с почтением». Мысли о старости и смерти доводили его до ужаса. «Он бледнел при упоминании о смерти и падал в обморок при виде своих седых волос». Однако он мирно скончался от астматического приступа 2 декабря 1814 года.

2. Сад сделал эротизм смыслом и выражением всего своего существования, поэтому исследование природы его эротизма имеет более важное значение, чем удовлетворение праздного любопытства.

Совершенно очевидно, что он имел выраженные сексуальные идиосинкразии, но определить их не так просто. Его сообщники и жертвы хранили молчание, а в книгах больше выдумки, чем правды. Тем не менее в его романах существуют ситуации и герои, которые явно пользуются его особым расположением. Иногда в письме или повороте диалога нас поражает фраза, которая явно не является эхом чужого голоса. Именно эти сцены, герои и фразы могут служить ключом к пониманию личности Сада.

В общепринятом смысле «садизм» означает жестокость. Первое, что бросается в глаза в книгах Сада, это именно то, что традиционно ассоциируется с его именем: побои, кровь, мучения, убийство. В случае с Розой Келлер он избивал ее плеткой, возможно, наносил раны ножом и лил на них расплавленный воск. В Марселе он вынимал из кармана «кошку», утыканную булавками. Во всем поведении по отношению к жене он проявлял исключительную душевную жестокость. Более того, он постоянно твердил об удовольствии, которое можно получить, заставляя человека страдать: «Нет никакого сомнения, что боль действует на нас сильнее, чем наслаждение, когда другой

испытывает боль, все наше существо яростно вибрирует». Дело в том, что в основе всей сексуальности Сада и, далее, в основе его этики лежит его интуитивное представление об идентичности акта соития и жестокости. В свидетельствах Розы Келлер и в письмах Сада есть доказательства того, что его оргазм был похож на эпилептический припадок, был чем-то убийственным и агрессивным, как взрыв ярости. Чем можно объяснить эту странную «ярость»?

С раннего отрочества до тюрьмы Сад, очевидно, испытывал постоянные, если не невыносимые муки желания. С другой стороны, опыт эмоционального опьянения ему не был доступен никогда. В его жизни и в жизни его героев чувственная радость никогда не связана с самозабвением, духовным порывом. Истоки садизма лежат в попытке компенсации одного недостающего элемента — эмоционального единства партнеров, позволяющее одновременно забыть себя и осознать реальность другого существа. Если бы Сад был холоден по природе, никаких проблем не возникло бы, но инстинкты вели его к другим людям, с которыми он был неспособен соединиться, ему приходилось изобретать методы, чтобы создать иллюзию такого соединения. Сад знал один из таких методов — жестокость и агрессия, но и это не приносило ему удовлетворения.

Если поставлена цель спастись от себя и почувствовать реальность партнера, существует и другой способ ее достижения: через боль собственной плоти. В Марселе Сад испытывал действие плетки не только на девицах, но и на себе самом. Это было, по-видимому, весьма обычной для него практикой, и его герои с готовностью подставляют тело под удары: «Никто ныне не сомневается в том, что удары бича чрезвычайно эффективны в оживлении силы желания, истощенного наслаждением».

Однако Сад не был мазохистом в обычном понимании этого слова. Необычным в его случае было напряжение воли, наполнявшей плоть и не растворявшейся в ней. Он заставлял проститутку хлестать себя плеткой, но каждые две минуты вставал и записывал, сколько ударов он получил. Его унижение немедленно трансформировалось в готовность унижать. Он избивал девицу, пока над ним совершали акт содомии, а его любимой мечтой было пребывание в роли мучителя и жертвы одновременно.

Был ли Сад гомосексуалистом? Его внешность, роль, выполняемая его лакеями, пребывание в замке красивого неграмотного секретаря, большое место, которое Сад отводит этой

«фантазии» в своих книгах, и страсть, с которой он ее защищает, не оставляют никаких сомнений. Несомненно, женщины играли большую роль в его жизни, но каковы были его отношения с ними? Примечательно, что из двух единственных свидетельств его сексуальной активности отнюдь не следует, что Сад вступал и с ними в нормальные половые отношения. Если он имел троих детей от мадам де Сад, то это было в основном связано с выполнением социальной роли. А принимая во внимание групповой характер оргий в Ла Косте, мы не можем считать доказанным, что именно он был отцом ребенка горничной.

Мы, разумеется, не можем приписывать Саду мнений, высказываемых убежденными гомосексуалистами его романов, но фраза, вложенная в уста Епископа («120 дней Содома»), достаточно близка ему по духу, чтобы звучать как признание: «Мальчик гораздо лучше девочки. Рассмотрим вопрос с точки зрения зла, поскольку зло почти всегда есть истина наслаждения, его главное очарование. Преступление должно казаться больше, когда совершается над существом, подобным тебе самому, и от этого удовольствие автоматически удваивается».

В соответствии с какой-то своеобразной диалектикой Сад часто отводит женщинам роль победителей в своих романах. Совершая преступление, они гораздо ярче, чем мужчины, демонстрируют несгибаемость духа и силу воли. Тем не менее все его романы пронизаны отвращением к женщинам, которое могло быть обусловлено отношениями Сада с матерью и тещей. Можно предположить также, что Сад ненавидел женщин, потому что видел в них скорее своих двойников, чем дополнение, и потому, что ничего не мог от них получить. В его героинях больше жизни и тепла, чем в героях, не только по эстетическим соображениям, а потому, что они были ему ближе. Сад ощущал свою женственность, и женщины вызывали его негодование тем, что не были самцами, которых он в действительности желал.

Я уже говорила, что рассматривать странности Сада только как факты — значит придавать им неверное значение. Они всегда имеют этическую подоплеку. После скандала в Марселе эротизм Сада перестал быть его личной особенностью — он превратился в вызов обществу. В письме к жене Сад объясняет, как он возвел свои вкусы в принципы: «Я довел эти вкусы до степени фанатизма, и это дело рук моих преследователей». Сад получил мощный двигатель своей сексуальной активности — тягу к преступлению. Поскольку общество в союзе с

природой расценило его удовольствия как преступление, он сделал преступление источником удовольствия. Совершал ли он зло, чтобы почувствовать себя виновным, или спасался от чувства вины, делая его жизненным принципом? Дать ответ на этот вопрос означало бы исказить личность, которая никогда не находилась в состоянии покоя и вечно металась между гордыней и раскаянием.

Сад полностью отдавал себе отчет в том, что в реальной жизни его мечты об идеальном эротическом акте неосуществимы. В действительности есть только один способ получить удовлетворение от фантомов эротизма — он и состоит как раз в принятии их нереальности. Только в воображении можно жить без риска разочарования. С помощью воображения он спасался от времени, пространства, тюрьмы, полиции, одиночества, врагов, смерти, жизни, разрешал все противоречия. И не в преступлении он мог выразить и реализовать свою натуру, а в литературе.

3. Литература дала Саду возможность освободить и утвердить свои мечты. Она стала актом демонизма, запечатлела его преступные, убийственные видения. Это придает его произведениям несравненную ценность. Тот, кто находит парадоксальным, что человек, который был одиночкой во всем, проявил такую яростную тягу к коммуникации, не понимает его. В нем не было ничего от мизантропа, предпочитающего общество животных и девственной природы обществу людей. Отрезанный от мира, он жаждал единения с ним, и это могла дать ему литература.

Хотел ли он только шокировать общество? В 1795 году он писал: «Я готов к тому, чтобы выдвинуть несколько глобальных идей. Их услышат, они заставят задуматься. Если не все из них приятны, а большинство покажется отвратительными, я внесу вклад в прогресс нашего века и буду этим удовлетворен». Его искренность была неразрывно связана с бесчестностью. Он наслаждался шокирующим эффектом своей правды, но только таким путем правда могла быть провозглашена. Беззастенчиво признавая свои пороки, он оправдывал себя. Он хотел передать послание той самой публике, которую ненавидел. Все, что он писал, — отражение двойственности его отношения к людям и миру.

Еще более удивителен выбранный им способ выражения. От человека, который так ревниво подчеркивал и культивиро-

вал свою неповторимость, можно было бы ожидать самовыражения в столь же индивидуальной форме, как, например, у Лотреамона. Но XVIII век не мог предоставить Саду таких лирических возможностей — время «проклятых поэтов» еще не пришло. А Сад ни в коей мере не обладал литературной смелостью. Настоящий творец должен — по крайней мере на определенном уровне и в определенный момент — освободиться от груза предшественников и воспарить над людьми в полном одиночестве. А в Саде была внутренняя слабость, замаскированная его самонадеянностью. Общество жило в его сердце под личиной вины. У него не было ни времени, ни средств заново создавать человека, мир, себя. Вместо утверждения себя Сад оправдывался и для того, чтобы его поняли, он использовал доктрины современного ему общества. Будучи порождением рационального века, он ничто не считал более надежным, чем разум. Он писал: «Все универсальные моральные принципы — не более чем пустые фантазии» — и при этом охотно подчинялся принятым эстетическим концепциям и вере в универсальность логики. Это объясняет как его искусство, так и его мысли. Он оправдывал себя, но все время просил прощения. Его труды — двусмысленное желание довести преступление до предела и одновременно снять с себя вину.

То, что излюбленным литературным жанром Сада была пародия, естественно и в то же время любопытно. Он не пытался создать новый мир, ему достаточно было высмеять тот, который был ему навязан, имитируя его. Он притворялся, что верит в населяющие этот мир призраки: невинность, доброту, великодушие, благородство и целомудрие. Когда он елейно живописал добродетель в «Алине и Валькуре», «Жюстине» или «Преступлениях любви», им двигал не только расчет. «Покровы», которыми он окутывал Жюстину, были не просто литературным приемом. Чтобы получить удовольствие от бедствий добродетели, необходимо изобразить ее достаточно правдиво. Защищая свои книги от упреков в безнравственности, Сад лицемерно писал: «Можно ли льстить себя надеждой, что добродетель представлена в выгодном свете, если черты окружающего ее порока обрисованы без должной выразительности?» Однако он имел в виду совсем другое: может ли порок возбуждать, если читателя прежде не заманить иллюзией добра? Дурачить людей еще приятнее, чем шокировать. И Сад, плетя свои сладкие округлые фразы, испытывает от мистификации острое наслаждение. Его стиль нередко отличает та же холодность и та же слезливость, что и нравоучительные рассказы,

послужившие ему образцом, а эпизоды развертываются в соответствии с теми же унылыми правилами.

И все-таки именно в пародии Сад добился блестящего писательского успеха. Он был предвестником романов ужаса, но для безудержной фантазии был слишком рационален. Когда же он дает волю своему необузданному воображению, не знаешь, чем восхищаться больше: эпической страстностью или иронией. Как это ни странно, тонкость иронии искупает все его неистовства и сообщает повествованию подлинную поэтичность, спасая от неправдоподобия. Этот мрачный юмор, который Сад временами обращает против самого себя, не просто формальный прием. Сад, с его стыдом и гордостью, правдой и преступлением, был одержим духом противоречия. Именно там, где он прикидывается шутом, он наиболее серьезен, а там, где предельно лжив, наиболее искренен. Когда под видом взвешенных, бесстрастных аргументов он провозглашает чудовищные гнусности, его изощренность часто прячется под маской простодушия; чтобы его не приперли к стенке, он изворачивается как может — и достигает своей цели: расшевелить нас. Сама форма изложения рассчитана на то, чтобы привести в замешательство. Сад говорит монотонно и путано, и мы начинаем скучать, но вдруг серое уныние вспыхивает ярким блеском горькой сардонической истины. Именно здесь, в веселье, неистовстве и высокомерной необработанности, стиль Сада оказывается стилем великого писателя.

И все-таки никому не придет в голову сравнивать «Жюстину» с «Манон Леско» или «Опасными связями». Как ни парадоксально, сама потребность в сочинительстве наложила на книги Сада эстетические ограничения. Ему не хватало перспективы, без которой не может быть писателя. Он не был достаточно обособлен, чтобы встретиться лицом к лицу с действительностью и воссоздать ее. Он не противостоял ей, довольствуясь фантазиями. Его рассказы отличают нереальность, внимание к лишним деталям и монотонность шизофренического бреда. Он сочиняет их ради собственного удовольствия, не стремясь произвести впечатление на читателя. В них не чувствуется упорного сопротивления действительности или более мучительного сопротивления, которое Сад находил в глубине своей души. Пещеры, подземные ходы, таинственные замки — все атрибуты готического романа в его произведениях имеют особый смысл. Они символизируют изолированность образа. Совокупность фактов отражается в восприятии вместе с содержащимися в них препятствиями. Образ же со-

вершенно мягок и податлив. Мы находим в нем лишь то, что в него вложили. Образ похож на заколдованное царство, из которого никто не в силах изгнать одинокого деспота. Сад имитирует именно образ, даже когда утверждает, что придал ему литературную непрозрачность. Так, он пренебрегает пространственными и временными координатами, в рамках которых развертываются все реальные события. Места, которые он описывает, не принадлежат этому миру, события, которые в них происходят, скорее напоминают живые картины, чем приключения, а время в этом искусственном мире вообще отсутствует. В его произведениях нет будущего.

Не только оргии, на которые он нас приглашает, происходят вне определенного места и времени, но и — что более серьезно — в них участвуют не живые люди. Жертвы застыли в своей душераздирающей униженности, мучители — в своем неистовстве. Не наделяя их жизнью, Сад просто грезит о них. Им не знакомы ни раскаяние, ни отвращение; самое большее, на что они иногда способны, — это чувство пресыщения. Они равнодушно убивают, являясь отвлеченным воплощением зла. И несмотря на то, что эротизм имеет некоторую социальную, семейную или личностную основу, он утрачивает свою исключительность. Он более не является конфликтом, откровением или особым переживанием, не поднимаясь выше биологического уровня. Как можно чувствовать сопротивление других свободных людей или сошествие духа на плоть, если все, что мы видим, это картины наслаждающейся или терзаемой плоти? Даже ужас не охватывает при виде этих эксцессов, в которых совершенно не участвует сознание. «Колодец и маятник» Эдгара По вселяет ужас именно потому, что мы воспринимаем происходящее изнутри, глазами героя; героев же Сада мы воспринимаем только извне. Они такие же искусственные и движутся в мире так же произвольно, как пастушки и пастушки в романах Флориана. Вот почему эта извращенная буколика отдает аскетизмом нудистской колонии.

Оргии, которые Сад всегда описывает в мельчайших подробностях, скорее превышают анатомические возможности человеческого тела, чем обнаруживают необычные эмоциональные комплексы. Хотя Саду и не удается сообщить им эстетическую правдивость, он в общих чертах намечает неизвестные дотоле формы эротического поведения, в частности те, которые соединяют ненависть к матери, фригидность, интеллектуальность, пассивный гомосексуализм и жестокость. Никто с такой силой не показал связь восприятия с тем, что мы

называем пороком; и временами Сад позволяет нам заглянуть в удивительную глубину отношений между чувственностью и существованием.

Примечательно, что в 1729 году Сад писал: «Я согласен, что чувственное наслаждение — это страсть, подчиняющая себе все остальные страсти и одновременно соединяющая их в себе». В первой половине этого текста Сад не только предвосхищает так называемый «пансексуализм» Фрейда, но и превращает эротизм в движущую силу человеческого поведения. К тому же во второй части он утверждает, что чувственность наделена значением, выходящим за ее пределы. Либидо присутствует везде и всегда гораздо шире самого себя. Сад, несомненно, предугадал эту великую истину. Он знал, что «извращения», которые толпа считает нравственным уродством или физиологическим дефектом, на самом деле связаны с тем, что теперь называется интенциональностью. Он пишет жене, что все «причуды... берут начало в утонченности», а в «Алине и Валькуре» заявляет, что «изыски происходят только от утонченности; хотя утонченного человека могут волновать вещи, которые как будто эту утонченность исключают». Он также понимал, что наши вкусы мотивированы не только внутренним качеством объекта, но и его отношением к субъекту. В отрывке из «Новой Жюстины» он делает попытку объяснить копрофилию. Его ответ сбивчив, но, грубо используя понятие воображения, он указывает, что истина предмета лежит не в нем самом, а в том значении, которым мы его наделяем в ходе нашего личного опыта. Подобные прозрения позволяют нам провозгласить Сада предтечей психоанализа.

К сожалению, его рассуждения теряют блеск, когда он принимается отстаивать принципы психо-физического параллелизма. «По мере развития анатомических знаний мы легко сможем продемонстрировать связь между телосложением человека и его вкусами». Это противоречие поражает нас в странном отрывке из «120 дней Содома», где Сад обсуждает сексуальную привлекательность уродства. «К тому же доказано, что именно страх, отвращение и уродство вызывают особое наслаждение. Красота проста, а безобразие исключительно. И пылкое воображение, конечно же, предпочтет необычное простому». Хотелось бы, чтобы Сад подробнее описал связь между страхом и желанием, но ход его рассуждений резко обрывается фразой, снимающей поставленный им же вопрос: «Все это зависит от нашего устройства, органов и их взаимодействия, и

мы способны изменить наши пристрастия к подобным вещам не более, чем переделать форму наших тел».

На первый взгляд кажется парадоксальным, что столь эгоцентричный человек обращается к теориям, начисто отрицающим индивидуальные особенности. Он умоляет нас не жалеть сил, чтобы лучше понять человеческую душу. Он пытается разобраться в самых странных ее проявлениях. Он восклицает: «Что за загадка человек!» Он хвастает: «Вы знаете, что никто не анализирует вещи лучше меня» и все-таки он уподобляет человека механизму и растению, просто-напросто забывая о психологии. Но это противоречие, как оно ни досадно, легко объяснить. Быть чудовищем, вероятно, не так-то просто, как думают некоторые. Он был очарован своей тайной, но он и боялся ее. Он хотел не столько выразить себя, сколько защитить. Устами Бламона он делает признание: «Я обосновал свои отклонения с помощью разума; я не остановился на сомнении; я преодолел, я искоренил, я уничтожил все, что могло помешать моему наслаждению». Как он без устали повторял, освобождение должно начинаться с победы над угрызениями совести. А что способно подавить чувство вины надежнее, чем учение, размывающее само представление об ответственности? Но было бы крайне неверно считать, что его взгляды этим исчерпываются; он ищет поддержку в детерминизме лишь для того, чтобы вслед за многими другими заявить о своей свободе.

С литературной точки зрения, банальности, которыми он перемежает свои оргии, в конце концов лишают их всякой жизненности и правдоподобия. Здесь также Сад обращается не столько к читателю, сколько к самому себе. Нудно твердя одно и то же, он как бы совершает ритуал очищения, столь же естественный для него, как регулярная исповедь для доброго католика. Сад не являет нам плод усилий свободного человека. Он заставляет нас участвовать в процессе своего освобождения. Этим-то он и удерживает наше внимание. Его попытки искренней употребляемых им средств. Если бы детерминизм, исповедуемый Садом, устраивал его, то он покончил бы с душевными терзаниями. Однако они заявляют о себе с такой четкостью, которую не в силах замутить никакая логика. Несмотря на все внешние оправдания, которые он с таким упорством выдвигает, он продолжает задавать себе вопросы, нападать на себя. Именно его упрямая искренность, а вовсе не безупречность стиля или последовательность взглядов, дает нам право называть его великим моралистом.

4. «Сторонник крайностей во всем», Сад не мог пойти на компромисс с религиозными взглядами своего времени. Первое же его произведение, «Беседа священника с умирающим», написанное в 1782 году, стало декларацией атеизма. Сад ясно изложил свои взгляды: «Идея Бога — единственная ошибка, которую я не могу простить человечеству».

Он начинает с разоблачения именно этой мистификации, потому что как истинный картезианец идет от простого к сложному, от грубой лжи к завуалированному обману. Он знает, что свергнуть идолов, которыми окружило человека общество, можно, лишь утвердив свою независимость перед небесами. Если бы человек не боялся жупела, которому он по глупости поклоняется, он так легко не отказался бы от свободы и истины. Выбрав Бога, он предал себя, совершив непростительное преступление. На самом же деле он не отвечает перед высшим судьей; у небес нет права на обжалование.

Сад хорошо понимал, насколько вера в ад и вечность способна возбудить жестокость. Сен-Фон играет с этой возможностью, со сладострастием представляя себе вечные муки грешников. Он развлекается, воображая дьявола-демиурга, воплощающего все природное зло. Но Сад ни на минуту не забывает, что эти гипотезы — только игра ума. Воспевая абсолютное преступление, он хочет отомстить Природе, а не оскорбить Бога. Его страстные обличения религии грешат унылым однообразием и повторением избитых общих мест, но Сад дает им собственное толкование, когда, предвосхищая Ницше, объявляет христианство религией жертв, которую, на его взгляд, следует заменить идеологией силы. Во всяком случае его честность не вызывает сомнений. Сад по природе был абсолютно не религиозен. В нем нет ни малейшего метафизического беспокойства. Он слишком занят оправданием собственного существования, чтобы рассуждать о его смысле и цели. Его убеждения шли из глубины души. И если он слушал мессу и льстил епископу, так это потому что был стар, сломлен и предпочел лицемерить. Однако его завещание не оставляет места сомнению. Он боялся смерти по той же причине, что и старости: как распада личности. В его произведениях совершенно отсутствует страх перед загробным миром. Сад хотел иметь дело только с людьми, и все нечеловеческое было ему чуждо.

И все же он был одинок. Восемнадцатый век пытаясь упразднить Царство Божие на Земле, нашел себе нового идола. И атеисты, и верующие стали поклоняться новому воплощению

Высшего Блага: Природе. Они не собирались отказываться от условностей категорической всеобщей нравственности. Высшие ценности были разрушены, а наслаждение признано мерой добра; в атмосфере гедонизма себялюбие было восстановлено в своих правах. Мадам дю Шатле, например, писала: «Начать с того, что в этом мире у нас нет никаких иных занятий, кроме поисков приятных чувств и ощущений». Но эти робкие себялюбцы постулировали естественный порядок, обеспечивающий гармоничное согласие личных и общественных интересов. Процветание общества на благо всем и каждому следовало обеспечить с помощью разумной организации, в основе которой лежал общественный договор. Трагическая жизнь Сада уличила эту оптимистическую религию во лжи.

В XVIII веке любовь нередко рисовали в мрачных, торжественных и даже трагических тонах; Ричардсон, Прево, Дюкло, Кребильон и особенно Лакло создали немало демонических героев. Однако источником их порочности всегда была не собственная воля, а извращение ума или желаний. Подлинный, инстинктивный эротизм, напротив, был восстановлен в своих правах. Как утверждал Дидро, в определенном возрасте возникает естественное, здоровое и полезное для продолжения рода влечение, и страсти, которые оно рождает, столь же хороши и благотворны. Персонажи «Монахини» получают удовольствие от «садистских» извращений только потому, что подавляют свои желания вместо того, чтобы удовлетворять их. Руссо, чей сексуальный опыт был сложным и преимущественно неудачным, пишет: «Милые наслаждения, чистые, живые, легкие и ничем не омраченные». И далее: «Любовь, как я ее вижу, как я ее чувствую, разгорается перед иллюзорным образом совершенств возлюбленной, и эта иллюзия рождает восхищение добродетелью. Ибо представление о добродетели неотделимо от представления о совершенной женщине». Даже у Ретифа де ла Бретона наслаждение, хотя оно и может быть бурным, всегда — восторг, томление и нежность. Один Сад разглядел в чувственности эгоизм, тиранию и преступление. Только поэтому он мог бы занять особое место в истории чувственности своего века, однако он вывел из своих прозрений еще более значительные этические следствия.

В идее, что Природа — зло, нет ничего нового. Саду нетрудно было найти аргументы в пользу тезиса, воплощенного в его эротической практике и иронически подтвержденного обществом, которое заключило его в тюрьму за следование своим инстинктам. Но от предшественников его отличает то, что, об-

наружив царящее в Природе зло, они противопоставляли ему мораль, основанную на Боге и обществе, тогда как Сад, хотя и отрицал первую часть всеобщего кредо «Природа добра, подражайте ей», как это ни парадоксально, сохранил вторую. Пример природы требует подражания, даже если ее законы — это законы ненависти и разрушения. Теперь нам следует внимательно рассмотреть, каким образом он обратил новый культ против его почитателей.

Сад неодинаково понимал отношение человека к Природе. На мой взгляд, эти различия объясняются не столько движением диалектики, сколько неуверенностью его мышления, которое то сдерживает его смелость, то дает ей полную свободу. Когда Сад просто пытается наспех подыскать себе оправдание, он обращается к механистическому взгляду на мир. Как утверждал Ламетри, действия человека не подлежат моральной оценке: «Мы виноваты в следовании нашим простейшим желаниям не более, чем Нил, несущий свои воды, или море, вздымающее волны». Так же и Сад, ища оправданий, сравнивает себя с растениями, животными и даже физическими элементами. «В ее (Природы) руках я лишь орудие, которым она распоряжается по собственному усмотрению». Хотя он постоянно прячется за подобными утверждениями, они не выражают его истинных мыслей. Во-первых, природа для него не безразличный механизм. Ее трансформации дают нам основание предположить, что ею правит злой гений. На самом деле Природа жестока, и кровожадна, и одержима духом разрушения. Она «желала бы полного уничтожения всех живых существ, чтобы, создавая новые, насладиться собственным могуществом». И тем не менее человек не ее раб.

В «Алине и Валькуре» Сад уже говорил, что способен вырвать у Природы собственную свободу и обернуть ее против нее же. «Давайте отважимся совершить насилие над этой непонятной Природой, овладеть искусством наслаждаться ею». А в «Жюльетте» он заявляет еще решительней: «Раз человек сотворен, он более не зависит от Природы; раз уж Природа бросила его, она более не имеет над ним власти».

Человек не обязан подчиняться естественному порядку, поскольку тот ему совершенно чужд. Поэтому он свободен в своем нравственном выборе, который ему никто не вправе навязывать. Тогда почему из всех открытых перед ним путей Сад выбрал тот, который через подражание Природе ведет к преступлению? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учитывать всю систему его взглядов. Истинная цель этой системы — оп-

равдать «преступления», от которых Сад никогда и не думал отказываться.

Когда он пытается доказать, что вольнодумец вправе угнетать женщин, он восклицает: «Разве Природа, наделив нас силой, необходимой для того, чтобы подчинить их нашим желаниям, не доказала, что мы имеет на это право?» Сад обвиняет законы, которые навязало нам общество, в искусственности. Он сравнивает их с законами, которые могло бы выдумать общество слепцов. «Все эти обязанности мнимы, поскольку условны. Подобным образом человек приспособил законы к своим ничтожным знаниям, ничтожным хитростям и ничтожным потребностям, — но все это не имеет никакого отношения к действительности... Глядя на Природу, нетрудно понять, что все наши учреждения, сравнительно с нею, настолько низки и несовершенны, насколько законы общества слепцов — сравнительно с нашими законами».

Порой он мечтал об идеальном обществе, которое не отвергало бы его за особые пристрастия. Он искренне считал, что подобные склонности не представляют серьезной опасности для просвещенного общества. В одном из писем он утверждает: «Для государства опасны не мнения или пороки честных лиц, а поведение общественных деятелей». Дело в том, что действия распутника не оказывают на общество серьезного влияния; они не более, чем игра. Если снять запреты, придающие преступлению привлекательность, похоть сама собой исчезнет. Возможно, он также надеялся, что в обществе, уважающем своеобразие, и, следовательно, способном признать его в качестве исключения, его пороки не будут вызывать такого осуждения. Во всяком случае, он был уверен, что человек, получающий удовольствие от того, что хлещет кнутом проститутку, менее опасен для общества, чем генерал-откупщик.

Однако совершенно очевидно, что интерес Сада к общественным преобразованиям носил чисто умозрительный характер. Он был одержим собственными проблемами, не собирался меняться и уж совсем не искал одобрения окружающих. Пороки обрекали его на одиночество. Ему необходимо было доказать неизбежность одиночества и превосходство зла. Ему легко было не лгать, потому что он, разорившийся аристократ, никогда не встречал похожих на себя людей. Хотя он не верил в обобщения, он придавал своему положению ценность метафизической неизбежности: «Человек одинок в мире». «Все существа рождены одинокими и не нуждаются друг в друге».

Но человек у Сада не просто мирится с одиночеством; он *утверждает его один против всех.* Отсюда следует, что ценности неодинаковы не только для разных классов, но и для разных людей. «Все страсти имеют два значения, Жюльетта: одно — очень несправедливое, по мнению жертвы; другое — единственно справедливое для ее мучителя. И это главное противоречие непреодолимо, ибо оно — сама истина». Попытки людей примирить свои стремления в попытках обнаружить общий интерес, всегда фальшивы. Ибо не существует иной реальности, кроме замкнутого в себе человека, враждебного всякому, кто покусится на его суверенность. Свободный человек не в состоянии предпочесть добро просто потому, что его нет ни на пустых небесах, ни на лишенной справедливости Земле, ни на идеальном горизонте; его невозможно найти нигде. Зло торжествует повсюду, и есть лишь один путь отстоять себя перед ним: принять его.

Несмотря на свой пессимизм, Сад яростно отрицает идею покорности. Вот почему он осуждает лицемерную покорность, носящую звучное имя добродетели, глупую покорность царящему в обществе злу. Подчиняясь, человек предает не только себя, но и свою свободу. Сад с легкостью доказывает, что целомудрие и умеренность неоправданны даже с точки зрения пользы. Предрассудки, клеймящие кровосмешение, гомосексуализм и прочие сексуальные «странности», преследуют одну цель: разрушить личность, навязав ей глупый конформизм.

Добродетель не заслуживает ни восхищения, ни благодарности, ибо она не только не соответствует требованиям высшего блага, но служит интересам тех, кто любит выставлять его напоказ. По логике вещей, Сад должен был прийти к этому выводу. Но если человек руководствуется только личным интересом, тогда стоит ли презирать добродетель? Чем она хуже порока? Сад с жаром отвечает на этот вопрос. Когда предпочтение отдается добродетели, он восклицает: «Какая скованность! Какой лед! Ничто не вызывает во мне волнения, ничто не возбуждает... Я спрашиваю тебя, и это — удовольствие? Насколько привлекательней другая сторона! Какой пожар чувств! Какой трепет во всех членах!» И опять: «Счастье приносит лишь то, что возбуждает, а возбуждает лишь преступление». С точки зрения распространенного в то время гедонизма, это веский аргумент. Здесь можно только возразить, что Сад обобщает свой личный опыт. Возможно, другие люди способны наслаждаться Добром? Сад отвергает этот эклектизм. Добродетель может принести только мнимое счастье: «истинное блаженст-

во испытывают только при участии чувств, а добродетель не удовлетворяет ни одно из них». Подобное утверждение может вызвать недоумение, поскольку Сад превратил воображение в источник порока; однако порок, питаясь фантазиями, преподает нам определенную истину, а доказательством его подлинности служит оргазм, т.е. определенное ощущение; тогда как иллюзии, питающие добродетель, никогда не приносят человеку реального удовлетворения. Согласно философии, которую Сад позаимствовал у своего времени, единственным мерилом реальности является ощущение, и если добродетель не возбуждает никакого чувства, так это потому, что у нее нет никакой реальной основы.

Сравнивая добродетель и порок, Сад более ясно объясняет, что имеет в виду: «...первая есть нечто иллюзорное и выдуманное; второй — нечто подлинное, реальное; первая основана на предрассудках, второй — на разуме; первая при посредничестве гордости, самом ложном из наших чувств, может на миг заставить наше сердце забиться чуть сильнее; другой доставляет истинное душевное наслаждение, воспламеняя все наши чувства...» Химерическая, воображаемая добродетель заключает нас в мир призраков, тогда как конечная связь порока с плотью свидетельствует о его подлинности.

Терзать свою жертву следует в состоянии постоянного напряжения, иначе страсть, остывая, обернется угрызениями совести, которые таят в себе смертельную опасность.

На последней ступени намеренного морального разложения человек освобождается не только от предрассудков и стыда, но и от страха. Его спокойствие сродни невозмутимости древнего мудреца, считавшего тщетным все то, что от нас не зависит. Однако мудрец ограничивался негативной защитой от страдания. Мрачный скептицизм Сада обещает позитивное счастье. Так, Кер-де-фер выдвигает следующую альтернативу: «Либо преступление, которое дает нам счастье, либо эшафот, который спасает нас от несчастья». Человек, умеющий превратить поражение в победу, не знает страха. Ему нечего бояться, потому что для него не существует плохого исхода. Грубая оболочка происходящего не занимает его. Его волнует лишь значение событий, которое зависит только от него самого. Тот, кого бьют кнутом или насилуют, может быть как рабом, так и господином своего палача. Амбивалентность страдания и наслаждения, унижения и гордости дает вольнодумцу власть над происходящим. Так, Жюльетте удается превратить в наслаждение те же муки, которые повергают в отчаяние Жюстину.

Обычно содержание событий не имеет большого значения, в расчет принимаются лишь намерения их участников.

Так гедонизм кончается безразличием, что подтверждает парадоксальную связь садизма со стоицизмом. Обещанное счастье оборачивается равнодушием. «Я был счастлив, дорогая, с тех пор как я совершенно хладнокровно совершал любые преступления», — говорит Брессак. Жестокость предстает перед нами в новом свете: как аскеза. «Человек, научившийся быть равнодушным к чужим страданиям, становится нечувствительным к своему собственному». Таким образом, целью становится уже не возбуждение, но *апатия.* Конечно, новоиспеченному вольнодумцу необходимы сильные ощущения, помогающие ему осознать подлинный смысл существования. Однако впоследствии он может довольствоваться чистой формой преступления. Преступлению свойствен «величественный и возвышенный характер, всегда и во всем превосходящий унылые прелести добродетели». С суровостью Канта, имеющей общий источник в пуританской традиции, Сад понимает свободный акт только как акт, свободный от всех переживаний. Оказавшись во власти эмоций, мы теряем свою независимость, вновь становясь рабами Природы.

Этот жизненный выбор открыт любому человеку, независимо от того, в каком положении он находится. В гареме монаха, где томится Жюстина, одной из жертв удается переломить судьбу, проявив незаурядную силу характера. Она закалывает свою подругу с такой жестокостью, что вызывает восхищение хозяев и становится королевой гарема. Тот, кто мирится с ролью жертвы, страдает малодушием и недостоин жалости. «Что общего может быть у человека, готового на все, с тем, кто не отваживается ни на что?» Противопоставление этих двух слов заслуживает внимания. По мнению Сада, тот, кто смеет, тот и может. В его произведениях почти все преступники умирают насильственной смертью, но им удается превратить свое поражение в триумф. На самом деле смерть — не худшая из неудач, и какую бы судьбу Сад не готовил свои героям, он позволяет им осуществить заложенные в них возможности. Подобный оптимизм идет от аристократизма Сада, включающего учение о предназначении во всей его неумолимой суровости. Те свойства характера, которые позволяют немногим избранным господствовать над стадом обреченных, являются для Сада чем-то вроде благодати. Жюльетта изначально была спасена, а Жюстина — обречена.

Наиболее убедительные доводы против позиции Сада можно выдвинуть от имени человека; ведь человек абсолютно реален, и преступление наносит ему реальный ущерб. Именно в этом вопросе Сад придерживается крайних воззрений: для меня истинно лишь то, что относится к моему опыту; мне чуждо внутреннее присутствие других людей. А так как оно меня не затрагивает, то и не может накладывать на меня никаких обязательств. «Нас совершенно не касаются страдания других людей; что у нас общего с этими страданиями?» И снова: «Нет никакого сходства между тем, что испытывают другие и что чувствуем мы. Нас оставляют равнодушными жестокие страдания других и возбуждает малейшее собственное удовольствие». Гедонистический сексуализм восемнадцатого века мог предложить человеку одно: «искать приятные чувства и ощущения». Этим подчеркивалось, что человек в сущности одинок. В «Жюстине» Сад изображает хирурга, собирающегося расчленить свою дочь во имя будущей науки и, следовательно, человечества. С точки зрения туманного будущего, человечество в его глазах имеет определенную ценность; но что такое человек, сведенный лишь к простому присутствию? Голый факт, лишенный всякой ценности, волнующий меня не более, чем мертвый камень. «Мой ближний для меня ничто; он не имеет ко мне никакого отношения».

Люди не представляют для деспота никакой опасности, не угрожая сути его бытия. И все же внешний мир, из которого он исключен, раздражает его. Он жаждет в него проникнуть. Сад постоянно подчеркивает, что извращенца возбуждают не столько страдания жертвы, сколько сознание власти над ней. Его переживания не имеют ничего общего с отвлеченным демоническим удовольствием. Замышляя темные дела, он видит, как его свобода становится судьбой другого человека. А так как смерть надежнее жизни, а страдания — счастья, то, совершая насилие и убийство, он берет раскрытие этой тайны на себя. Ему мало наброситься на обезумевшую жертву под видом судьбы. Открываясь жертве, мучитель вынуждает ее заявить о своей свободе криками и мольбами. Но если жертва не понимает смысла происходящего, она не стоит мучений. Ее убивают или забывают. Жертва имеет право взбунтоваться против тирана: сбежать, покончить с собой или победить. Палач добивается от жертвы одного: чтобы, выбирая между протестом и покорностью, бунтом или смирением, жертва в любом случае поняла, что ее судьба — это свобода тирана. Тогда ее соединяют с повелителем теснейшие узы. Палач и жертва образуют настоящую пару.

Бывает, жертва, смирившись со своей судьбой, становится сообщником тирана. Она превращает страдание в наслаждение, стыд — в гордость, действуя заодно с мучителем. Для него это лучшая награда. «Для вольнодумца нет большего наслаждения, чем завоевать прозелита». Совращение невинного существа, бесспорно, является демоническим актом, однако, учитывая амбивалентность зла, можно считать его истинным обращением, завоеванием еще одного союзника. Совершая насилие над жертвой, мы вынуждаем ее признать свое одиночество, а следовательно, постичь истину, примиряющую ее с врагом. Мучитель и жертва с удивлением, уважением и даже восхищением узнают о своем союзе.

Как справедливо указывалось, между распутниками Сада нет прочных связей, их отношениям постоянно сопутствует напряженность. Однако то, что эгоизм всегда торжествует над дружбой, не отнимает у последней реальности. Нуарсейль никогда не забывает напомнить Жюльетте, что их связывает только удовольствие, которое он получает в ее компании, но это удовольствие подразумевает конкретные отношения. Каждый находит в лице другого союзника, испытывая одновременно и свободу от обязательств, и возбуждение. Групповые оргии рождают у вольнодумцев Сада чувство подлинной общности. Каждый воспринимает себя и свои действия глазами других. Я ощущаю свою плоть в плоти другого, значит, мой ближний действительно существует для меня. Поразительный факт сосуществования обычно ускользает от нашего сознания, но мы можем распорядиться его тайной, подобно Александру, разрубившему гордиев узел: мы можем соединиться друг с другом в половом акте. «Что за загадка человек! — Конечно, мой друг, вот почему остроумный человек говорит, что легче насладиться им, чем понять его». Эротизм выступает у Сада в качестве единственно надежного средства общения. Пародируя Клоделя, можно сказать, что у Сада «пенис — кратчайший путь между двумя душами».

5. Сочувствовать Саду — значит предавать его. Ведь он хотел нашего страдания, покорности и смерти; и каждый раз, когда мы встаем на сторону ребенка, чье горло перерезал сексуальный маньяк, мы выступаем против Сада. Но он не запрещал нам защищаться. Он признает право отца отомстить за насилие над его ребенком или даже предотвратить его с помощью убийства. Он требует одного: чтобы в борьбе непримиримых

римых интересов каждый заботился только о себе. Он одобряет вендетту, но осуждает суд. Мы можем убить, но не судить. Претензии судьи раздражают Сада сильнее претензий тирана; ибо тиран действует только от своего лица, а судья пытается выдать частное мнение за общий закон. Его усилия построены на лжи. Ведь каждый человек замкнут в своей скорлупе и не способен служить посредником между изолированными людьми, от которых он сам изолирован. Пытаясь избежать жизненных конфликтов, мы уходим в мир иллюзий, а жизнь уходит от нас. Воображая, что мы себя защищаем, мы себя разрушаем. Огромная заслуга Сада в том, что он восстает против абстракций и отчуждения, уводящих от правды о человеке. Никто не был привязан к конкретному более страстно. Он никогда не считался с «общим мнением», которым лениво довольствуются посредственности. Он был привержен только истинам, извлеченным из очевидности собственного опыта. Поэтому превзошел сексуализм своего времени, превратив его в этику подлинности.

Это не означает, что нас должно удовлетворять предложенное им решение. Желание Сада ухватить саму суть человеческого существования через свою личную ситуацию — источник его силы и его слабости.

Он не видел другого пути, кроме личного мятежа. Он знал только одну альтернативу: абстрактную мораль или преступление. Отрицая всякую значимость человеческой жизни, он санкционировал насилие. Однако бессмысленное насилие теряет свою притягательность, а тиран вдруг обнаруживает собственную ничтожность.

Заслуга Сада не только в том, что он во всеуслышание заявил о том, в чем каждый со стыдом признается самому себе, но и в том, что он не смирился. Он предпочел жестокость безразличию. Вот почему сегодня, когда человек знает, что стал жертвой не столько чьих-то пороков, сколько благих намерений, произведения Сада вновь вызывают интерес. Противостоять опасному общественному оптимизму значит встать на сторону Сада. В одиночестве тюремной камеры он пережил этическую ночь, подобную тому интеллектуальному мраку, в который погрузил себя Декарт. В отличие от последнего, Сад не испытал озарения, зато подверг сомнению все простые ответы. Если мы надеемся когда-нибудь преодолеть человеческое одиночество, мы не должны делать вид, что его не существует. Иначе вместо обещанных счастья и справедливости восторжествует зло. Сад, до конца испивший чашу эгоизма, не-

справедливости и ничтожества, настаивает на истине своих переживаний. Высшая ценность его свидетельств в том, что они лишают нас душевного равновесия. Сад заставляет нас внимательно пересмотреть основную проблему нашего времени: правду об отношении человека к человеку».

Лесбийскую любовь, то есть влечение одной женщины к другой, иногда называют сапфизмом. Древнегреческой поэтессе Сапфо, в иных написаниях — Сафо, которая жила на острове Лесбос в 7-6 веках до н.э., приписывают воспевание этой формы половых вожделений. Вот еще поразительный документ времени — роман французского просветителя Дени Дидро «Монахиня», опубликованный в 1796 году, уже после смерти писателя.

Дидро описывает лесбийскую любовь как извращение человеческих отношений. Он рассказывает о судьбе французской девушки Сюзанны Симонен, которая была отвергнута обедневшей семьей и насильственно заточена в монастырь. Описание лесбиянства производит в романе сильнейшее впечатление, поскольку разворачивается на совершенно необычном фоне — в монастыре, где как будто царит целомудрие и покаяние, где постоянно истязают плоть. Там вдруг обнаруживаются нравы, далекие от благочестия.

Судьба девушки трагична. Она чиста, умна и красива. Дав обет монашества под грубым давлением родственников, Сюзанна хочет освободиться от него. Но монахини издеваются над девушкой. У нее отбирают одежду и обувь, в ее келье не остается ничего, кроме голого тюфяка. Преследование непокорной принимает садистский характер. Ей подсыпают на пол толченое стекло, ей плюют в лицо, обливают ее нечистотами, объявляют одержимой и проклинают ее, чтобы никто с ней не разговаривал. Только благодаря неожиданному вмешательству викария она избегает смерти.

Сцены, в которых настоятельница склоняет Сюзанну к лесбийскому греху, производят сильнейшее впечатление. Дело в том, что девушка подавлена, нуждается в человеческом внимании, ласке. Но в монастыре протекает жизнь, далекая от сострадания.

ДЕНИ ДИДРО

Монахиня

«Не знаю, видели ли вы Арпажонский монастырь. Это четырехугольное здание, выходящее фасадом на большую дорогу, а задней стороной — на поля и сады. В каждом окне фасада виднелись одна, две или три монахини. Это обстоятельство больше говорило о порядках, царящих в монастыре, чем все рассказы монахини и сестры привратницы. По всей вероятности,

они узнали нашу карету, потому что в мгновение ока все эти окутанные покрывалами головки скрылись. Я подъехала к воротам моей новой тюрьмы. Настоятельница вышла ко мне навстречу с распростертыми объятиями, обняла меня, поцеловала, взяла за руку и повела в монастырскую залу, куда несколько монахинь успели уже прийти, а другие прибежали потом.

Эту настоятельницу зовут г-жа ***. Не могу противостоять желанию описать ее вам, прежде чем продолжить рассказ. Это маленькая женщина, очень полная, но живая и проворная; она постоянно вертит головой, в одежде у нее вечно какой-нибудь беспорядок; лицо скорее привлекательное, чем некрасивое: глаза, из которых один, правый, выше и больше другого, полны огня и бегают по сторонам. Когда она ходит, то размахивает руками; когда собирается что-нибудь сказать, то открывает рот, не успев еще собраться с мыслями, поэтому она немного заикается. Когда сидит, то ерзает на своем кресле, будто что-то ей мешает. Она забывает все правила приличия: приподнимает свой нагрудник и начинает чесаться, сидит, закинув ногу на ногу. Когда она спрашивает вас и вы ей отвечаете, она вас не слушает. Говоря с вами, она теряет нить своих мыслей, замолкает, не знает, на чем остановилась, сердится, обзывает вас дурой, тупицей, разиней, если вы не поможете ей найти эту нить. Порой она так фамильярна, что обращается на ты, порой надменна и горда, чуть ли не обдает вас презрением, но важность напускает на себя ненадолго. Она то чувствительна, то жестока. Ее искаженное лицо свидетельствует о сумбурности ее ума и неуравновешенности характера. Порядок и беспорядок постоянно чередуются в монастыре: бывают дни полной неразберихи, когда пансионерки болтают с послушницами, послушницы с монахинями, когда бегают друг к другу в кельи, вместе пьют чай, кофе, шоколад, ликеры, когда службы справляются с непристойной поспешностью. И вдруг, посреди этой сумятицы, лицо настоятельницы меняется, звонит колокол, все расходятся по своим кельям, запираются; за шумом, криками и суматохой следует самая глубокая тишина: можно подумать, что в монастыре все внезапно вымерло. И тогда за малейшее упущение настоятельница вызывает виновную к себе в келью, распекает ее, приказывает раздеться и нанести себе двадцать ударов плетью. Монахиня повинуется, снимает с себя одежду, берет плеть и начинает себя истязать. Но не успевает она нанести себе несколько ударов, как настоятельница, внезапно преисполнившись сострадания, вырывает из ее рук орудие пытки и заливается слезами; она сетует на то, что несчастна, когда прихо-

дится наказывать, целует монахине лоб, глаза, губы, плечи, ласкает и расхваливает ее: «Какая у нее белая и нежная кожа! Как она сложена! Какая прелестная шея, какие чудные волосы! Да что с тобой, сестра Августина, почему ты смущаешься? Спусти рубашку, я ведь женщина и твоя настоятельница. Ах, какая очаровательная грудь, какая упругая! И я потерплю, чтобы все эти прелести были истерзаны плетью? Нет, нет, ни за что!..»

Она снова целует монахиню, поднимает ее, помогает одеться, осыпает ласковыми словами, освобождает от церковной службы и отсылает в келью. Трудно иметь дело с такими женщинами: никогда не знаешь, как им угодить, чего следует избегать и что надо делать. Ни в чем нет ни толку, ни порядка. То кормят обильно, то морят голодом. Хозяйство монастыря приходит в расстройство. Замечания принимаются враждебно либо оставляются без внимания. Настоятельницы с таким нравом или слишком приближают к себе, или чересчур отдаляют; они не держат себя на должном расстоянии, ни в чем не знают меры: от опалы переходят к милости, от милости к опале неизвестно почему. Если разрешите, я приведу один пустяк, который может служить примером ее управления монастырем. Два раза в году она бегала из кельи в келью и приказывала выбросить в окно бутылки с ликерами, которые там находила, а через три-четыре дня сама посылала ликер большинству монахинь. Вот какова была та, которой я принесла торжественный обет послушания, ибо наши обеты следуют за н ими из одного монастыря в другой.

Я вошла вместе с нею; она вела меня, держа за талию. Подали угощение — фрукты, марципаны, варенье. Суровый викарий стал меня хвалить, но она прервала его:

— Они были неправы, неправы, я это знаю.

Суровый викарий собрался продолжать, но настоятельница опять прервала его:

— Почему они захотели от нее избавиться? Ведь она — воплощение кротости, сама скромность и, говорят, очень талантлива...

Суровый г-н Эбер хотел было договорить то, что начал, но настоятельница снова его перебила и шепнула мне на ухо:

— Я люблю вас до безумия. Когда эти педанты уйдут, я позову сестер, и вы нам споете какую-нибудь песенку. Хорошо?

Меня разбирал смех. Суровый г-н Эбер несколько растерялся. Оба молодых священника, заметив мое и его замешательство, улыбнулись. Однако г-н Эбер тут же оправился и вернулся к своей обычной манере обращения: он резко приказал

настоятельнице сесть и замолчать. Она села, но ей было не по себе. Она вертелась на стуле, почесывала голову, поправляла на себе одежду, хотя в этом не было надобности, зевала, а старший викарий держал речь в назидательном тоне о монастыре, который я покинула, о пережитых мною невзгодах, о монастыре, куда я вступила, о том, сколь многим я обязана людям, которые приняли во мне участие. При этих словах я взглянула на г-на Манури; он опустил глаза. Беседа приняла более общий характер. Тягостное молчание, предписанное настоятельнице, прекратилось. Я подошла к г-ну Манури и поблагодарила его за оказанные услуги. Я дрожала, запиналась, не знала, как выразить ему мою признательность. Мое смущение, растерянность, мое умиление, — ибо я в самом деле была очень растрогана, — слезы и радость вперемежку, все мое поведение было более красноречиво, чем могли быть мои слова. Его ответ был не более связен, чем моя речь. Он был так же смущен, как и я. Не знаю точно, что он сказал, но я поняла, что он более чем вознагражден, если ему удалось смягчить мою участь, что он будет вспоминать о том, что сделал, с еще большим удовольствием, чем я сама, что дела, которые привязывают его к Пале де Пари[1], не позволят ему часто посещать Арпажонский монастырь, но что он надеется получить от г-на старшего викария и г-жи настоятельницы разрешение справляться о моем здоровье и моем душевном состоянии.

Старший викарий не расслышал последних слов, а настоятельница ответила:

— Сколько вам будет угодно, сударь; она будет делать что захочет. Мы постараемся загладить зло, которое ей причинили.

И добавила совсем тихо, обращаясь ко мне:

— Дитя мое, ты очень страдала? Как осмелились эти твари из Лоншанского монастыря обижать тебя? Я знала когда-то твою настоятельницу, мы вместе были пансионерками в Пор-Рояле[2].

Она была у нас бельмом на глазу. Мы еще успеем наговориться, ты мне обо всем расскажешь...

При этих словах она взяла мою руку и похлопала по ней своей ладонью. Молодые священники также сказали мне не-

---

[1] *Пале де Пари*, или Дворец правосудия — название обширного ансамбля зданий в Париже, возникшего на месте древнего дворца римских правителей в XV в.; в нем были расположены различные судебные органы Франции.

[2] *Пор-Рояль* — женский монастырь; основан в 1204 г. Недалеко от Парижа, в 1625 г. переведен в Париж, был центром янсенизма, распущен в 1709 г.

сколько любезных слов. Было уже поздно. Г-н Манури простился с нами. Старший викарий и его спутники направились к г-ну М***, сеньору Арпажона, куда были приглашены, и я осталась одна с настоятельницей, но ненадолго. Все монахини, все послушницы и пансионерки прибежали толпой. В мгновение ока я была окружена сотней незнакомок. Я не знала, кого слушать, кому отвечать. Каких только тут не было лиц, о чем только тут не болтали! Однако я заметила, что мои ответы и я сама не произвели дурного впечатления.

Когда эти надоедливые расспросы наконец кончились и первое любопытство было удовлетворено, толпа стала редеть. Настоятельница выпроводила всех еще остававшихся у нее и пошла сама устраивать меня в моей келье. Она на свой лад проявила ко мне радушие. Указывая на иконостас, она сказала:

— Тут мой дружок будет молиться богу. Я прикажу положить подушку на скамеечку, чтобы она не поцарапала себе коленки. В кропильнице нет ни капли святой воды, сестра Доротея вечно что-нибудь забудет. Сядьте в кресло, посмотрите, удобно ли вам...

Болтая таким образом, она усадила меня, прислонила мою голову к спинке кресла и поцеловала в лоб. Затем подошла к окну удостовериться, легко ли подымаются и опускаются рамы, к кровати — задернула и отдернула полог, чтобы испытать, плотно ли он сходится. Внимательно осмотрела одеяло:

— Одеяло неплохое.

Взяла подушку и, взбивая ее, сказала:

— Дорогой головке будет на ней очень покойно. Простыни грубоваты, но таковы все в общине, матрацы хороши...

Покончив с осмотром, она подошла ко мне, поцеловала и ушла. Во время этой сцены я думала про себя: «Что за безумное создание!» И приготовилась к хорошим и дурным дням.

Я устроилась в своей келье, затем отстояла вечерню, поужинала и направилась в рекреационную залу. Некоторые из находившихся там монахинь ко мне приблизились, другие отошли в сторону. Первые рассчитывали на мое внимание у настоятельницы, вторые уже были встревожены оказанным мне предпочтением. Несколько минут прошло во взаимных похвалах, в расспросах о монастыре, который я оставила; монахини пытались распознать мой характер, вкусы, наклонности, убедиться, умна ли я. Вас прощупывают со всех сторон, расставляют ряд ловушек, с помощью которых приходят к весьма правильным выводам. Например, принимаются о комнибудь злословить и смотрят на вас, начинают что-нибудь

рассказывать и ждут, попросите вы продолжать или не проявите любопытства; если вы скажете что-нибудь самое обыденное, вашими словами восхитятся, хотя все прекрасно понимают, что в них нет ничего особенного; вас намеренно хвалят или порицают; стараются выпытать ваши самые сокровенные мысли; интересуются вашим чтением, предлагают книги духовные или светские и отмечают ваш выбор; побуждают вас в какой-нибудь мелочи нарушить монастырский устав; поверяют вам свои секреты; упоминают о странностях настоятельницы. Все принимается к сведению, обо всем судачат; вас оставляют в покое и снова за вас принимаются; выведывают ваше отношение к вопросам морали, к благочестию, религии, к мирской и монастырской жизни — словом, решительно ко всему. В результате таких повторных испытаний придумывается характерный для вас эпитет, который в виде прозвища добавляют к вашему имени. Так, например, меня стали называть сестра Сюзанна Скрытница.

В первый же вечер меня посетила настоятельница. Она пришла, когда я раздевалась. Она сама сняла с меня покрывало, головной убор и нагрудник, причесала на ночь, сама меня раздела. Она наговорила мне множество нежных слов, осыпала ласками, которые меня слегка смутили, не знаю почему, так как я ничего дурного в них не видела, да и она также. Даже теперь, когда я об этом думаю, я не понимаю, что тут могло быть предосудительного. Тем не менее я рассказала все моему духовнику. Он отнесся к этой фамильярности, — которая казалась мне тогда, да и теперь кажется, вполне невинной, — с большой серьезностью и решительно запретил мне впредь допускать ее. Она поцеловала мне шею, плечи, руки, похвалила округлость моих форм и фигуру, уложила в постель, подоткнула с двух сторон одеяло, поцеловала глаза, задернула полог и ушла. Да, забыла еще упомянуть, что настоятельница, предполагая, что я утомлена, разрешила мне оставаться в постели, сколько мне заблагорассудится.

Я воспользовалась ее разрешением. Это, думается мне, была единственная спокойная ночь, проведенная мною в монастырских стенах, а я почти их не покидала. На следующее утро, около девяти часов, кто-то тихо постучал в мою дверь; я еще лежала в постели. Я откликнулась, вошла монахиня. Довольно сердитым тоном она заметила, что уже поздно и что мать настоятельница просит меня к себе. Я встала, поспешно оделась и побежала к ней.

— Доброе утро, дитя мое, — сказала она. — Хорошо ли вы провели ночь? Кофе вас ждет уже целый час. Думаю, что он вам придется по вкусу. Пейте его поскорей, а потом мы побеседуем.

Говоря это, она разостлала на столе салфетку, подвязала меня другой, налила кофе и положила сахар. Другие монахини тоже завтракали друг у друга. В то время как я ела, она рассказала о моих товарках, обрисовала мне их, руководствуясь своей неприязнью или симпатией, обласкала меня, засыпала вопросами об оставленном мною монастыре, о моих родителях, о пережитых мною огорчениях. Хвалила, осуждала, болтая, что взбредет в голову, ни разу не дослушав до конца моего ответа. Я ей ни в чем не перечила. Она осталась довольна моим умом, моей рассудительностью, моей сдержанностью. Между тем пришла одна монахиня, потом вторая, потом третья, четвертая, пятая. Заговорили о птицах настоятельницы. Одна рассказала о странных привычках какой-то сестры, другая подсмеивалась над разными слабостями отсутствовавших. Все развеселились. В углу кельи стояли клавикорды, и я по рассеянности стала перебирать клавиши. Только что прибыв в монастырь, я не знала тех сестер, над которыми трунили, и не находила в том ничего забавного. Впрочем, если бы я и знала их, это не доставило бы мне удовольствия. Нужно обладать очень тонким юмором, чтобы шутка была удачной, да и у кого же из нас нет смешных сторон? В то время как все смеялись, я взяла несколько аккордов и мало-помалу привлекла к себе внимание окружающих. Настоятельница подошла ко мне и, похлопав по плечу, сказала:

— А ну, сестра Сюзанна, позабавь нас — сначала сыграй что-нибудь, а потом спой.

Я сделала то, что она велела, — исполнила две-три пьесы, которые знала наизусть, потом импровизировала немного, наконец, спела несколько строф из псалмов на музыку Мондонвиля[1].

— Все это прекрасно, — заметила настоятельница, — но святости мы имеет достаточно в церкви. Чужих здесь никого нет, это все мои добрые приятельницы, которые станут и твоими, спой нам что-нибудь повеселей.

---

[1] *Мондонвиль Жан Жозеф (1715-1773)* — французский композитор, сторонник французского направления в музыке в противовес итальянскому.

— Но, может быть, она ничего другого не знает, — возразили некоторые монахини. — Она устала с дороги, нужно ее поберечь; хватит на этот раз.

— Нет, нет, — заявила настоятельница, — она чудесно себе аккомпанирует, а лучшего голоса, чем у нее, нет ни у кого в мире. (И в самом деле, я пою недурно, но скорее могу похвалиться хорошим слухом, мягкостью и нежностью звука, чем силой голоса и широтой диапазона.) Я не отпущу ее, пока она нам не споет что-нибудь в другом роде.

Слова монахинь меня задели, и я ответила настоятельнице, что мое пение больше не доставляет удовольствия сестрам.

— Зато оно доставит удовольствие мне.

Я не сомневалась в таком ответе и спела довольно игривую песенку. Все захлопали в ладоши, стали хвалить меня, целовать, осыпать ласками, просили спеть еще — неискренние восторги, продиктованные ответом настоятельницы. Между тем среди присутствующих монахинь не было почти ни одной, которая не лишила бы меня голоса и не переломала бы мне пальцев, если б только могла. Те из них, которые, быть может, никогда в жизни не слышали музыки, позволили себе сделать по поводу моего пения какие-то нелепые и язвительные замечания, но это не произвело на настоятельницу никакого впечатления.

— Замолчите! — приказала она. — Сюзанна играет и поет, как ангел. Я хочу, чтобы она приходила ко мне каждый день. Когда-то *я сама немного играла* на клавесине и хочу, чтобы она вновь научила меня этому.

— Ах, сударыня, — возразила я, — что раньше умел, того никогда полностью не забудешь...

— Ну хорошо, я попробую; пусти меня на свое место...

Она взяла несколько аккордов и сыграла какие-то пьески — шальные, причудливые, бессвязные, как и ее мысли. Но, несмотря на все недостатки ее исполнения, я видела, что у нее гораздо больше беглости в пальцах, чем у меня. Я ей об этом сказала, потому что люблю отмечать чужие достоинства и редко упускаю такой случай, если только похвала не противоречит истине. Это так приятно!

Монахини разошлись одна за другой, и я осталась почти наедине с настоятельницей. Мы заговорили о музыке. Она сидела, я же стояла рядом с ней. Она взяла мои руки и, пожимая их, сказала:

— Она не только прекрасно играет, у нее еще самые прелестные пальчики на свете. Взгляните-ка, сестра Тереза.

Сестра Тереза опустила глаза, покраснела и что-то пробормотала. Однако — прелестные у меня пальцы или нет, права настоятельница или нет — почему это произвело такое впечатление на сестру Терезу? Настоятельница обняла меня за талию и, восхищаясь моей фигурой, привлекла меня к себе, посадила на колени, приподняла мне голову и попросила смотреть на нее. Она восторгалась моими глазами, ртом, щеками, цветом лица. Я молчала, потупив глаза, и переносила все ее ласки покорно, как истукан. Сестра Тереза была рассеянна, встревожена, она ходила взад и вперед по келье, трогала без всякой надобности все, что ей попадалось под руку, не знала, что с собой делать, смотрела в окно, прислушивалась, не стучит ли кто-нибудь в дверь.

— Сестра Тереза, ты можешь уйти, если соскучилась с нами, — предложила ей настоятельница.

— Нет, сударыня, мне не скучно.

— У меня еще тысяча вопросов к этой малютке.

— Не сомневаюсь.

— Я хочу знать всю ее жизнь. Как я могу загладить зло, которое ей причинили, если мне ничего не известно? Я хочу, чтобы она поведала мне все свои горести, ничего не скрывая. Я уверена, что у меня сердце будет разрываться и я заплачу, но это неважно. Сестра Сюзанна, когда же я все узнаю?

— Когда вы прикажете, сударыня.

— Я бы попросила тебя немедля приступить к рассказу, если у нас есть еще время. Который час?..

— Пять часов, сударыня, — ответила сестра Тереза. — Сейчас ударят к вечерне.

— Пусть она все-таки начнет.

— Вы обещали, сударыня, уделить мне минутку и утешить меня перед вечерней. У меня возникают такие мучительные мысли. Я бы так хотела открыть свою душу вам, матушка. Без этого я не смогу молиться в церкви, не смогу сосредоточиться.

— Нет, нет, — перебила ее настоятельница, — ты с ума сошла, брось эти глупости. Держу пари, что знаю, в чем дело. Мы поговорим об этом завтра.

— Ах, матушка, — молила сестра Тереза, упав к ногам настоятельницы и заливаясь слезами, — лучше сейчас.

— Сударыня, — сказала я настоятельнице, поднимаясь с ее колен, на которых еще сидела, — согласитесь на просьбу сестры, прекратите ее страдания. Я уйду; я еще успею исполнить ваше желание и рассказать все о себе. Когда вы выслушаете сестру Терезу, она перестанет болеть душой.

Я сделала шаг к двери, чтобы выйти, но настоятельница удержала меня одной рукой. Сестра Тереза схватила другую ее руку и, стоя на коленях, покрывала поцелуями и плакала.

— Право, сестра Тереза, — промолвила настоятельница, — ты мне очень докучаешь своими тревогами. Я тебе уже об этом говорила, мне это неприятно и стеснительно. Я не хочу, чтобы меня стесняли.

— Я это знаю, но я не властна над своими чувствами; я бы хотела, но не могу...

Тем временем я ушла, оставив настоятельницу с молоденькой сестрой.

Я не могла удержаться, чтобы не посмотреть на нее в церкви. Она все еще оставалась угнетенной и печальной. Наши глаза несколько раз встретились. Мне показалось, что она с трудом выдерживает мой взгляд. Что же касается настоятельницы, то она задремала в своем заалтарном кресле.

Службу закончили с необычайной быстротой. Церковь, повидимому, не являлась излюбленным местом в монастыре. Сестры выпорхнули из нее, щебеча как стая птиц, вылетающих из своей клетки. Они побежали друг к другу, смеясь и болтая. Настоятельница заперлась у себя, а сестра Тереза остановилась на пороге своей кельи, следя за мной, словно желая узнать, куда я направлюсь. Я вошла к себе, и только несколько минут спустя сестра Тереза бесшумно закрыла дверь своей кельи. Мне пришло на ум, что эта молодая девушка ревнует ко мне, что она боится, как бы я не похитила того места, которое она занимает в душе настоятельницы, и не лишила ее благоволения нашей матушки. Я наблюдала за нею несколько дней подряд, и когда ее злобные вспышки, ее ребяческий страх и упорная слежка за мной, ее внимание ко всем моим действиям, старания не оставлять нас вдвоем с настоятельницей, вмешиваться в наши беседы, умалять мои достоинства и подчеркивать мои недостатки, а еще более ее бледность, ее тоска, слезы, расстройство ее здоровья и, возможно, даже рассудка убедила меня в правильности моих подозрений, я пошла к ней и спросила:

— Милый друг, что с вами?

Она мне не ответила. Мое посещение застало ее врасплох, она смутилась. Она не знала, что сказать и что делать.

— Вы недостаточно справедливы ко мне. Будьте со мной откровенны. Вы боитесь, чтобы я не воспользовалась расположением ко мне нашей настоятельницы и не вытеснила вас из

ее сердца. Успокойтесь, это не в моем характере. Если мне посчастливится добиться какого-нибудь влияния на нашу...

— Вы добьетесь всего, чего пожелаете. Она вас любит. Она делает для вас в точности то, что вначале делала для меня.

— Ну так не сомневайтесь, что я использую доверие, которое она мне окажет, только для того, чтобы усилить ее нежное чувство к вам.

— Разве это будет зависеть от вас?

— А почему бы и нет?

Вместо ответа она бросилась мне на шею и сказала, вздыхая:

— Это не ваша вина, я знаю, я себе это все время твержу, но обещайте мне...

— Что я должна обещать вам?

— Что... что...

— Говорите, я сделаю все, что будет от меня зависеть.

Она замялась, закрыла руками глаза и проговорила так тихо, что я с трудом расслышала:

— Что вы будете как можно реже видеться с ней...

Эта просьба показалась мне столь странной, что я не могла удержаться, чтобы не спросить:

— А какое для вас имеет значение, часто или редко вижусь я с нашей настоятельницей? Меня нисколько не огорчит, если вы будете хоть все время проводить с ней. И вас тоже не должно огорчать, если я буду часто с ней видеться. Разве вам мало моего обещания не вредить ни вам, ни кому бы то ни было другому?

Отойдя от меня и бросившись на кровать, она мне ответила только следующими словами, произнесенными тоном глубокого страдания:

— Я погибла!

— Погибли? Но почему же? Вы, как видно, считаете меня самым злым существом в мире!

В эту минуту вошла настоятельница. Она заходила в мою келью, не застала меня там и безрезультатно обошла почти весь монастырь. Ей и в голову не пришло, что я могла быть у сестры Терезы. Когда она об этом узнала от тех сестер, которых послала меня искать, то поспешила сюда. Какое-то смятение отражалось в ее глазах и лице, но она ведь так редко бывала в ладу сама с собой.

Сестра Тереза молчала, сидя на своей кровати; я стояла рядом.

— Матушка, — обратилась я к настоятельнице, — простите, что я зашла сюда без вашего разрешения.

— Конечно, — ответила она, — было бы лучше попросить у меня разрешения.

— Мне стало жаль милую сестру, я видела, что она очень сокрушается.

— Из-за чего?

— Сказать ли вам? А почему бы не сказать? Такая чувствительность делает честь ее душе и так убедительно говорит о ее привязанности к вам. Знаки вашего расположения ко мне задели в ней самые чувствительные струны. Она боится, чтобы я не заняла первого места в вашем сердце. Это чувство ревности, столь достойное, естественное и лестное для вас, дорогая матушка, причинило, как мне кажется, страдание сестре, и я пришла ее успокоить.

Выслушав меня, настоятельница приняла строгий и внушительный вид.

— Сестра Тереза, — сказала она ей, — я вас любила и еще люблю. Я ни в чем не могу пожаловаться на вас, и вам не придется жаловаться на меня, но я не желаю выносить таких исключительных притязаний. Откажитесь от них, если не хотите утратить то, что осталось от моей привязанности к вам, и если еще помните судьбу сестры Агаты...

Тут, повернувшись ко мне, она пояснила:

— Это высокая брюнетка, которую вы видели в церкви напротив меня. (Я так мало общалась с другими монахинями, так недавно еще появилась в этом монастыре, была таким здесь новичком, что еще не знала имен всех моих товарок.) Я любила Агату, — продолжала настоятельница, — когда сестра Тереза вступила в наш монастырь и когда я начала ее баловать. Сестра Агата стала так же волноваться, совершала те же безумства. Я предупредила ее, но она не исправилась, и тогда мне пришлось прибегнуть к суровым мерам, которые применялись слишком долго и которые совершенно не соответствуют моему характеру; все сестры вам скажут, что я добра и наказываю только скрепя сердце...

Затем, снова обратившись к сестре Терезе, она прибавила:

— Дитя мое, я не потерплю никаких стеснений, я вам об этом уже говорила. Вы меня знаете, не доводите меня до крайности...

Потом, опершись на мое плечо, сказала мне:

— Пойдемте, сестра Сюзанна, проводите меня.

Мы вышли. Сестра Тереза хотела последовать за нами, но настоятельница, небрежно обернувшись через мое плечо, тоном, не терпящим возражений, приказала:

— Вернитесь в свою келью и не выходите оттуда, пока я вам не разрешу...

Та повиновалась, хлопнула дверью, и при этом у нее вырвались какие-то слова, от которых настоятельница вздрогнула, не знаю почему, так как они были лишены всякого смысла. Я заметила ее гнев и стала просить ее:

— Матушка, если вы сколько-нибудь расположены ко мне, простите сестру Терезу. Она потеряла голову, она не знает, что говорит и что делает.

— Простить ее? Охотно, но что я от вас за это получу?

— Ах, матушка, я была бы счастлива, если бы у меня нашлось что-нибудь, что могло бы вам понравиться и вас успокоить.

Она потупила глаза, покраснела и вздохнула — ну совсем как влюбленный. Затем прошептала, бессильно опираясь на меня, словно готовая лишиться чувств:

— Подставьте ваш лоб, я его поцелую.

Я наклонилась, и она поцеловала меня в лоб.

С той поры, когда какой-нибудь монахине случалось провиниться, я заступалась за нее и была уверена, что ценою самой невинной ласки добьюсь ее прощения. Она целовала мне лоб, шею, губы, руки или плечи, но чаще всего губы; она находила, что у меня чистое дыхание, белые зубы, свежий и алый рот.

Право, я была бы просто красавицей, если бы хоть в малейшей степени заслуживала тех похвал, которые она мне расточала. Любуясь моим лбом, она говорила, что он бел, гладок и прекрасно очерчен; о моих глазах она говорила, что они сверкают, как звезды; о моих щеках — что они румяны и нежны; она находила, что ни у кого нет таких округлых, словно точеных, рук с такими маленькими, пухлыми кистями; что грудь моя тверда, как камень, и чудесной формы; что такой изумительной, редкой по красоте шеи нет ни у одной из сестер. Чего только она мне не говорила — всего не перескажешь! Какая-то доля правды все же была в ее словах. Многое я считала преувеличением, но не все.

Иногда, окидывая меня с головы до ног восторженным взглядом, какого я никогда не замечала ни у одной женщины, она восклицала:

— Нет, это величайшее счастье, что господь призвал ее к затворничеству! С такой наружностью, живя в миру, она погубила бы всех мужчин, которые встретились бы на ее пути, и сама погибла бы вместе с ними. Все, что делает бог, он делает к лучшему.

Мы подошли к ее келье; я собиралась покинуть ее, но она взяла меня за руку и сказала:

— Слишком поздно начинать ваш рассказ о монастырях святой Марии и Лоншанском, но входите, вы сможете дать мне коротенький урок музыки.

Я последовала за ней. Вмиг она открыла клавесин, поставила ноты, придвинула стул — она ведь была очень подвижна. Я села. Опасаясь, как бы я не озябла, она сняла подушку с одного стула, положила ее передо мной, нагнулась к моим ногам и поставила их на подушку. Сперва я взяла два-три аккорда, а затем сыграла несколько пьес Куперена, Рамо и Скарлатти[1].

Тем временем она приподняла мой нагрудник и положила руку на мое голое плечо, причем кончики ее пальцев касались моей груди. Казалось, ей было душно, она тяжело дышала. Рука, лежавшая на моем плече, вначале его сильно сжимала, потом ослабела, как бы обессиленная и безжизненная, голова ее склонилась к моей. Право, эта сумасбродка была наделена необычайной чувствительностью и сильнейшей любовью к музыке. Я никогда не встречала людей, на которых музыка производила бы такое страстное впечатление.

Так проводили мы время бесхитростно и приятно, как вдруг распахнулась дверь. Я испугалась, настоятельница тоже. Ворвалась эта шалая сестра Тереза; одежда ее была в беспорядке, глаза мутны; она с самым пристальным вниманием оглядывала нас обеих, губы ее дрожали, она не могла произнести ни слова. Однако она тут же пришла в себя и бросилась перед настоятельницей на колени. Я присоединила свои просьбы к ее мольбам и снова добилась ее прощения. Но настоятельница заявила ей самым решительным образом, что это в последний раз, по крайней мере, за провинности такого рода, и мы вышли вдвоем с Терезой.

По дороге в наши кельи я сказала ей:

---

[1] *Куперен Франсуа (1668-1733)* — известный французский органист, клавесинист, композитор. *Рамо Жан-Филипп* (1683-1764) — прославленный французский композитор, органист, клавесинист, реформатор оперы, поборник национального стиля в музыке. *Скарлатти Доменико* (1685-1757) — итальянский композитор и клавесинист, виднейший представитель неаполитанской музыкальной школы.

— Милая сестра, будьте осторожны, вы восстановите против себя нашу матушку. Я вас не оставлю, но вы подорвете мое влияние на нее, и тогда, к великому сожалению, я уже ни в чем не смогу помочь ни вам, ни кому бы то ни было. Но скажите мне, что вас тревожит?

Никакого ответа.

— Чего опасаетесь вы с моей стороны?

Никакого ответа.

— Разве наша матушка не может одинаково любить нас обеих?

— Нет, нет, — с горячностью воскликнула она, — это невозможно! Скоро я стану ей противна и умру от горя. Ах, зачем вы приехали сюда? Вы здесь недолго будете счастливы, я в этом уверена, а я стану навеки несчастной.

— Я знаю, что потерять благоволение настоятельницы — это большая беда, — сказала я, — однако я знаю другую, еще большую беду — если такая немилость заслужена. Но ведь вы ни в чем не можете себя упрекнуть.

— Ах, если бы это было так!

— Если вы в глубине души чувствуете за собой какую-нибудь вину, надо постараться ее загладить, и самое верное средство — это терпеливо переносить кару.

— Нет, я не могу, не могу, да и ей ли карать меня!

— Конечно, ей, сестра Тереза, конечно же, ей! Разве так говорят о настоятельнице? Это не годится, вы забываетесь. Я уверена, что нынешняя ваша вина более серьезна, чем все те, за которые вы себя корите.

— Ах, если бы это было так, — повторила она, — если бы было так!..

И мы расстались. Она заперлась у себя в келье, чтобы предаться своему горю, я же в своей, чтобы поразмыслить над странностями женского характера.

Таковы плоды затворничества. Человек создан, чтобы жить в обществе; разлучите его с ним, изолируйте его — и мысли у него спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник среди пустыря. Посадите человека в лесную глушь — он одичает; в монастыре, где заботы о насущных потребностях усугубляются тяготами неволи, еще того хуже. Из леса можно выйти, из монастыря выхода нет. В лесу ты свободен, в монастыре ты раб. Требуется больше душевной силы, чтобы противостоять одиночеству, чем нужде. Нужда принижает, затворничество развращает. Что лучше —

быть отверженным или безумным? Не берусь решать это, но следует избегать и того и другого.

Я видела, что нежная привязанность, которую возымела ко мне настоятельница, растет с каждым днем. Я постоянно находилась в ее келье, или же она бывала в моей. При малейшем недомогании она отсылала меня в лазарет. Она освобождала меня от церковных служб, разрешала рано ложиться, запрещала присутствовать на заутрене. В церкви, в трапезной, в рекреационной зале она находила возможность выказать мне свою благосклонность. На молитве, когда встречался какой-нибудь задушевный, трогательный стих, она пела, обращаясь ко мне, или пристально на меня смотрела, когда пел кто-нибудь другой. В трапезной она всегда посылала какое-нибудь вкусное блюдо, которое ей подавали, в рекреационной зале обнимала меня за талию и осыпала приветливыми и ласковыми словами. Какое бы подношение она ни получала — шоколад, сахар, кофе, ликеры, табак, белье, носовые платки, — она всем делилась со мной. Чтобы украсить мою келью, она опустошила свою и перенесла ко мне эстампы, утварь, мебель и множество приятных и удобных вещиц. Я не могла выйти на минутку из своей кельи, чтобы, вернувшись, не найти какого-нибудь подарка. Я бежала благодарить ее, и она испытывала радость, которую трудно передать. Она меня обнимала, ласкала, сажала к себе на колени, посвящала в самые секретные дела монастыря и уверяла, что жизнь ее в монастыре будет протекать во сто крат более счастливо, чем если бы она оставалась в миру, — только бы я любила ее.

Как-то раз после такого разговора она посмотрела на меня растроганными глазами и спросила:

— Сестра Сюзанна, любите вы меня?

— Как же мне не любить вас, матушка? Не такая же я неблагодарная.

— Да, конечно.

— В вас столько доброты!

— Скажите лучше: столько нежности к вам...

При этих словах она опустила глаза. Одной рукой она все крепче обнимала меня, а другой, которая лежала на моем колене, все сильнее на него опиралась. Она привлекла меня к себе, прижалась лицом к моему лицу, вздыхала, откинулась на спинку стула, дрожала; казалось, что она должна что-то доверить мне и не решается. И, проливая слезы, она сказала:

— Ах, сестра Сюзанна, вы меня не любите!

— Не люблю вас, матушка?

— Нет.
— Скажите же, чем я могла бы вам это доказать?
— Догадайтесь сами.
— Я стараюсь догадаться, но не могу.

Она сбросила свою шейную косынку и положила мою руку себе на грудь. Она молчала, я тоже хранила молчание. Казалось, что она испытывает величайшее удовольствие. Она подставляла мне для поцелуя лоб, щеки и руки, и я целовала ее. Не думаю, чтобы в этом было что-нибудь дурное. Между тем испытываемое ею наслаждение все возрастало; а я, желая так невинно доставить ей еще больше счастья, снова целовала ей лоб, щеки, глаза и губы. Рука, лежавшая раньше на моем колене, скользила по моей одежде от самых ступней до пояса, сжимаясь то здесь, то там. Запинаясь, глухим, изменившимся голосом настоятельница просила не прекращать мои ласки. Я подчинилась. И наконец настала минута, когда она — не знаю, от сильного удовольствия или от страдания, — побледнела, как мертвая; глаза ее закрылись, тело судорожно вытянулось, губы, сначала крепко сжатые, увлажнились, и на них выступила легкая пена. Потом рот полуоткрылся, она испустила глубокий вздох. Мне показалось, что она умирает. Я вскочила, решив, что ей стало дурно, и хотела выбежать, чтобы позвать на помощь. Она приоткрыла глаза и сказала мне слабым голосом:

— Невинное дитя! Успокойтесь. Куда вы? Постойте...

Я смотрела на нее, ничего не понимая, не зная, оставаться или уходить. Она совсем открыла глаза, но не могла произнести ни слова и знаком попросила меня приблизиться и снова сесть к ней на колени. Не знаю, что со мной происходило; я была испугана, вся дрожала, сердце у меня сильно билось, я тяжело дышала, чувствовала себя смущенной, подавленной, взволнованной; мне было страшно; казалось, что силы меня покидают и что я лишаюсь чувства. Однако я бы не сказала, что мои ощущения были мучительны. Я подошла к ней; она снова знаком попросила меня сесть к ней на колени. Я села. Она казалась мертвой, я — умирающей. Мы обе довольно долго оставались в таком странном положении. Если бы неожиданно вошла какая-нибудь монахиня — право, она бы перепугалась. Она вообразила бы, что мы либо потеряли сознание, либо заснули. Наконец моя добрая настоятельница — ибо невозможно обладать такой чувствительностью, не будучи доброй, — стала приходить в себя. Она все еще полулежала на

своем стуле, глаза ее были закрыты, но лицо оживилось, на нем появился яркий румянец. Она брала то одну мою руку, то другую и целовала их.

— Матушка, как вы меня напугали! — сказала я ей.

Она кротко улыбнулась, не раскрывая глаз.

— Разве вам не было дурно?

— Нет.

— А я думала, что вам стало нехорошо.

— Наивное дитя! Ах, дорогая малютка, до чего она мне нравится!

Говоря это, она поднялась и снова уселась на свой стул, обняла меня обеими руками, крепко поцеловала в обе щеки и спросила:

— Сколько вам лет?

— Скоро исполнится двадцать.

— Не верится.

— Это истинная правда, матушка.

— Я хочу знать всю вашу жизнь; вы мне ее расскажете?

— Конечно, матушка.

— Все расскажете?

— Все.

— Однако сюда могут войти. Сядем за клавесин. Вы мне дадите урок.

Мы подошли к клавесину. Уж не знаю, по какой причине, но у меня дрожали руки, ноты сливались перед глазами, и я не могла играть. Я ей об этом сказала, она рассмеялась и заняла мое место, но у нее вышло еще хуже: она с трудом держала руки на клавишах.

— Дитя мое, — сказала настоятельница, — я вижу, что вы не в состоянии дать мне урок, а я не в состоянии заниматься. Я слегка утомлена, мне нужно отдохнуть. До свидания. Завтра, не откладывая, я должна узнать все, что происходило в этом сердечке. До свидания...

Обычно, когда мы расставались, она провожала меня до порога и смотрела мне вслед, пока я по коридору не доходила до своей кельи. Она посылала мне воздушные поцелуи и возвращалась к себе только тогда, когда я закрывала за собой дверь.

На этот раз она едва приподнялась и смогла лишь добраться до кресла, стоявшего у ее кровати, села, опустила голову на подушку, послала мне воздушный поцелуй, глаза ее закрылись, и я ушла.

Моя келья была почти напротив кельи сестры Терезы; дверь в нее была отворена. Тереза поджидала меня; она остановила меня и спросила:

— Ах, сестра Сюзанна, вы были у матушки?

— Да, — ответила я.

— И долго вы там оставались?

— Столько времени, сколько она пожелала.

— А ваше обещание?

— Я ничего вам не обещала.

— Осмелитесь ли вы рассказать мне, что вы там делали?

Хотя совесть моя была чиста, все же не скрою от вас, господин маркиз, что ее вопрос меня смутил. Она это заметила, стала настаивать, и я ответила:

— Милая сестра, быть может, мне вы не поверите, но вы, наверное, поверите нашей матушке. Я попрошу ее рассказать вам обо всем.

— Что вы, сестра Сюзанна, — с жаром прервала она меня, — упаси вас боже! Вы не захотите сделать меня несчастной. Она мне этого никогда не простит. Вы ее не знаете: она способна от самой большой нежности перейти к величайшей жестокости. Не знаю, что тогда будет со мной! Обещайте ничего ей не говорить.

— Вы этого хотите?

— Я на коленях молю вас об этом. Я в отчаянии, я понимаю, что должна покориться, и я покорюсь. Обещайте мне ничего ей не говорить...

Я подняла ее и дала ей слово молчать. Она поверила мне и не ошиблась. Мы разошлись по своим кельям.

Вернувшись к себе, я не в состоянии была собраться с мыслями; хотела молиться — и не могла, старалась чем-нибудь заняться, взялась за одну работу и оставила ее, принялась за другую, но и ее бросила и перешла к третьей. Все валилось у меня из рук, я ничего не соображала. Никогда еще я не испытывала ничего подобного. Глаза мои слипались; я задремала, хотя днем никогда не сплю. Проснувшись, я стала разбираться в том, что произошло между мною и настоятельницей, я тщательно проверяла себя, и после долгих размышлений мне показалось, что... но это были такие смутные, такие безумные и нелепые мысли, что я их отбросила. В результате я пришла к выводу, что настоятельница, должно быть, подвержена какой-то болезни; а потом мне пришла и другая мысль — что, по-видимому, болезнь эта заразительна, что она передалась уже сестре Терезе и что мне тоже ее не миновать.

На следующий день после заутрени настоятельница сказала мне:

— Сестра Сюзанна, сегодня я надеюсь узнать все, что вам пришлось пережить. Идемте.

Я последовала за ней. Она усадила меня в свое кресло рядом с кроватью, а сама поместилась на более низком стуле. Я выше ростом, и сиденье мое было выше, поэтому я немного возвышалась над ней. Настоятельница находилась так близко от меня, что прижала свои колени к моим и облокотилась на кровать.

После минуты молчания я начала свой рассказ:

— Хотя я еще очень молода, но перенесла много горя. Вот уже скоро двадцать лет, как я живу на свете, и двадцать лет, как страдаю. Не знаю, сумею ли я вам все рассказать и хватит ли у вас сил меня выслушать. Много выстрадала я в родительском доме, страдала в монастыре святой Марии, страдала в Лоншанском монастыре — всюду были одни страдания. С чего начать мне, матушка?

— С первых горестей.

— Но рассказ мой будет очень длинным и грустным; я бы не хотела огорчать вас так долго.

— Не бойся, я люблю поплакать; лить слезы — такое чудесное состояние для чувствительной души. Ты, наверно, тоже любишь плакать? Ты утрешь мои слезы, а я твои, и, может быть, когда ты будешь рассказывать о своих страданиях, мы будем счастливы. Как знать, куда приведет нас наше умиление?

При последних словах она посмотрела на меня снизу вверх уже влажными глазами. Она взяла меня за руки и еще больше придвинулась ко мне, так что мы касались друг друга.

— Рассказывай, дитя мое,— промолвила она,— я жду, я чувствую самую настоятельную потребность растрогаться. Кажется, за всю жизнь я никогда еще не была до такой степени преисполнена сострадания и нежности...

И вот я начала свой рассказ, почти совпадающий с тем, что я написала вам. Невозможно передать впечатление, которое он на нее произвел; как она вздыхала, сколько пролила слез, как негодовала против моих жестоких родителей, против отвратительных сестер из монастыря св. Марии и из Лоншанского монастыря. Я бы не хотела, чтобы на них обрушилась хоть малая доля тех бед, которые она им желала. Нет, мне не хотелось бы, чтобы хоть волос упал из-за меня с головы моего злейшего врага.

Время от времени она меня прерывала, вставала и прохаживалась по комнате, потом снова садилась на свое место. Иногда она поднимала руки и глаза к небу, потом прятала лицо в моих коленях.

Когда я ей рассказывала о сцене в карцере, об изгнании из меня беса, о моем церковном покаянии, она чуть не рыдала. Когда же я дошла до конца и умолкла, она низко склонилась к своей кровати, уткнулась лицом в одеяло, заломила руки и долго оставалась в таком положении.

— Матушка, — обратилась я к ней, — простите меня за огорчение, которое я вам причинила. Я вас предупреждала, но вы сами захотели...

Она ответила лишь следующими словами:

— Злые твари! Подлые твари! Только в монастыре можно до такой степени утратить человеческие чувства. Когда к обычному дурному расположению духа присоединяется еще ненависть, они переходят уже все границы. К счастью, я кротка и люблю всех своих монахинь; одни из них в большей, другие в меньшей степени уподобились мне, и все любят друг друга. Но как такое слабое здоровье могло выдержать столько мучений? Как эти маленькие руки и ноги не надломились? Как такой хрупкий организм все это выдержал? Как блеск этих глаз не угас от слез? Безжалостные! Скрутить эти руки веревками! — И она брала мои руки и целовала их. — Затопить слезами эти глаза! — И она целовала мои глаза. — Исторгнуть жалобы и стоны из этих уст!— И она целовала меня в губы. — Затуманить печалью это прелестное и безмятежное лицо! — И она целовала меня. — Согнать румянец с этих щек! — И она гладила мои щеки и целовала их. — Обезобразить эту головку, вырывая волосы! Омрачить этот лоб тревогами! — И она целовала мне голову, лоб, волосы... — Осмелиться накинуть веревку на эту шею и раздирать острием бича эти плечи!

Она приподняла мой нагрудник и головной убор, расстегнула верх моего одеяния. Мои волосы рассыпались по голым плечам, моя грудь была наполовину обнажена, и она покрывала поцелуями мою шею, плечи и полуобнаженную грудь.

Тут я заметила по охватившей ее дрожи, по сбивчивости ее речи, по блуждающим глазам, по трясущимся рукам, по ее коленям, которые прижимались к моим, по пылкости и неистовству ее объятий, что припадок у нее не замедлит повториться. Не знаю, что происходило со мной, но меня охватил ужас: я вся дрожала, была близка к обмороку. Все это подтверждало мое подозрение, что болезнь ее заразительна.

— Матушка, в какой вид вы меня привели? Если кто-нибудь войдет...

— Останься, — просила она меня глухим голосом, — никто сюда не придет.

Но я старалась встать и вырваться от нее.

— Матушка, — сказала я ей, — поберегите себя, не то приступ вашей болезни снова повторится. Разрешите мне покинуть вас...

Я хотела уйти, я этого хотела, — в этом сомнения нет, — но не могла. Я чувствовала полный упадок сил, ноги у меня подкашивались. Она сидела, а я стояла; она потянула меня к себе; я боялась на нее упасть и ушибить ее. Я села на край ее кровати и сказала ей:

— Матушка, не знаю, что со мной; мне дурно.

— И мне тоже, — ответила она. — Приляг, это пройдет, это пустяки.

В самом деле, настоятельница успокоилась, и я тоже. Мы обе были в изнеможении: я опустила голову на ее подушку, она склонила голову на мои колени и прижалась к моей руке. В таком положении мы оставались несколько минут. Не знаю, о чем она думала, я же ни о чем не могла думать: я была совершенно без сил.

Мы обе хранили молчание; настоятельница первая нарушила его и сказала:

— Сюзанна, судя по тому, что вы мне говорили о вашей первой настоятельнице, она, по-видимому, была вам очень дорога.

— Очень.

— Она любила вас не больше, чем я, но вы ее больше любили... Не так ли?

— Я была очень несчастна, она утешала меня в моих горестях.

— Но откуда у вас такое отвращение к монастырской жизни? Сюзанна, вы от меня что-то скрываете!

— Вы ошибаетесь, матушка.

— Не может быть, чтобы вам, такой очаровательной,— а вы полны очарования, дитя мое, вы даже сами не знаете, как оно велико, — не может быть, чтобы вам никто не говорил об этом.

— Мне говорили.

— А тот, кто говорил, вам нравился?

— Да.

— И вы почувствовали склонность к нему?

— Нет, нисколько.

— Как, ваше сердце никогда не трепетало?

— Никогда.

— Сюзанна, разве не страсть, тайная или порицаемая вашими родителями, причина вашей неприязни к монастырю? Доверьтесь мне, я снисходительна.

— Мне нечего доверить вам, матушка.

— Но все же скажите, что вызвало в вас такое отвращение к монастырской жизни?

— Сама эта жизнь. Я ненавижу весь ее уклад, обязанности, которые возлагаются на нас, затворничество, принуждение. Мне кажется, что мое призвание — в другом.

— Но почему вам это кажется?

— Потому, что меня гнетет тоска, я тоскую.

— Даже здесь?

— Да, матушка, даже здесь, несмотря на всю вашу доброту ко мне.

— Быть может, в глубине вашей души рождаются безотчетная тревога, какие-нибудь желания?

— Нет, никогда.

— Верю; мне кажется, что у вас спокойный нрав.

— В достаточной степени.

— Даже холодный.

— Возможно.

— Вы не знаете мирской жизни?

— Я мало ее знаю.

— Чем же она привлекает вас?

— Не могу сама себе уяснить, но, вероятно, в ней есть для меня какая-то прелесть.

— Не сожалеете ли вы о свободе?

— Конечно, а может быть, о многом другом.

— О чем же именно? Друг мой, говорите откровенно. Хотели бы вы быть замужем?

— Я бы предпочла замужество моему теперешнему положению. Это несомненно.

— Откуда такое предпочтение?

— Не знаю.

— Не знаете? Но скажите мне, какое впечатление производит на вас присутствие мужчины?

— Никакого. Если он умен и красноречив, я слушаю его с удовольствием; если он хорош собой, это не ускользает от моего внимания.

— И ваше сердце остается спокойным?

— До сих пор оно не знало волнений.

— Даже когда их страстные взгляды ловили ваши, разве вы не испытывали...

— Иногда я испытывала смущение; я опускала глаза.

— И ваш покой не был нарушен?

— Нет.

— И страсти ваши молчали?

— Я не знаю, что такое язык страстей.

— Однако он существует.

— Возможно.

— И вы не знакомы с ним?

— Не имею о нем понятия.

— Как! Вы... А ведь это очень сладостный язык. Хотели бы вы узнать его?

— Нет, матушка, для чего он мне?

— Для того, чтобы рассеять вашу тоску.

— А может быть, он усилит ее. И к чему может послужить этот язык страстей, если не с кем говорить?

— Когда пользуешься им, то всегда к кому-нибудь обращаешься. Конечно, это лучше, чем такая беседа с самим собой, хотя и последнее не лишено прелести.

— Я ничего в этом не смыслю.

— Если хочешь, дорогое дитя, я могу выразиться яснее.

— Не надо, матушка, не надо. Я ничего не знаю и предпочитаю оставаться в неведении, нежели узнать то, что, быть может, сделает меня еще более несчастной. У меня нет желаний, и я не стремлюсь иметь такие желания, которых не смогу удовлетворить.

— А почему бы ты не смогла удовлетворить их?

— Да как же?

— Так, как я.

— Как вы? Но ведь в этом монастыре никого нет.

— Есть вы, дорогой друг, и есть я.

— Ну, и что же я для вас? Что вы для меня?

— Какая невинность!

— Вы правы, матушка, я очень невинна и предпочла бы умереть, чем перестать быть такою, какая я есть.

Не знаю, почему последние мои слова произвели на настоятельницу неприятное впечатление; лицо ее вдруг изменилось, она стала серьезной, пришла в замешательство. Рука ее, которая лежала на моем колене, перестала его сжимать, потом она совсем убрала руку. Глаза ее были опущены.

— Что случилось, матушка? — спросила я ее. — Или у меня сорвалось какое-нибудь слово, обидевшее вас? Простите меня.

Я пользуюсь свободой, которую вы сами мне предоставили. Я не взвешиваю того, что говорю вам, и даже если б и взвешивала свои слова, я бы иначе не выразилась, а может быть, сказала бы что-нибудь еще более неуместное. Предмет нашей беседы так чужд мне! Простите меня...

При последних словах я обвила руками шею настоятельницы и прильнула к ее плечу. Она порывисто меня обняла и нежно прижала к себе. Так мы оставались несколько минут. Затем, обретя спокойствие, она с обычной сердечностью спросила:

— Сюзанна, вы хорошо спите?

— Прекрасно, — ответила я, — особенно в последнее время.

— И скоро засыпаете?

— Обычно довольно скоро.

— А когда вы засыпаете не сразу, о чем вы думаете?

— О моей прошлой жизни, о той, которую остается прожить, молюсь богу или плачу — всего не перескажешь.

— А утром, когда вы рано просыпаетесь?

— Я встаю.

— Вы сразу встаете?

— Сразу.

— Не любите помечтать?

— Нет.

— Понежиться на подушке?

— Нет.

— Насладиться теплотой постели?

— Нет.

— Никогда?..

Она остановилась на этом слове, и не без основания. То, о чем она собиралась спросить меня, было дурно, и возможно, что я поступаю еще хуже, передавая это вам, но я решила ничего не утаивать.

— У вас никогда не являлся соблазн полюбоваться своей красотой?

— Нет, матушка. Я не знаю, так ли я хороша, как вы находите; но если бы я и была красива, то мною должны были бы любоваться другие, а не я сама.

— А у вас не являлась мысль провести рукой по этой чудесной груди, по бедрам, по животу, по этому крепкому телу, такому нежному и белому?

— О, никогда. Ведь это грешно, и если бы это случилось, я не знаю, как бы я в этом созналась на исповеди...

Не помню, о чем у нас шел разговор, как вдруг пришли доложить настоятельнице, что ее ожидают в приемной. Мне показалось, что посещение это ее раздосадовало и что она предпочла бы продолжать нашу беседу, хотя мы болтали о таких пустяках, что о них не стоило жалеть. Мы расстались.

Никогда еще община не переживала таких счастливых дней, как со времен моего вступления в монастырь. Казалось, что сгладились все неровности характера настоятельницы. Говорили, что благодаря мне она обрела душевное равновесие. Она даже предоставила общине ради меня несколько дней отдыха, а в такие дни, называемые праздниками, стол бывает несколько лучше, чем обычно, церковные службы короче и все время между ними отводится досугу. Но это счастливое время вскоре должно было кончиться для всех, как и для меня.

За только что приведенным мною эпизодом последовало множество ему подобных, но я их опускаю. Вот что случилось после первого из них.

Какая-то тревога охватила настоятельницу, она похудела, потеряла свою обычную жизнерадостность и покой. Следующей ночью, когда все уже спали и в монастыре воцарилась тишина, она встала с постели и, побродив по коридорам, подошла к моей келье. У меня чуткий сон, и мне показалось, что я узнала ее шаги. Она остановилась, по-видимому, прижалась лбом к моей двери, и шорох, которым все это сопровождалось, бесспорно разбудил бы меня, если бы я спала. Я молчала; мне послышались какие-то жалобные стоны и вздохи. Я вздрогнула, потом решила прочесть «Ave»[1].

Вместо того чтобы подать голос, кто-то легкими шагами удалился и через некоторое время снова вернулся. Вздохи и стенания возобновились, я опять прочла «Ave», и шаги удалились во второй раз. Я успокоилась и уснула. Во время моего сна кто-то вошел ко мне, сел возле моей кровати и приоткрыл полог. Держа в руке маленькую свечу, свет от которой падал мне в лицо, вошедшая смотрела на меня в то время, как я спала, — так мне, по крайней мере, показалось, судя по ее позе, когда я открыла глаза. Это была наша настоятельница.

Я вскочила. Она заметила мой испуг и промолвила:

— Сюзанна, успокойтесь, это я...

Я снова положила голову на подушку.

— Матушка, — спросила я, — что вы здесь делаете в такой поздний час? Что вас сюда привело? Почему вы не спите?

---

[1] «Радуйся» (молитва богородице) *(лат.)*. — *Ред.*

— Я не могу уснуть, — ответила она, — и не усну еще долго. Меня мучают тяжелые сны. Стоит мне закрыть глаза, как страдания, перенесенные вами, представляются моему воображению: я вижу вас в руках этих бессердечных женщин, вижу ваши рассыпавшиеся по лицу волосы, ваши окровавленные ноги, вижу вас с факелом в руке и с веревкой на шее; мне кажется, что они собираются вас умертвить. Я вздрагиваю, вся трепещу, обливаюсь холодным потом; хочу прийти вам на помощь, испускаю крики, просыпаюсь и тщетно стараюсь снова заснуть. Вот что случилось со мной сегодня ночью. Я со страхом подумала, что это само небо предупреждает меня о беде, которая стряслась с моим другом. Я встала, подошла к вашим дверям и прислушалась. Мне показалось, что вы не спите; вы что-то говорили, я ушла. Я снова вернулась, вы опять заговорили, и я опять ушла. Я вернулась в третий раз и, когда решила, что вы уснули, вошла к вам. Уже довольно долго я сижу возле вас и боюсь вас разбудить. Вначале я не решалась отдернуть ваш полог, хотела уйти из боязни нарушить ваш покой, но не могла удержаться от желания узнать, хорошо ли себя чувствует моя дорогая Сюзанна. Я смотрела на вас. Как вы прекрасны даже во сне!

— Вы так добры, матушка!

— Я озябла, но теперь я знаю, что мне нечего бояться за мою малютку, и думаю, что засну. Дайте мне вашу руку.

Я ей подала руку.

— Какой спокойный пульс, какой ровный! Ничто ее не волнует.

— У меня довольно спокойный сон.

— Какая вы счастливая!

— Матушка, вы еще больше озябнете.

— Вы правы; до свидания, дружок, до свидания, я ухожу.

Однако она не уходила и продолжала на меня смотреть. Две слезы скатились из ее глаз.

— Матушка, — воскликнула я, — что с вами? Вы плачете? Как я жалею, что рассказала вам о моих горестях!..

В ту же минуту она закрыла двери, погасила свечу и бросилась ко мне. Она заключила меня в свои объятия, легла рядом со мной поверх одеяла, прижалась лицом к моему лицу и оросила его слезами. Она вздыхала и говорила жалобным и прерывающимся голосом:

— Дорогой друг, пожалейте меня!..

— Матушка, — спросила я, — что с вами? Вы нездоровы? Что нужно сделать?

— Меня трясет, — прошептала она, — я вся дрожу, смертельный холод пронизывает все мое тело.

— Хотите, я встану и уступлю вам свою постель?

— Нет, — сказала она, — вам не нужно вставать, приподнимите немного одеяло, я лягу с вами, согреюсь, и все пройдет.

— Матушка, но ведь это запрещено. Что скажут, если узнают об этом? Случалось, что на монахинь налагали епитимьи и за меньшие провинности. В монастыре святой Марии одна монахиня вошла ночью в келью к другой, к своей закадычной подруге, и не могу вам даже передать, как о ней дурно отзывались. Духовник несколько раз меня спрашивал, не предлагал ли мне кто-нибудь ночевать со мной, и строго запретил допускать это. Я рассказала ему о том, как вы ласкали меня, — я ведь ничего дурного в этом не вижу, — но он совсем другого мнения. Не понимаю, как я могла забыть его наставления; я твердо решила поговорить с вами об этом.

— Друг мой, — сказала она, — все спят, и никто не узнает. Я награждаю, и я наказываю, и, что бы ни говорил духовник, я не вижу дурного в том, что подруга пускает к себе подругу, которую охватило беспокойство, которая проснулась и ночью, несмотря на холод, пришла узнать, не грозит ли опасность ее милочке. Сюзанна, разве вам в родительском доме не приходилось спать вместе с одной из ваших сестер?

— Нет, никогда.

— Если бы явилась такая необходимость, разве вы бы не сделали этого без всяких угрызений совести? Если бы ваша сестра, встревоженная, дрожащая от холода, попросила местечко рядом с вами, неужели вы бы отказали ей в этом?

— Думаю, что нет.

— А разве я не ваша матушка?

— Да, конечно, но это запрещено.

— Дорогой друг, я это запрещаю другим, вам же я это разрешаю и об этом прошу. Я только минутку погреюсь и уйду. Дайте мне руку.

Я дала ей руку.

— Вот потрогайте — я дрожу, меня знобит. Я вся заледенела.

И это была сущая правда.

— Ах, матушка, да вы заболеете. Подождите, я отодвинусь на край кровати, а вы ляжете в тепло.

Я примостилась сбоку, приподняла одеяло, и она легла на мое место. Как ей было плохо! Ее всю трясло, как в лихорадке.

Она хотела мне что-то сказать, хотела придвинуться, но язык повиновался ей с трудом, она не могла шевельнуться.

— Сюзанна, — прошептала она, — друг мой, придвиньтесь ко мне.

Она протянула руки. Я повернулась к ней спиной, она обняла меня и привлекла к себе; правую руку она подсунула снизу, левую положила на меня.

— Я вся закоченела, мне так холодно, что я не хочу прикоснуться к вам; боюсь, что вам это будет неприятно.

— Не бойтесь, матушка.

Она тотчас положила одну руку мне на грудь, а другой обвила мою талию. Ее ступни были под моими ступнями; я растирала их ногами, чтобы согреть, а матушка говорила мне:

— Ах, дружок мой, видите, как скоро согрелись мои ноги, потому что они тесно прижаты к вашим ногам.

— Но что же мешает вам, матушка, таким же образом согреться всей?

— Ничего, если вы не возражаете, — сказала она.

Я повернулась к ней лицом, она спустила с себя сорочку, а я расстегнула свою, но тут кто-то три раза громко постучал в дверь. Перепугавшись, я сразу соскочила с кровати в одну сторону, настоятельница — в другую. Мы прислушались. Кто-то возвращался на цыпочках в соседнюю келью.

— Ах, — воскликнула я, — это сестра Тереза. Она видела, как вы проходили по коридору и вошли ко мне. Она подслушивала нас и, наверно, разобрала то, что мы говорили. Что она подумает?

Я была ни жива ни мертва.

— Да, это она, — раздраженным тоном подтвердила настоятельница, — это она, я в этом не сомневаюсь, но я надеюсь, что она долго будет помнить свою дерзость.

— Ах, матушка, не поступайте с ней слишком строго.

— До свидания, Сюзанна, — сказала она мне, — доброй ночи; ложитесь в постель и спите спокойно, я вас освобождаю от заутрени. Пойду к этой сумасбродке. Дайте мне вашу руку...

Я протянула ей руку через кровать. Она приподняла рукав моей рубашки и, вздыхая, покрыла поцелуями руку, с кончиков пальцев до плеча. Потом вышла, твердя, что дерзкой девчонке, осмелившейся ее обеспокоить, это даром не пройдет.

Я поспешно пододвинулась к другому краю кровати, поближе к дверям, и стала слушать: настоятельница вошла к сестре Терезе. У меня явилось сильное желание встать и, если сцена окажется очень бурной, пойти и заступиться за сестру.

Но мне было так не по себе, я была так взволнована, что предпочла остаться в постели. Однако заснуть я не могла. Я подумала, что весь монастырь станет злословить на мой счет, что это происшествие, само по себе такое обыденное, разукрасят самыми неблаговидными подробностями, что здесь мое положение будет еще хуже, чем в Лоншане, где меня обвиняли неизвестно в чем, что наш проступок будет доведен до сведения начальства, что нашу настоятельницу сместят и нас обеих строго накажут. Я была настороже, с нетерпением ожидая, когда настоятельница выйдет от сестры Терезы. По-видимому, уладить это дело было не так-то легко, потому что она провела там почти всю ночь. Как я ее жалела! Она была в одной рубашке, босая и вся дрожала от гнева и холода.

Утром у меня был большой соблазн воспользоваться разрешением настоятельницы и остаться в постели, но потом я подумала, что этого не следует делать. Я поспешила одеться и первой оказалась в церкви, куда ни настоятельница, ни сестра Тереза не явились вовсе. Отсутствие Терезы доставило мне большое удовольствие: во-первых, потому, что я не смогла бы без смущения встретиться с ней; во-вторых, разрешение не приходить к заутрене говорило о том, что, по всей вероятности, она добилась от настоятельницы прощения и мне не о чем было беспокоиться. Я угадала.

Как только окончилась служба, настоятельница послала за мной. Я зашла к ней; она еще была в постели. Вид у нее был очень усталый, и она мне сказала:

— Мне нездоровится, я совсем не спала. Сестра Тереза сошла с ума. Если это еще раз с ней повторится, мне придется посадить ее под замок.

— Ах, матушка, никогда этого не делайте, — попросила я.

— Это будет зависеть от ее поведения. Она мне обещала исправиться, и я на это рассчитываю. А вы как себя чувствуете, дорогая Сюзанна?

— Недурно, матушка.

— Вы хоть немного поспали?

— Совсем мало.

— Мне говорили, что вы были в церкви. Почему вы так рано встали?

— Я бы плохо себя чувствовала в постели. И потом, мне показалось, что будет лучше, если...

— Нет, ничего неуместного в этом бы не было. Мне хочется подремать, я советую вам пойти к себе и тоже отдохнуть, если только вы не предпочитаете прилечь рядом со мной.

— Я очень вам благодарна, матушка, но привыкла быть одна в постели, иначе я не смогу заснуть.

— Ну так идите. Я не спущусь в трапезную к обеду, мне подадут сюда. Возможно, что я останусь в постели весь день. Приходите ко мне, у меня будут еще несколько монахинь, которых я к себе пригласила.

— А сестра Тереза тоже придет? — спросила я.

— Нет, — ответила она.

— Очень рада.

— Почему?

— Не знаю, но мне как-то страшно встретиться с ней.

— Успокойся, дитя мое. Поверь мне, это она боится тебя, а тебе нечего ее бояться.

Я покинула настоятельницу и пошла к себе отдохнуть. После обеда я снова вернулась к ней и застала в ее келье довольно многолюдное собрание, состоявшее из самых молодых и хорошеньких монахинь нашего монастыря. Остальные только навестили ее и ушли. Уверяю вас, господин маркиз, — вы ведь знаете толк в живописи, — что картина, представшая перед моими глазами, не лишена была прелести. Вообразите себе мастерскую, где работали десять — двенадцать девушек, из которых младшей лет пятнадцать, а старшая не достигла еще двадцати трех. На своей кровати полулежала настоятельница, женщина лет сорока, белая, свежая, пухлая, с двойным подбородком, мало портившим ее, с полными, будто выточенными руками в ямочках, с тонкими, длинными пальцами,с большими черными глазами, живыми и ласковыми, почти всегда полузакрытыми, словно их обладательнице слишком утомительно полностью их открыть, с алыми, как роза, губами, с белоснежными зубами, прелестными щеками, красивой головой, глубоко ушедшей в мягкую, пышно взбитую подушку. Руки, лениво вытянутые по бокам, покоились на подложенных под локти подушечках. Я сидела на краю кровати и ничего не делала: одна монахиня поместилась в кресле, держа на коленях маленькие пяльцы, некоторые уселись у окон и плели кружева, другие, устроившись на полу, на подушках, снятых со стульев, шили, вышивали, раздергивали по ниткам ткань или пряли на маленьких прялках. Тут были и блондинки и брюнетки, ни одна не походила на другую, но все были хороши собой. По характеру они были столь же различны, как и по наружности. Одни были невозмутимо спокойны, другие веселы, некоторые серьезны, задумчивы или грустны. Как я уже сказала, все, за исключением меня, работали. Нетрудно было определить, кто

с кем дружит, кто к кому относится равнодушно или враждебно. Подруги поместились рядом или одна против другой. Работая, они болтали, советовались, переглядывались; передавая булавку, иглу или ножницы, пожимали друг другу украдкой пальцы. Глаза настоятельницы останавливались то на одной, то на другой; одну она журила за слишком большое усердие, другую за праздность, ту за равнодушие, эту за грусть. Некоторым она приказывала показать ей работу, хвалила или отзывалась неодобрительно, поправляла кое-кому головной убор.

— Покрывало чересчур надвинуто... Чепец слишком закрывает лицо, недостаточно видны щеки. Складки эти плохо заложены. — И к каждой она обращалась либо с ласковым словом, либо с легким укором.

В то время как мы были заняты таким образом, я услышала легкий стук и направилась к двери.

Настоятельница крикнула мне вслед:

— Сестра Сюзанна, вы вернетесь?

— Конечно, матушка.

— Непременно возвращайтесь; я должна сообщить вам нечто очень важное.

— Я сейчас же вернусь...

За дверью стояла бедная сестра Тереза. Несколько минут она не могла произнести ни слова; я тоже молчала, потом спросила ее:

— Сестра, это меня вы хотели видеть?

— Да.

— Что я могу для вас сделать?

— Сейчас скажу. Я навлекла на себя немилость матушки. Я полагала, что она меня простила, и имела некоторое основание так думать. Однако все вы собрались у нее, кроме меня. Мне же приказано оставаться в своей келье.

— А вы хотели бы войти?

— Да.

— Может быть, вы желаете, чтобы я попросила разрешения у настоятельницы?

— Да.

— Подождите, дорогая моя, я сейчас пойду к ней.

— И вы в самом деле будете просить за меня?

— Конечно. А почему бы мне не обещать вам этого? И почему бы не исполнить того, что обещала?

— Ах, — сказала она, нежно на меня взглянув, — я ей прощаю — да, я прощаю ей ее склонность к вам; вы наделены все-

ми достоинствами: изумительной душой и прекрасной наружностью.

Я с радостью готова была оказать ей эту маленькую услугу. Я вернулась в келью. Другая монахиня за это время заняла мое место на краю кровати; она наклонилась к настоятельнице, оперлась локтем на ее колени и показывала ей свою работу. Настоятельница, полузакрыв глаза, отвечала ей «да» и «нет», почти не глядя на нее. Она меня не заметила, хотя я стояла рядом. Мысли ее где-то витали. Однако вскоре она очнулась. Монахиня, занимавшая мое место, уступила мне его. Я села и, слегка наклонясь к настоятельнице, которая приподнялась на своих подушках, молча посмотрела на нее, словно хотела попросить о какой-то милости.

— Ну что, — спросила она, — в чем дело, Сюзанна? Что вам нужно? Разве я могу в чем-нибудь вам отказать?

— Сестра Тереза...

— Понимаю. Я очень недовольна ею, но сестра Сюзанна просит за нее, и я ее прощаю. Скажите, что она может войти.

Я побежала. Бедная сестричка ждала у дверей. Я пригласила ее войти. Она вошла, вся дрожа, с опущенными глазами. В руках она держала длинный кусок кисеи, прикрепленный к выкройке, который она выронила при первых же шагах. Я его подняла, взяла ее под руку и подвела к настоятельнице. Тереза бросилась на колени, схватила руку матушки, поцеловала ее, вздыхая, со слезами на глазах, потом взяла мою руку, вложила ее в руку настоятельницы и поцеловала обе. Настоятельница знаком позволила ей встать и занять любое место. Тереза воспользовалась ее разрешением. Подали угощение. Настоятельница встала с кровати, но не села с нами; она прохаживалась вокруг стола, клала руку на голову одной сестры, слегка ее запрокидывала и целовала в лоб; приподнимала нагрудник у другой, проводила ладонью по ее шее и несколько минут стояла позади нее, облокотясь на спинку кресла; переходила к третьей, гладила ее или подносила руку к ее губам. Едва прикасаясь к поданным сладостям, она угощала ими то одну, то другую. Обойдя таким образом весь стол, она остановилась рядом со мной и посмотрела на меня очень ласково и нежно. Остальные монахини, особенно сестра Тереза, потупили взор, словно боясь ее стеснить или отвлечь ее внимание. Когда покончили с угощением, я села за клавесин и стала аккомпанировать двум сестрам, которые пели очень недурно, со вкусом, не фальшивя, хотя у них и не было школы. Я тоже пела, аккомпанируя себе. Настоятельница села сбоку у клавесина; казалось, ей доставля-

ло величайшее удовольствие слушать меня и смотреть на меня. Некоторые слушали стоя, ничего не делая, другие снова принялись за работу. Это был восхитительный вечер. После музыки все разошлись.

Я хотела уйти вместе с другими, но настоятельница остановила меня.

— Который час? — спросила она.

— Около шести.

— Сейчас ко мне зайдут некоторые монахини из нашего монастырского совета. Я обдумала то, что вы мне рассказали о вашем уходе из Лоншанского монастыря, и сообщила им свое мнение. Они согласились со мной, и мы хотим обратиться к вам с предложением. Мы, безусловно, добьемся успеха, и это принесет кое-какие блага монастырю, да и вы не останетесь в убытке...

В шесть часов пришли члены монастырского совета; он состоит обычно из очень старых, совсем дряхлых монахинь. Я встала, они уселись, и настоятельница обратилась ко мне:

— Не говорили ли вы мне, сестра Сюзанна, что вкладом, внесенным в наш монастырь, вы обязаны щедрости господина Манури?

— Совершенно верно, матушка.

— Значит, я не ошиблась, и сестры из Лоншанского монастыря продолжают владеть вкладом, внесенным вами в их обитель?

— Да, матушка.

— Они ничего вам не вернули?

— Ничего, матушка.

— Они вам не назначили никакой ренты?

— Никакой, матушка.

— Это несправедливо, о чем я и сообщила членам монастырского совета, и они полагают, так же как и я, что вы вправе предъявить лоншанским сестрам иск. Они должны либо передать этот вклад нашему монастырю, либо назначить вам соответствующую ренту. Средства, предоставленные вам господином Манури, который принял участие в вашей судьбе, не имеют никакого отношения к долгу лоншанских сестер, и не в их интересах он действовал, внося за вас вклад.

— Я тоже так думаю, но, чтобы в этом убедиться, самое простое было бы ему написать.

— Безусловно, и в случае, если он ответит в желательном для нас смысле, мы намерены сделать вам следующее предложение: мы предъявим от вашего имени иск к Лоншанскому

монастырю, примем на наш счет все издержки; они будут не очень велики — ведь, по всей вероятности, господин Манури не откажется взять на себя ведение дела. Если мы выиграем процесс, наш монастырь поделит с вами пополам самый вклад или ренту. Как вы на это смотрите, дорогая сестра? Вы не отвечаете? О чем вы задумались?

— Я думаю о том, что лоншанские сестры причинили мне много зла, и я была бы просто в отчаянии, если бы они вообразили, что я им мщу.

— Дело тут не в мести, а в том, чтобы потребовать от них то, что они вам должны.

— Еще раз привлечь к себе общее внимание!

— Об этом нечего беспокоиться: о вас почти не будет и речи. К тому же наша община бедна, а лоншанская богата. Вы будете нашей благодетельницей, по крайней мере, пока вы живы. Конечно, мы постараемся сохранить вам жизнь не из этих побуждений, мы все вас любим...

И все монахини разом воскликнули:

— Как можно ее не любить? Она — само совершенство!

— Я могу в любую минуту умереть, а моя преемница, возможно, не будет питать к вам таких чувств, как я. О нет, она, конечно, не будет питать их! Вы можете почувствовать недомогание, у вас могут возникнуть какие-нибудь потребности; ведь так приятно располагать небольшими деньгами, чтобы облегчить жизнь себе и помочь другим.

— Дорогие матери, — сказала я, — этими соображениями нельзя пренебречь, раз они исходят от вас, но есть и другие, для меня более существенные. Впрочем, какое бы отвращение во мне это ни вызывало, я готова всем поступиться ради вас. Единственная милость, о которой я прошу вас, матушка, — это ничего не предпринимать, не посоветовавшись в моем присутствии с господином Манури.

— Что ж, это вполне уместно. Вы хотите ему сами написать?

— Как вам будет угодно, матушка.

— Напишите, и чтобы не возвращаться к этому вопросу дважды, ибо я не выношу такого рода дел, — мне становится скучно от них до смерти, — напишите ему сейчас же!

Мне дали перо, чернил и бумаги, и я тут же написала г-ну Манури, что прошу его оказать мне любезность и прибыть в монастырь, как только он будет располагать временем, что я опять нуждаюсь в его помощи и указаниях по важному делу. Совет заслушал это письмо, одобрил его, и оно было послано.

Господин Манури приехал через несколько дней. Настоятельница изложила ему суть дела, и он, ни минуты не колеблясь, присоединился к ее мнению. Моя щепетильность была признана нелепой. Было решено на следующий же день возбудить дело против Лоншанского монастыря. Так и поступили. И вот, против моей воли, имя мое вновь стало упоминаться в прошениях, в докладных записках, на судебных заседаниях, и притом еще с добавлением таких подробностей, таких клеветнических измышлений, такой лжи и мерзости, какие только можно придумать, чтобы очернить человека в глазах его судей и вооружить против него общественное мнение.

Ах, господин маркиз, разве дозволено адвокатам клеветать, сколько им вздумается? Разве это должно остаться безнаказанным? Если б я могла предвидеть все огорчения, принесенные мне этим делом, — уверяю вас, что я никогда бы не согласилась возбудить его. Лоншанские сестры дошли до того, что прислали нескольким монахиням нашего монастыря бумаги, оглашенные на суде и направленные против меня. И наши монахини беспрестанно являлись ко мне с расспросами о подробностях ужасных событий, которые были сплошным вымыслом. Чем больше я обнаруживала неведения, тем больше убеждались в моей виновности. Считали все истиной, потому что я ничего не объясняла, ни в чем не признавалась и все отрицала. Ехидно улыбались, бросали туманные, но весьма оскорбительные намеки, пожимали плечами, не веря в мою невинность. Я плакала, я была очень удручена.

Но беда никогда не приходит одна. Наступило время исповеди. Я уже рассказала духовнику о ласках, которыми настоятельница осыпала меня в первые дни. Он строго запретил мне допускать их. Но как отказать в том, что доставляет огромное удовольствие человеку, от которого всецело зависишь, если не видишь в этом ничего дурного?

Этот духовник должен играть большую роль в остальной части моих воспоминаний, поэтому мне кажется уместным познакомить вас с ним.

Это францисканец[1], зовут его отец Лемуан, ему не больше сорока пяти лет. Такое прекрасное лицо, как у него, редко

---

[1] *Францисканец* — член одного из католических монашеских «нищенствующих» орденов, основанного в начале XIII в. Франциском Ассизским (1182-1226) в Италии и получившего широкое распространение в Европе и за ее пределами.

встретишь. Кроткое, ясное, открытое, улыбающееся, приятное, когда он забывает о своем сане; но стоит ему о нем вспомнить, как лоб его покрывается морщинами, брови хмурятся, глаза смотрят вниз, и он становится суров в обхождении. Я не знала двух таких различных людей, как отец Лемуан у алтаря и отец Лемуан в приемной, когда он один или когда он в чьем-нибудь обществе.

Впрочем, таковы все, принявшие монашеский обет, и даже я сама неоднократно ловила себя на том, что, направляясь к решетке приемной, я вдруг останавливаюсь, поправляю на себе покрывало, головную повязку, придаю надлежащее выражение лицу, глазам, губам, скрещиваю на груди руки, слежу за своей осанкой, за походкой, напускаю на себя смиренность и держу себя соответствующим образом более или менее долго, в зависимости от того, что за люди мои собеседники.

Отец Лемуан высокого роста, хорошо сложен, весел и очень любезен, когда не наблюдает за собой. Он очень красноречив. В своем монастыре он считается ученым богословом, а среди мирян — прекрасным проповедником. Он изумительный собеседник; чрезвычайно сведущ во многих, чуждых его званию, областях. У него чудесный голос, он знает музыку, историю и языки. Он доктор Сорбонны. Хотя он сравнительно еще молод, но достиг уже высших степеней в своем ордене. Мне кажется, что он не интриган и не честолюбец. Он любим своими собратьями. Ходатайствуя о назначении настоятелем Этамиского монастыря, он полагал, что на этом спокойном посту он сможет, ничем не отвлекаясь, погрузиться в начатые им научные исследования. Просьба его была уважена. Выбор духовника — чрезвычайно серьезный вопрос для женского монастыря. Пастырем должен быть человек влиятельный и высоких душевных качеств. Было сделано все возможное, чтобы заполучить отца Лемуана, и это удалось, но только для особо важных случаев.

Накануне больших праздников за ним посылали монастырскую карету, и он приезжал. Нужно было видеть, в какое волнение приходила вся община, ожидая его, как все радовались, как, запершись у себя, готовились к исповеди. Чего только не придумывали, чтобы удержать его внимание как можно дольше!

Был канун троицы. Ждали его приезда. Я была сильно встревожена; настоятельница это заметила и стала меня расспрашивать. Я не утаила от нее причину моего волнения. Мне показалось, что она обеспокоена еще больше, чем я, хотя и де-

лала все возможное, чтобы от меня это скрыть. Она назвала отца Лемуана чудаком, посмеялась над моими сомнениями, сказала, что отец Лемуан не может лучше судить о чистоте моих и ее чувств, чем наша совесть, и спросила, могу ли я себя упрекнуть в чем-либо. Я ответила ей отрицательно.

— Ну, хорошо,— сказала она.— Я ваша настоятельница, вы обязаны повиноваться мне, и я приказываю вам не упоминать ему об этих глупостях. Вам и на исповедь незачем идти, если у вас нечего ему сказать, кроме таких пустяков.

Между тем отец Лемуан приехал, и я все же приготовилась к исповеди; но многие, которым не терпелось поскорей оказаться в исповедальне, опередили меня. Мой черед приближался, когда настоятельница подошла ко мне, отозвала меня в сторону и сказала:

— Сестра Сюзанна, я обдумала то, что вы мне говорили. Возвращайтесь в свою келью, я не хочу, чтобы вы сегодня шли на исповедь.

— Но почему же, матушка? — спросила я.— Завтра большой праздник, в этот день все причащаются. Что подумают обо мне, если я одна не подойду к святому престолу?

— Это не имеет значения, пусть говорят что угодно, но вы ни в коем случае не пойдете к исповеди.

— Матушка,— взмолилась я,— если вы меня действительно любите, не подвергайте меня такому унижению, я прошу вас об этом как о милости.

— Нет, нет, это невозможно, вы мне причините какие-нибудь неприятности с этим человеком, а я этого совсем не желаю.

— Нет, матушка, уверяю вас.

— Обещайте же мне... Да нет, это совсем не нужно. Завтра утром вы придете ко мне и покаетесь. За вами нет такой вины, которую я бы не могла простить сама. Я отпущу вам грехи, и вы будете причащаться вместе со всеми сестрами. Ступайте.

Я ушла к себе и оставалась в своей келье, печальная, встревоженная, задумчивая, не зная, на что решиться — пойти ли к отцу Лемуану вопреки желанию настоятельницы, удовлетвориться ли ее отпущением грехов, приобщиться ли завтра святых тайн со всей общиной или же отказаться от причастия, что бы об этом ни говорили. Настоятельница пришла ко мне, побывав на исповеди, после которой отец Лемуан спросил ее, почему меня сегодня не видно, не больна ли я. Не знаю, что она ему ответила, но в заключение он сказал, что ждет меня в исповедальне.

— Идите туда, раз это необходимо, — сказала она, — но дайте мне слово молчать.

Я колебалась, она настаивала.

— Да что ты, глупенькая? Что дурного в том, чтобы умолчать о поступках, в которых не было ничего дурного?

— А что дурного, если о них сказать? — спросила я.

— Ничего, но это не совсем удобно. Кто знает, какое значение припишет им этот человек? Дайте мне слово.

Я все еще была в нерешительности, но в конце концов обещала ничего не говорить, если он сам не станет меня спрашивать, и направилась в исповедальню.

Я закончила исповедь и умолкла, но духовник задал мне ряд вопросов, и я ничего не скрыла. Какие это были странные вопросы! Даже и теперь, когда я о них вспоминаю, они мне совершенно непонятны. Ко мне он отнесся очень снисходительно, но о настоятельнице говорил в таких выражениях, что я содрогнулась от ужаса: он называл ее недостойной, распущенной, дурной монахиней, зловредной женщиной с развращенной душой и потребовал, под страхом обвинения в смертном грехе, чтобы я никогда не оставалась с ней наедине и не разрешала ей никаких ласк.

— Но, отец мой, — заметила я, — она ведь моя настоятельница, она может зайти ко мне, позвать к себе, когда ей вздумается.

— Я это знаю, хорошо знаю и очень скорблю об этом, дорогое дитя, — сказал он. — Хвала господу, до сих пор охранявшему вас от греха! Не дерзая выразиться более ясно — из боязни самому стать соучастником вашей недостойной настоятельницы и тлетворным дыханием, которое помимо моей воли исторгнут мои уста, смять нежный цветок, оставшийся свежим и незапятнанным лишь потому, что вас хранило до сих пор провидение, — я приказываю вам бежать от вашей настоятельницы, отвергать ее ласки, никогда не входить к ней одной, не пускать ее к себе, особенно ночью; соскочить с постели, если она войдет наперекор вашей воле, выйти в коридор, звать на помощь, если это будет необходимо; бежать к подножию алтаря, хотя бы вы были совсем раздеты, своим криком поднять на ноги весь монастырь и сделать все, что любовь к богу, страх смертного греха, святость вашего звания и забота о спасении вашей души внушили бы вам, если бы сам сатана предстал пред вами и преследовал вас. Да, дитя мое, сам сатана, ибо в образе сатаны я вынужден показать вам вашу настоятельницу; она погрязла в бездне греха и увлекает вас за собой, и вас вме-

сте с ней поглотила бы эта бездна, если бы ваша невинность не повергла ее в ужас и не остановила ее.

Потом, возведя глаза к небу, он воскликнул:

— Господи, не оставь своими милостями это дитя... Повторите за мной: «Satana, vade retro, apage, Satana»[1].

Если эта несчастная станет вас расспрашивать, ничего не утаивайте, передайте ей мои слова, скажите, что лучше, если бы она вовсе не рождалась на свет или наложила на себя руки и низринулась одна в преисподнюю.

— Но, отец мой, — возразила я, — вы ведь сами только что исповедовали ее.

Он мне ничего не ответил, только, тяжко вздохнув, оперся руками на перегородку исповедальни и прислонил к ней голову, как человек, объятый скорбью. Несколько минут оставался он в таком положении. Я не знала, что думать, колени у меня подгибались, я была в таком смятении, в таком замешательстве, что и представить себе невозможно. Так чувствует себя путник, бредущий во мраке между безднами, скрытыми от его глаз, и потрясенный подземными голосами, кричащими ему со всех сторон: «Ты погиб!»

Потом, взглянув на меня спокойным и растроганным взором, он спросил меня:

— Вы совершенно здоровы?

— Да, отец мой.

— Вас не слишком измучит ночь, проведенная без сна?

— Нет, отец мой.

— Так вот, сегодня вы вовсе не ляжете спать и сразу же после вечерней трапезы пойдете в церковь, падете ниц перед алтарем и всю ночь проведете в молитве. Вы сами не знаете, какой опасности подвергались, — возблагодарите же бога, что он охранил вас от нее. А завтра вы подойдете к святому престолу вместе со всеми сестрами. Я налагаю на вас только одну епитимью — не подпускать к себе близко настоятельницу и решительно отвергать ее отравленные ласки. Идите. Я, со своей стороны, присоединю свои молитвы к вашим. Как я буду тревожиться за вас! Я понимаю все последствия советов, которые вам даю, но таков мой долг перед вами и перед самим собой. Бог наш владыка, и да свершится воля его!

Я лишь смутно припоминаю, сударь, все, что он мне тогда сказал. Теперь же, сопоставляя его речи, в том виде, в каком я передала их вам, с тем страшным впечатлением, которое они

---

[1] Сатана, отпусти, отойди, сатана *(лат.)*. — *Ред.*

на меня тогда произвели, я вижу, насколько несравнимо одно с другим. И это происходит оттого, что изложение мое бессвязно, отрывочно, что многое уже изгладилось теперь из моей памяти, потому что суть его слов осталась для меня неясной и я не придавала тогда — да и сейчас не придаю — никакого значения тому, на что он обрушивался с такой яростью. Почему, например, сцена у клавесина показалась ему столь странной? Разве нет людей, на которых музыка производит сильнейшее впечатление? Мне самой говорили, что под влиянием некоторых мелодий, некоторых модуляций я совершенно меняюсь в лице: в такие минуты я перестаю владеть собою, почти не сознаю, что со мной происходит. Так разве в этом есть какой-нибудь грех? Почему же это не могло случиться с моей настоятельницей, которая, несмотря на все ее сумасбродство, всю неровность ее характера, была, конечно, одной из самых чувствительных женщин на свете? Всякий сколько-нибудь трогательный рассказ заставлял ее проливать слезы. Когда я рассказала ей мою жизнь, это привело ее в такое состояние, что на нее было жалко смотреть. Разве ее сострадательность духовник также ставит ей в вину? А ночная сцена... Ее развязки он ожидал в смертельной тревоге... Действительно, этот человек был слишком строг.

Как бы то ни было, но я в точности выполнила все его предписания, неминуемые последствия которых он, несомненно, предвидел. Выйдя из исповедальни, я сразу же пала ниц перед алтарем. Мысли мои путались от страха. В церкви я оставалась до ужина. Настоятельница, встревоженная моим отсутствием, послала за мной. Ей ответили, что я стою на молитве. Она несколько раз появлялась у дверей церкви, но я делала вид, что не замечаю ее. Зазвонили к ужину. Я пошла в трапезную, наскоро поела и после ужина сразу же вернулась в церковь. Вечером я не появилась в рекреационной зале, не вышла из церкви и тогда, когда наступило время расходиться по кельям и ложиться спать. Настоятельница знала, где я. Поздней ночью, когда все смолкло в монастыре, она спустилась ко мне. Ее образ, очерченный мне духовником, возник в моем воображении; меня охватила дрожь, я не решалась взглянуть на нее, я боялась, что увижу чудовище, объятое пламенем, и повторяла про себя: «Satana, vade retro, apage, Satana. Господи, охрани меня, удали от меня дьявола».

Она преклонила колени и, помолившись, спросила меня:

— Что вы тут делаете, сестра Сюзанна?

— Вы сами видите, сударыня.

— Знаете ли вы, который теперь час?

— Знаю, сударыня.

— Почему вы не вернулись к себе в положенный час отхода ко сну?

— Я хотела приготовиться к завтрашнему великому празднику.

— Значит, вы решили провести здесь всю ночь?

— Да, матушка.

— А кто вам это позволил?

— Это мне приказал духовник.

— Духовник не имеет права давать приказания, противоречащие уставу монастыря. Я вам приказываю идти спать.

— Сударыня, это епитимья, которую он на меня наложил.

— Вы замените ее другим богоугодным делом.

— Мне не предоставлен выбор.

— Полно, дитя мое, идемте. Ночной холод в церкви повредит вам; вы помолитесь в своей келье.

Она хотела взять меня за руку, но я отскочила в сторону.

— Вы бежите от меня? — спросила она.

— Да, матушка, я бегу от вас.

Святость места, близость бога, невинность моей души придали мне смелости, я решилась поднять на нее глаза, но, как только увидела ее, громко вскрикнула и побежала по церкви как безумная, крича: «Отыди, сатана!»

Она не пошла за мной, не двинулась с места, только кротко протянула ко мне руки и трогательным, нежным голосом проговорила:

— Что с вами? Откуда этот ужас? Остановитесь. Я не сатана, а ваша настоятельница, ваш друг...

Я остановилась, еще раз повернула к ней голову и убедилась, что была напугана причудливым образом, созданным моим воображением: свет церковной лампады падал только на кончики пальцев настоятельницы, остальное же было в тени, и именно это произвело на меня такое страшное впечатление. Немного придя в себя, я бросилась на заалтарную скамью. Она приблизилась ко мне и хотела сесть рядом, но я вскочила и поднялась в верхний ряд скамей. Так, преследуемая ею, я перебегала с одного места на другое, пока не оказалась у самого крайнего сиденья. Здесь я остановилась и начала молить ее оставить хоть одно свободное сиденье между нами.

— Хорошо, я согласна, — сказала она.

Итак, мы обе сели; нас разделяло одно сиденье. Тогда настоятельница обратилась ко мне:

— Можно ли узнать, сестра Сюзанна, почему мое присутствие приводит вас в такой ужас?

— Матушка, простите меня, — ответила я, — но я тут ни при чем, это исходит от отца Лемуана. Он изобразил мне нежные чувства, которые вы ко мне питаете, ваши ласки, в которых, должна признаться, я не вижу ничего дурного, в самых ужасающих красках. Он приказал мне избегать вас, не входить одной к вам в келью, покидать свою, если вы зайдете ко мне; он обрисовал вас истинным демоном. Всего не перескажешь, что он мне говорил по этому поводу.

— Значит, вы ему сказали?

— Нет, матушка, но я не могла уклониться от ответа, когда он сам стал меня спрашивать.

— И я стала чудовищем в ваших глазах?

— Нет, матушка, я не могу перестать любить вас, не могу не ценить вашей доброты ко мне и прошу не лишать меня ее и в дальнейшем, но я буду повиноваться моему духовнику.

— И вы больше не будете заходить ко мне?

— Нет, матушка.

— И не позволите мне навещать вас?

— Нет, матушка.

— Вы отвергнете мои ласки?

— Мне это будет нелегко, потому что я по природе ласкова и ценю всякую ласку, однако придется. Я обещала это моему духовнику и поклялась у алтаря. Если б я могла передать, в каких выражениях он говорил о вас! Это человек благочестивый и просвещенный. Ради чего он станет указывать на опасность там, где ее вовсе нет? Ради чего станет отдалять сердце монахини от сердца ее настоятельницы? Но, должно быть, он видит в самых невинных поступках, моих и ваших, зерно тайной развращенности, которое, по его мнению, созрело в вас и грозит под вашим влиянием развиться во мне. Не скрою от вас, что, припоминая ощущения, которые иногда возникали у меня... Отчего, матушка, расставшись с вами и вернувшись к себе, я бывала взволнованна и рассеянна? Отчего я не могла ни молиться, ни заняться каким-нибудь делом? Отчего какая-то странная, никогда не испытанная тоска овладевала мною? Почему меня клонило ко сну? Ведь я никогда не сплю днем. Я думала, что вы подвержены какой-то заразительной болезни, которая начала передаваться и мне, но отец Лемуан смотрит на это совсем иначе.

— Как же он смотрит на это?

— Он видит в этом всю мерзость греха, вашу окончательную и мою возможную гибель. Разве я могу разобраться в этом?

— Полноте, — сказала она, — ваш отец Лемуан просто фантазер. Я уже не раз подвергалась таким нападкам с его стороны. Стоит мне только нежно привязаться к какой-нибудь сестре, почувствовать к ней дружеское расположение, как он тут же старается сбить ее с толку. Он чуть не довел до безумия бедную сестру Терезу. Это начинает мне надоедать. Я отделаюсь от этого человека. К тому же он живет за десять лье отсюда. Очень затруднительно посылать за ним; его никогда нет, когда он нужен. Но об этом мы поговорим в более подходящем месте. Вы, значит, не хотите подняться к себе?

— Нет, матушка, умоляю вас разрешить мне остаться здесь всю ночь. Если я не выполню свой долг, то не осмелюсь завтра приобщиться святых тайн со всей общиной. А вы, матушка, вы будете причащаться?

— Конечно.

— Значит, отец Лемуан ничего вам не сказал?

— Ничего.

— Почему же?

— Да потому, что у него не было повода говорить со мной об этом. На исповедь идут, чтобы покаяться в своих грехах, а я не нахожу ничего грешного в моей любви к такому прелестному ребенку, как сестра Сюзанна. Если я в чем-нибудь виновата, то только в том, что все свои чувства сосредоточила на ней одной, а должна была бы изливать их на всех без исключения сестер общины. Но это от меня не зависит, я не могу запретить себе видеть достоинства там, где они есть, и оказывать им предпочтение. Я прошу за это прощения у господа и не понимаю, почему ваш отец Лемуан решил, что я бесповоротно проклята богом за вполне естественное пристрастие, от которого так трудно уберечься. Я стараюсь обеспечить счастье всех сестер, но есть такие, которых я больше уважаю и люблю, чем других, потому что они более достойны любви и уважения. Вот и весь мой грех. Вы находите, что он очень велик, сестра Сюзанна?

— Нет, матушка.

— Ну тогда, дорогое дитя, прочтем каждая коротенькую молитву и подымемся к себе.

Я снова стала умолять ее разрешить мне провести ночь в церкви. Она согласилась с условием, что это больше не повторится, и ушла.

Я стала припоминать ее слова и просила господа просветить меня. Я крепко задумалась и, тщательно все взвесив, пришла к выводу, что люди, хотя и принадлежащие к одному полу, могут не совсем пристойно проявлять свои симпатии друг к другу, что отец Лемуан, человек непреклонных правил, возможно, допустил некоторое преувеличение, но что его совету избегать чрезмерной близости со стороны настоятельницы и самой проявлять большую сдержанность необходимо следовать, — и я дала себе в этом слово.

Утром, когда все монахини собрались в церкви, они застали меня на моем обычном месте. Они все приблизились к святому престолу во главе с настоятельницей, что окончательно убедило меня в ее невинности, не поколебав, однако, принятого мною решения. К тому же она привлекала меня в гораздо меньшей степени, чем я ее. Я не могла не сравнивать ее с моей первой настоятельницей. Какая разница между ними в отношении благочестия, серьезности, достоинства, ревностного исполнения долга, в отношении ума и любви к порядку!

За несколько следующих дней произошли два крупных события: первое — то, что я выиграла процесс против лоншанских монахинь, которых суд обязал выплачивать монастырю св.Евтропии, где я находилась, ежегодную ренту в соответствии с моим вкладом. Вторым событием была смена духовника. Об этом мне сообщила сама настоятельница.

Тем не менее я бывала теперь у нее только в сопровождении какой-нибудь монахини, и она тоже больше не приходила ко мне одна. Она постоянно искала меня, но я ее избегала. Она это заметила и упрекала меня. Не знаю, что творилось в этой душе, но, по всей вероятности, что-то необыкновенное. Она вставала ночью и бродила по коридорам, особенно по моему. Я слышала, как она ходила взад и вперед, останавливалась у моей двери, жалобно стонала и вздыхала. Я вся дрожала и забивалась поглубже в постель.

Днем, где бы я ни находилась — на прогулке, в мастерской или в рекреационной зале, она украдкой целыми часами пристально смотрела на меня, стараясь, чтобы я ее не заметила.

Она следила за каждым моим шагом. Когда я спускалась, то находила ее внизу лестницы; когда поднималась, она ожидала меня наверху. Однажды она остановила меня, долго смотрела, не произнося ни слова, и слезы ручьем катились из ее

глаз. Вдруг бросившись наземь, сжимая руками мои колени, она воскликнула:

— Жестокая сестра, проси у меня жизнь, я отдам ее тебе, но только не избегай меня. Без тебя я не могу больше жить!..

У нее был такой вид, что мне стало жаль ее. Глаза ее погасли, она исхудала и побледнела. Это была моя настоятельница, и она была у моих ног. Она обнимала мои колени, прижималась к ним головой. Я протянула к ней руки, она схватила их и с жаром поцеловала, потом опять стала смотреть на меня. Я подняла ее. Она шаталась, ноги отказывались ей служить. Я проводила ее до кельи. Когда я открыла ей дверь, она взяла меня за руку и молча, не глядя на меня, тихонько потянула за собой.

— Нет, матушка, — сказала я ей, — я дала себе слово. Так лучше и для вас и для меня. Я занимаю слишком большое место в вашей душе, оно потеряно для бога, а в ней должен царить он один.

— Вам ли упрекать меня в этом?..

Говоря с ней, я старалась высвободить свою руку.

— Значит, вы не зайдете?

— Нет, матушка, нет.

— Вы отказываетесь, сестра Сюзанна? Вы не знаете, к каким это может привести последствиям, — нет, вы этого не знаете! Я умру из-за вас...

Последние слова возбудили во мне чувства, совершенно противоположные тем, на которые она рассчитывала. Я вырвала свою руку и убежала. Она обернулась, посмотрела мне вслед, потом возвратилась в свою келью, дверь которой оставалась открытой; раздались раздирающие душу стоны. Я их услышала. Они глубоко меня тронули. Минуту я колебалась, не зная, на что решиться — уйти или вернуться к ней. Однако какое-то чувство отвращения заставило меня удалиться, хотя мне и больно было оставлять ее в таком состоянии: ведь по природе я очень отзывчива. Я заперлась в своей келье, мне было не по себе, я исходила ее вдоль и поперек, смущенная, растерянная, не зная, чем заняться. Я вышла, снова вернулась в келью и наконец решила постучаться к сестре Терезе, моей соседке. Она была поглощена беседой с другой молоденькой монахиней, своей подругой.

— Сестрица, — обратилась я к ней, — я очень сожалею, что приходится прервать вас, но прошу уделить мне несколько минут, мне нужно кое-что сказать вам.

Она последовала за мной в мою келью.

— Не знаю, что с нашей матерью настоятельницей, — сказала я ей, — но она очень сокрушается. Пойдите к ней; быть может, вы ее утешите...

Тереза ничего мне не ответила, оставила подругу у себя в келье, закрыла за собой дверь и побежала к настоятельнице.

Между тем состояние этой женщины ухудшалось со дня на день; она стала задумчивой и печальной. Веселью, не прекращавшемуся со дня моего прибытия в монастырь, сразу наступил конец. Все подчинилось самому строгому порядку: церковные службы совершались с подобающей торжественностью, посетители почти не допускались в приемную, монахиням запретили посещать друг друга; обряды выполнялись с самой неукоснительной точностью; монахини больше не собирались у настоятельницы, не лакомились у нее. Малейшие проступки сурово карались. Иногда кое-кто еще обращался ко мне, чтобы добиться прощения, но я наотрез отказывалась вступаться за провинившихся. Причина этой резкой перемены ни для кого не составляла тайны; старые монахини об этом не жалели, но молодые были в отчаянии. Они стали относиться ко мне враждебно, но я, убежденная в своей правоте, не обращала внимания на их недовольство и упреки.

Что касается настоятельницы, страданий которой я не могла облегчить, хотя всем сердцем ее жалела, то она от меланхолии перешла к благочестию, а от благочестия к бреду. Не стану описывать все перипетии ее болезненного состояния — я потонула бы в бесконечных подробностях. Скажу только, что в начале своей болезни она то искала, то избегала меня. Иногда она относилась ко мне и к остальным с привычной ей мягкостью, иногда же внезапно переходила к безграничной строгости; она вызывала нас к себе и тотчас отсылала обратно; предоставляла досуг, а минутой позже отменяла свои распоряжения, вызывала нас в церковь, и когда все, повинуясь ей, приходило в движение, снова ударял колокол, приглашая нас разойтись по кельям. Трудно представить себе царивший у нас хаос: день проходил в том, что мы то покидали свои кельи, то возвращались в них, то брались за требник, то откладывали его в сторону, ходили по лестницам вверх и вниз, опускали и поднимали покрывала. Ночь была почти такой же беспокойной, как день.

Некоторые монахини обращались ко мне и намекали на то, что при большой снисходительности и внимании к настоятельнице с моей стороны все вернется к обычному порядку — следовало бы сказать, к обычному беспорядку.

Я же с грустью им отвечала:

— Мне от души жаль вас, но скажите ясно, что я должна делать.

Одни из них отходили, опустив голову и не отвечая, другие давали мне советы, которые полностью противоречили советам духовника. Я говорю о том, которого сместили; что касается его преемника, то он еще не появлялся у нас.

Настоятельница не выходила больше по ночам. Она заперлась у себя и неделями не показывалась ни на богослужении, ни в трапезной, ни в рекреационной зале. Иногда же она бродила по коридорам или спускалась в церковь, стучала в двери к монахиням и жалобным голосом просила каждую:

— Милая сестра, помолитесь за меня...

Распространился слух, что она готовится к общей исповеди во всех своих грехах.

Однажды, сойдя первой в церковь, я увидела листок бумаги, прикрепленный к занавесу у решетки. Я приблизилась и прочла: «Дорогие сестры, молитесь за заблудшую монахиню, которая забыла свой долг и теперь хочет вернуться к богу...»

Я хотела было сорвать листок, но не тронула его. Несколько дней спустя появился другой листок, на котором значилось: «Дорогие сестры, призовите милосердие божие на монахиню, сознавшую свою заблуждения. Они велики...»

Затем появился еще призыв, гласивший: «Дорогие сестры, молите господа спасти от отчаяния монахиню, потерявшую веру в милосердие божие...»

Все эти призывы, отражавшие тяжелые муки этой мятущейся души, глубоко меня опечалили. Случилось однажды, что я как вкопанная остановилась у одного их этих воззваний, стараясь понять, в каких это заблуждениях она себя винит, почему эту женщину обуял такой страх, в каких грехах она себя укоряет. Я вспоминала негодующие восклицания духовника, его выражения, стараясь уяснить себе их смысл, но мне это не удавалось, и я застыла на месте, поглощенная своими мыслями. Несколько монахинь смотрели на меня, переговариваясь между собой, и, кажется, думали, что и мне грозят те же ужасы.

Несчастная настоятельница появлялась теперь только с опущенным покрывалом. Она больше не вмешивалась в дела монастыря, ни с кем не говорила и часто совещалась с новым духовником, которого к нам назначили. Это был молодой бенедиктинец. Не знаю, он ли потребовал от нее тех истязаний плоти, которым она себя подвергала: она постилась три раза в

неделю, бичевала себя, присутствовала на богослужении, сидя на самом дальнем месте. Отправляясь в церковь, мы проходили мимо ее дверей и заставали ее на пороге простертой ниц; она поднималась только тогда, когда все удалялись. Ночью она выходила из кельи в одной рубашке, босая. Если сестра Тереза или я случайно встречали ее, она отворачивалась и прижималась лицом к стене. Однажды, выйдя из своей кельи, я нашла ее лежащей ничком на полу, с раскинутыми руками.

— Идите, идите, шагайте ко мне, — простонала она, — топчите меня ногами, я не заслуживаю ничего другого.

В течение ряда месяцев тянулась эта болезнь и вся община успела за это время настрадаться и возненавидеть меня. Я не стану перечислять все огорчения, которые выпадают на долю монахини, возбудившей ненависть своего монастыря; теперь они уже хорошо известны вам. Мало-помалу я снова стала испытывать отвращение к моему званию. Ничего не скрывая, я поведала о своем отвращении и своих горестях новому духовнику. Его зовут отец Морель. Это человек с пламенной душой; ему около сорока лет. Он выслушал меня с видимым интересом и вниманием; пожелал узнать всю историю моей жизни, заставил рассказать с мельчайшими подробностями о моей семье, моих склонностях, характере, о монастырях, где я раньше была, и о монастыре, в котором я сейчас нахожусь, о том, что произошло между настоятельницей и мною. Я ничего от него не утаила. По-видимому, он не придал поведению моей настоятельницы по отношению ко мне такого значения, как отец Лемуан. По этому поводу он обронил лишь несколько слов. Он считал все это конченным навсегда. Особенно интересовался он моей затаенной неприязнью к монастырской жизни. По мере того как я раскрывала свою душу, и его доверие ко мне возрастало. Если я исповедовалась ему, то и он полностью мне открылся. Его горести, о которых он мне рассказал, в точности совпадали с моими: он принял обет вопреки своей воле, он относился к своему сану с таким же отвращением и был достоин жалости не менее, чем я.

— Но как этому помочь, дорогая сестра? — добавил он. — Есть только одно средство — стараться облегчить наше положение, насколько это возможно.

Затем он сделал мне несколько наставлений, которыми руководствовался сам. Они были весьма мудры.

— Разумеется, — сказал он, — таким образом мы не избежим страданий, но все это укрепит в нас решимость переносить их. Люди, принявшие обет монашества, счастливы, если

их крест кажется им заслугою перед богом. Тогда они радостно несут его; они сами идут навстречу тяжким испытаниям и тем более счастливы, чем горше и чаще эти испытания. Они как бы меняют счастье настоящего на счастье в будущем. Они обеспечивают себе блаженство на небесах, добровольно жертвуя счастьем на земле. После тяжких страданий они опять просят бога: «Amplius, Domine! Господи, усугуби наши муки!..» И эта мольба никогда не остается втуне. Но если такие страдания приходится претерпевать мне или вам, мы не можем ждать той же награды, у нас нет того, что только и придает им цену, — нет смирения. Это очень печально. Увы! Как могу я вдохнуть в вас добродетель, которой вы лишены, если ее недостает и мне? А без этого нам грозит погибель в будущей жизни после всех несчастий, испытанных в жизни земной. Среди нескончаемых молитв и покаяний мы почти с той же вероятностью осуждены на вечные муки, как и миряне, погрязшие в наслаждениях. Мы отреклись от земных радостей, они же ими пользуются. И после такой жизни нас ждут те же муки. Сколь прискорбно быть монахом или монахиней, не имея к тому призвания! А между тем такова наша участь, и мы не можем ее изменить. На нас наложили тяжелые цепи, мы осуждены потрясать ими без всякой надежды их порвать. Будем же стараться, дорогая сестра, влачить их и дальше. Идите, я еще приеду повидаться с вами...

Спустя несколько дней он снова приехал. Я встретилась с ним в приемной и поближе к нему присмотрелась. Он закончил рассказ о своей жизни, я — о своей. Бесконечное множество обстоятельств сближало нас и говорило о сходстве моей и его судьбы. Он подвергался почти таким же гонениям в родительском доме и в монастыре. Я не отдавала себе отчета, насколько описание его глубокой неудовлетворенности было малопригодно, чтобы рассеять те же чувства во мне самой; тем не менее его рассказ произвел на меня именно такое действие. Мне кажется, что описание моего отвращения к монашеству подействовало и на него таким же образом. Наши характеры были столь же схожи, как и события нашей жизни. Чем чаще мы виделись, тем более усиливалась наша взаимная симпатия. Все превратности его судьбы совпадали с моими, история его переживаний совпадала с тем, что пережила я, история его души была историей моей жизни.

Наговорившись о себе, мы стали беседовать о других лицах, особенно о настоятельнице. Положение духовника обязывало его к большой сдержанности; тем не менее мне удалось

понять из его слов, что теперешнее состояние этой несчастной женщины не может тянуться долго, что она борется с собой, но тщетно и что неминуемо случится одно из двух — либо она вернется к своим прежним склонностям, либо сойдет с ума. Любопытство мое было сильно возбуждено, мне хотелось узнать об этом побольше. Он мог бы разъяснить вопросы, которые у меня возникали и на которые я не находила ответа, но я не решалась задать их ему; я только набралась смелости и спросила, знаком ли он с отцом Лемуаном.

— Да, — ответил он. — Я знаком с ним; это достойный человек, очень достойный.

— Он неожиданно покинул нас.

— Знаю.

— Не можете ли вы сказать мне, почему это произошло?

— Мне было бы неприятно, если бы это получило огласку.

— Вы можете рассчитывать на мою скромность.

— На него подали жалобу архиепископу.

— Что же могли поставить ему в вину?

— Что он живет слишком далеко от монастыря, и когда бывает нужен, то его нет на месте; что он придерживается слишком строгой морали; что есть основания подозревать его в том, что он сторонник новых течений; что он сеет раздор в монастыре; что он старается духовно отдалить монахинь от их настоятельницы.

— Откуда вы это знаете?

— От него самого.

— Значит, вы с ним встречаетесь?

— Встречаюсь, и он неоднократно говорил мне о вас.

— Что же он вам говорил?

— Что вы достойны жалости, что он не может понять, как вы смогли перенести все те страдания, которые выпали на вашу долю. Хотя он имел возможность только один или два раза беседовать с вами, он не считает вас способной примириться с монастырской жизнью, и у него явилась мысль...

Тут он вдруг замолчал. Я спросила:

— Какая же мысль?

— Это слишком секретная вещь, — ответил мне отец Морель, — чтобы я мог передать ее вам.

Я не настаивала.

— Ведь это отец Лемуан, — добавила я, — приказал мне держаться подальше от настоятельницы.

— И хорошо сделал.

— Почему?

— Сестра моя, — ответил он, и лицо его стало суровым, — придерживайтесь его советов и старайтесь всю жизнь оставаться в неведении относительно того, чем они вызваны.

— Но мне кажется, если бы я знала, в чем заключается опасность, то проявила бы особенную осторожность, чтобы ее избежать.

— И, быть может, получилось бы как раз обратное.

— По-видимому, вы обо мне дурного мнения.

— О вашей нравственности и о вашей душевной чистоте я придерживаюсь того мнения, которого вы заслуживаете. Но, поверьте, есть пагубные знания, которые нельзя приобрести, не утратив самого ценного. Именно ваша невинность остановила настоятельницу. Будь вы более сведущи, она бы меньше вас щадила.

— Я не понимаю вас.

— Тем лучше.

— Но разве близость и ласки одной женщины могут представлять опасность для другой?

Ответа не последовало.

— Разве я уже не та, какою была в тот день, когда вступила в этот монастырь?

Отец Морель снова промолчал.

— Разве я перестану быть такой же в дальнейшем? Что дурного в том, чтобы любить друг друга, говорить об этой любви и выказывать ее? Это так сладостно!

— Вы правы, — сказал отец Морель, подняв на меня глаза, которые он держал опущенными в то время, как я говорила.

— Так, значит, в монастырях это случается часто? Бедная моя настоятельница, до какого состояния она дошла!

— Состояние ее плачевно, и я боюсь, что оно еще ухудшится. Она не создана для монашеского звания. Вот что случается рано или поздно, когда противодействуешь своим естественным склонностям; такая ломка человеческой природы приводит к извращенным страстям, тем более необузданным, чем более они противоестественны. Это своего рода безумное.

— Так она безумна?

— Да, она безумна, и это безумие будет усиливаться.

— И вы полагаете, что такая участь ждет всех, кто принял обет вопреки своему призванию?

— Нет, не всех; есть такие, которые умирают, не дожив до этого. У некоторых такой податливый характер, что в конце концов они приспосабливаются; смутные надежды некоторое время поддерживают иных.

— Какие же надежды могут быть у монахинь?

— Какие? Да прежде всего надежда расторгнуть свой обет!

— А если такой надежды уже нет?

— Ну, тогда остается надежда на то, что ворота монастыря когда-нибудь распахнутся, что люди откажутся от безрассудства и перестанут заточать в склеп юные создания, полные жизни; что монастыри будут упразднены; что в обители вспыхнет пожар, что стены темницы падут; что кто-нибудь придет на помощь. Такие мысли роятся в голове, их обсуждают; в саду на прогулке, не отдавая себе отчета, затворницы смотрят, очень ли высоки стены; находясь в своей келье, они берутся за перекладины оконной решетки и без определенной цели тихонько расшатывают их; если окна выходят на улицу, они смотрят туда, если слышатся чьи-либо шаги, сердце начинает трепетать. В тайниках души монахини вздыхают по избавителю; если поднимается переполох и шум от него доносится до монастыря, у них рождаются какие-то надежды; они рассчитывают на болезнь, которая позволит приблизиться мужчине или же создаст возможность поехать на воды.

— Да, правда, правда! — воскликнула я. — Вы читаете в глубине моей души. Я питала, я еще питаю такие иллюзии.

— А когда, поразмыслив хорошенько, они утрачивают эти иллюзии, — ибо благотворное опьянение, которым сердце туманит разум, время от времени рассеивается, — тогда они видят всю глубину своего несчастья, начинают ненавидеть себя, ненавидеть других, плачут, стонут, кричат, чувствуют приближение отчаяния. Одни монахини бросаются тогда к своей настоятельнице, припадают к ее коленям и ищут у нее утешения; другие простираются ниц в своей келье или перед алтарем и призывают на помощь небо; третьи рвут на себе волосы и раздирают одежды; четвертые ищут глубокий колодец, высокие окна, петлю и иногда их находят; пятые, промучившись долгое время, теряют человеческий образ и подобие и навсегда остаются слабоумными; иные же, болезненные и хрупкие, томятся и чахнут; у некоторых мутится разум, и они впадают в бешенство. Наиболее счастливые — это те, которые способны воскрешать в себе свои прежние утешительные иллюзии и лелеять их почти до самой могилы: жизнь этих монахинь проходит в смене заблуждений и отчаяния.

— А самые несчастные, — добавила я, тяжело вздыхая, — это те, которые последовательно переживают все эти состояния. Ах, отец мой, на свое горе я слушала вас!

— Почему же?

— Я не знала себя; теперь я себя знаю, мои иллюзии скорее исчезнут. В минуты...

Я собиралась продолжить, но тут вошла одна монахиня, потом вторая, потом третья, четвертая, пятая, шестая — уж не знаю, сколько их собралось. Разговор стал общим. Одни смотрели на духовника, другие слушали его молча, потупив взор, многие, перебивая друг друга, засыпали его вопросами; все восторгались мудростью его ответов, я же забилась в угол и впала в глубокое раздумье. Посреди этих разговоров, во время которых каждая старалась выказать себя с наилучшей стороны и тем привлечь к себе внимание святого отца, послышались чьи-то шаги; кто-то медленно приближался, останавливаясь на пути и тяжело вздыхая. Все прислушались, и несколько монахинь прошептали:

— Это она, это наша настоятельница.

Все смолкли и уселись в кружок. Это в самом деле была наша настоятельница. Она вошла. Ее покрывало спадало до пояса, руки были скрещены на груди, голова опущена.

Прежде всего она заметила меня, сразу же высвободила изпод покрывала одну руку, закрыла ею глаза и, слегка отвернувшись, другой рукой сделала всем нам знак удалиться. В полном молчании мы вышли; она же осталась одна с отцом Морелем».

Человек без страстей и желаний перестает быть человеком. И добрые, и злые поступки могут быть поняты лишь как попытка личности наполнить свою жизнь смыслом. Самый заядлый садист и разрушитель такой же человек, как и святой. Его можно назвать извращенным и дурным, не сумевшим найти достойный ответ на вызов своего человеческого первородства, но — человеком.

Поступки маркиза де Сада и его фантазии казались его современникам проявлением извращенной индивидуальности. Мало кто мог предположить, что именем экстравагантного француза потомки назовут особый психологический механизм, когда мучитель получает острое наслаждение от боли жертвы и ее судорог. Но, удивительное дело — гонимый или гонимая, оказывается, не всегда заслуживают сочувствия. Они сами хотят, чтобы их терзали. И при этом тоже испытывают блаженство. Это извращение, или, как по-научному определил его Фрейд — перверзия, — стало обозначать в психоанализе различные сексуальные установки.

ЗИГМУНД ФРЕЙД

Садизм и мазохизм

«Склонность причинять боль сексуальному объекту и противоположная ей, — пишет Зигмунд Фрейд, — эти самые частые и значительные перверзии, названы Крафт-Эбингом в обеих ее формах, активной и пассивной, садизмом и мазохизмом (пассивная форма). Другие авторы предпочитают более узкое обозначение алголагнии, подчеркивающее удовольствие от боли, жестокость, между тем как при избранном Крафт-Эбингом названии на первый план выдвигаются всякого рода унижение и покорность.

Корни активной алголагнии, садизма, в пределах нормального легко доказать. Сексуальность большинства мужчин содержит примесь агрессивности, склонности к насильственному преодолению, биологическое значение которого состоит, вероятно, в необходимости преодолеть сопротивление сексуального объекта еще и иначе, не только посредством актов ухаживания. Садизм в таком случае соответствовал бы ставшему самостоятельным, преувеличенному, выдвинутому благодаря смещению на главное место агрессивному компоненту сексуального влечения.

Понятие садизма, в обычном употреблении этого слова, колеблется между только активной и затем насильственной установкой по отношению к сексуальному объекту и исключительной неразрывностью удовлетворения с подчинением и терзанием его. Строго говоря, только последний крайний случай имеет право на название перверзии.

Равным образом термин «мазохизм» обнимает все пассивные установки к сексуальной жизни и к сексуальному объекту, крайним выражением которых является неразрывность удовлетворения с испытанием физической и душевной боли со стороны сексуального объекта. Мазохизм как перверзия, повидимому, дальше отошел от нормальной сексуальной цели, чем противоположный ему садизм; можно сомневаться в том, появляется ли он когда-нибудь первично или не развивается ли он всегда из садизма благодаря преобразованию. Часто можно видеть, что мазохизм представляет собой только продолжение садизма, обращенного на собственную личность, временно заменяющую при этом место сексуального объекта.

Клинический анализ крайних случаев мазохистской перверзии приводит к совокупному влиянию большого числа факторов, преувеличивающих и фиксирующих первоначальную пассивную сексуальную установку (комплекс кастрации, сознание вины).

Преодолеваемая при этом боль уподобляется отвращению и стыду, оказывающим сопротивление либидо.

Садизм и мазохизм занимают особое место среди перверзий, так как лежащая в основе их противоположность активности и пассивности принадлежит к самым общим характерным чертам сексуальной жизни.

История человеческой культуры, вне всякого сомнения, доказывает, что жестокость и половое влечение связаны самым тесным образом, но для объяснения этой связи не пошли дальше подчеркивания агрессивного момента либидо. По мнению одних авторов, эта примешивающаяся к сексуальному влечению агрессивность является собственно остатком каннибалистских вожделений, т.е. в ней принимает участие аппарат овладения, служащий удовлетворению другой, онтогенетически более старой большой потребности. Высказывалось также мнение, что всякая боль сама по себе содержит возможность ощущения наслаждения. Удовлетворимся впечатлением, что объяснение этой перверзии никоим образом не может считаться удовлетворительным и что возможно, что при этом несколько душевных стремлений соединяются для одного эффекта.

Самая разительная особенность этой перверзии заключается, однако, в том, что пассивная и активная формы ее всегда совместно встречаются у одного и того же лица. Кто получает удовольствие, причиняя другим боль в половом отношении, тот также способен испытывать наслаждение от боли, которая причиняется ему от половых отношений. Садист всегда одновременно и мазохист, хотя активная и пассивная сторона перверзии у него может быть сильнее выражена и представлять собой преобладающую сексуальную деятельность.

Мы видим, таким образом, что некоторые из перверзий всегда встречаются как противоположные пары, чему необходимо приписать большое теоретическое значение, принимая во внимание материал, который будет приведен ниже. Далее совершенно очевидно, что существование противоположной пары, садизм-мазохизм, нельзя объяснить непосредственно и только примесью агрессивности. Взамен того является жела-

ние привести в связь эти одновременно существующие противоположности с противоположностью мужского и женского, заключающейся в бисексуальности, значение которой в психоанализе сводится к противоположности между активным и пассивным».

Итак, подлинные корни садизма — отнюдь не в деформации полового чувства. Данная склонность, так же, как и мазохизм, имеет глубокое личностное выражение. Иначе говоря, человек хочет контролировать, мучить, унижать другого. Это его глубинное побуждение. Но оно находит выражение в сексуальной сфере. Понять садизм можно исходя и не из инстинкта, а из всей страстной природы человека. Помните «Калигулу» Альбера Камю? Не смирясь со своей ограниченностью, смертный и недалекий человек силится утвердить в мире свое всемогущество. В результате — утрата контактов с людьми, душевный разлад, бессилие и, наконец, гибель... Садизм и мазохизм — это всегда уравнение с одним обездоленным.

В любви участвуют двое. Но очень редко бывает так, чтобы это участие было равноценным. Именно здесь обнаруживаются удивительные свойства человеческой натуры. Один непременно хочет властвовать над своим возлюбленным, навязывая ему свои желания, а другой — добровольно принимает на себя бремя подчинения.

Об этом размышляет во всех своих работах американский философ и психолог Эрих Фромм.

ЭРИХ ФРОММ

Уравнение с одним обездоленным

«... Любовью в полном смысле слова можно считать лишь то, что кажется ее идеальным воплощением, — а именно, — соединение с другим человеком при условии сохранения целостности своего «я». Все остальные формы любовного влечения — незрелы, их можно назвать симбиотической связью, то есть отношениями совместного существования.

Симбиотическая связь имеет биологический прообраз в природе — это близость между матерью и зародышем, находящимся в ее утробе. Эта два разных существа, но в то же время и единое целое. Они живут вместе и нуждаются друг в друге. Зародыш — часть матери; мать — его мир, он получает от нее все,

что ему нужно для жизни. Жизнь матери также зависима от него.

В психическом симбиозе два человека независимы друг от друга, но психологически они неразрывны. Говоря другими словами, это союз одного человека с другим, в котором каждый из них теряет свое личностное содержание и попадает в полную зависимость от другого.

Пассивная форма симбиотической связи — МАЗОХИЗМ (подчинение). Мазохистская личность преодолевает свое психологическое одиночество, свойственное каждому, становясь неотъемлемой частью другого человека. Этот «другой» руководит ею, направляет ее, защищает; он становится ее жизнью, ее воздухом. Безропотно покоряясь какой-нибудь личности, мазохист невероятно преувеличивает ее силу и достоинства, всячески принижая при этом самого себя. Он — все, а я — ничто; я значу что-то лишь постольку, поскольку я — его часть. Являясь его частью, я становлюсь причастным к его славе, его величию.

Мазохист никогда не принимает никаких решений, избегает любой самостоятельности; ему чужда всякая независимость, и поэтому он никогда не остается в одиночестве. Такая личность не является целостной, она как бы еще не вполне родилась.

Взаимоотношения, основанные на мазохистской любви, по своей сути являются идолопоклонством. Это психологическое чувство проявляется не только в эротических переживаниях. Оно может выражаться в мазохистской привязанности к Богу, судьбе, главе государства, музыке, болезни и, конечно, к конкретному человеку. В последнем случае мазохистское отношение может сочетаться с физическим влечением, и тогда человек покоряется не только душой, но и телом. Как бы то ни было, во всех случаях человек отрекается от своей целостности и индивидуальности, становясь орудием в чужих руках, перестает самостоятельно решать жизненные проблемы.

Наиболее частые формы мазохистских проявлений — чувства собственной неполноценности, беспомощности, негодности. Люди, испытывающие подобное, стараются избавиться от этого, но в их подсознании заложена некая сила, которая заставляет их чувствовать свою неполноценность. Многие пытаются объяснить эти ощущения осознанием своих действительно существующих недостатков и слабостей. Но особенность мазохистской личности в том и состоит, что она испытывает потребность намеренно принижать себя. Такие люди

никогда не делают того, что им хочется, а подчиняются действительным или воображаемым приказам своего кумира. Иногда они просто не способны испытывать чувство своего «я» или «я хочу».

В более тяжелых случаях, наряду с постоянной потребностью в подчинении и самоподавлении, появляется страстное желание причинить себе страдания, боль. Подобные стремления выражаются по-разному. Есть люди, упивающиеся критикой человека, которого боготворят; они сами возводят на себя такие обвинения, какие не придумали бы и их злейшие враги. Другие — обнаруживают склонность к физическим заболеваниям, намеренно доводя свои страдания до такой степени, что действительно становятся жертвами болезней или несчастных случаев. Некоторые восстанавливают против себя тех, кого любят и от кого зависят, хотя на самом деле испытывают к ним самые лучшие чувства. Они как бы делают все, чтобы причинить себе как можно больше вреда.

Часто мазохистские тенденции выглядят патологическими и бессмысленными, но оправдание им сразу же находится, если они выступают под маской любви. Такая форма псевдолюбви довольно распространена и часто воспринимается как «великая любовь». Описание ее можно встретить в романах и кинофильмах.

Когда человек перестает осознавать собственную индивидуальность, он начинает «боготворить» любимого, творить из него кумира. Он направляет все свои силы на того, кого любит, кому поклоняется как носителю своего блаженства. Как правило, объект любви мазохиста ведет себя прямо противоположным образом. Но это не только не уменьшает поклонения последнего, а, напротив, притягивает его. Подобное явление можно назвать мазохистским извращением, оно доказывает, что страдание может быть целью человеческих стремлений, пределом его желаний. Люди вполне сознательно хотят страдать и наслаждаются своими мучениями.

При мазохистском извращении человек способен испытывать половое возбуждение, когда его партнер причиняет ему боль. Но это не единственная форма мазохистских извращений. Часто возбуждение и удовлетворение достигается состоянием собственной физической слабости. Бывает так, что мазохист довольствуется лишь моральной слабостью: ему нужно, чтобы объект его любви относился к нему как к маленькому ребенку или чтобы унижал его и оскорблял.

Моральный мазохизм и мазохизм как сексуальное извращение чрезвычайно близки. По сути, они представляют собой одно и то же явление, в основе которого лежит изначальное стремление человека избавиться от невыносимого чувства одиночества. Испуганный человек ищет кого-нибудь, с кем мог бы связать жизнь, он не может быть самим собой и пытается обрести уверенность, избавившись от собственного «я». С другой стороны, им движет желание превратиться в часть более сильного целого, раствориться в другом. Отрекаясь от своей индивидуальности, от свободы, он обретает уверенность в своей причастности к силе и величию того, кому поклоняется. Неуверенный в себе, подавленный тревогой и чувством собственного бессилия, человек пытается найти защиту в мазохистских привязанностях. Но эти попытки всегда заканчиваются неудачей, так как проявление своего «я» необратимо, и человек, как бы он этого ни хотел, не может слиться до конца в одно целое с тем, к кому прилепился. Между ними всегда существуют и будут существовать непримиримые противоречия.

Почти те же причины лежат в основе активной формы симбиотической связи, которая называется САДИЗМ (господство). Садистская личность стремится освободиться от мучительного одиночества, превращая другого человека в часть себя самой. Садист самоутверждается тем, что подчиняет себе безраздельно личность, которую любит.

Можно выделить три типа садистской привязанности.

Первый тип заключается в желании поставить другого человека в зависимость от себя, приобрести неограниченную власть над ним, сделать его «послушной глиной» в своих руках.

Второй тип выражается в стремлении не только властвовать над другим человеком, но и эксплуатировать его, использовать в своих целях, овладевать всем, что есть у него ценного. Это относится не столько к материальным вещам, сколько, в первую очередь, к моральным и интеллектуальным качествам зависимого от садиста человека.

Третий тип заключается в желании причинять страдания другому человеку или видеть, как он страдает. Целью такого желания может быть активное причинение страдания (самому унизить, запугать, причинить боль) и пассивное наблюдение за страданиями.

Очевидно, что садистские наклонности труднее осознать и объяснить, чем мазохистские. Кроме того, они не так безобидны в социальном отношении. Желания садиста нередко выражаются в завуалированной форме сверхдоброты и сверхзаботы о другом человеке. Часто садист оправдывает свои чувства и поведение, руководствуясь соображениями типа: «Я управляю тобой потому, что лучше тебя знаю, что для тебя лучше», «Я настолько необыкновенен и уникален, что имею право подчинять себе других»; или: «Я так много для тебя сделал, что теперь имею право брать от тебя все, что хочу»; и еще: «Я терпел обиды от других и теперь хочу отомстить — это мое законное право», «Ударив первым, я защищаю от удара себя и своих близких».

В отношении садиста к объекту его наклонностей есть фактор, который роднит его действия с мазохистскими проявлениями — это абсолютная зависимость от объекта. Но если зависимость мазохиста удивления не вызывает, то садист, наоборот, кажется настолько сильным и властным, что невозможно представить его в зависимости от более слабого человека, над которым он властвует. Однако, это так. Садист отчаянно нуждается в человеке, над которым издевается, так как его собственное ощущение силы и власти основано только на том, что он кем-то безраздельно владеет. Зависимость эта, часто даже не осознаваемая, наиболее ярко проявляется в любви.

Так, например, мужчина садистски издевается над любящей его женщиной. Когда же ее терпению приходит конец и она покидает его, он совершенно неожиданно и для нее, и для себя впадает в крайнее отчаяние, умоляет ее остаться, уверяет в своей любви и говорит, что не может без нее жить. Как правило, любящая женщина верит ему и остается. Тогда все начинается сначала, и так без конца. Женщина уверена, что он обманывал ее, когда уверял, что любит и не может без нее жить. Что касается любви, то все зависит от того, что под этим словом понимать. Но утверждение садиста, что он не может без нее жить — чистая правда. Он действительно не может жить без объекта своих садистских устремлений и страдает как ребенок, у которого вырвали из рук любимую игрушку.

Поэтому неудивительно, что чувство любви проявляется у садиста только тогда, когда его отношения с любимым человеком должны вот-вот разорваться. Но и в других случаях, садист, безусловно, «любит» свою жертву, как любит всех, над кем осуществляет свою власть. И, как правило, оправдывает

эту властность по отношению к другому человеку тем, что очень его любит. На самом деле все наоборот. Он любит другого человека именно потому, что тот в его власти.

Любовь садиста может проявляться в самых замечательных формах. Он дарит любимому подарки, уверяет в вечной преданности, подкупает остроумием в разговорах и изысканным обхождением, всячески демонстрирует заботу и внимание. Садист может дать человеку, которого любит, все, кроме свободы и независимости. Очень часто подобные примеры встречаются в отношениях родителей и детей.

Такой тип «любящего» садиста нашел классическое воплощение в романе Бальзака «Утраченные иллюзии». Герой романа беглый каторжник Вотрен, выдающий себя за аббата, так выражает свое отношение к молодому Люсьену дю Рюбампре: «Я вытащил вас из реки, я вернул вас к жизни, вы принадлежите мне, как творение принадлежит творцу, как тело душе! Я поддержу вас могучей рукой на пути к власти, я дам вам жизнь, полную наслаждений и почестей. ...Никогда не ощутите вы недостатка в деньгах... Вы будете блистать, покуда я, копаясь в грязи, буду закладывать основание великолепного здания вашего счастья. Я люблю вас ради власти! Я буду наслаждаться вашими наслаждениями, запретными для меня. Я перевоплощусь в вас.:. Я хочу любить в вас свое творение, создать вас по образу и подобию своему, я буду любить вас, как отец любит сына. Мой мальчик, я будут радоваться твоим успехам, как своим собственным, и говорить: «Этот молодой красавец — я сам! Маркиз дю Рюбампре создан мною; его величие — творение моих рук, он и молчит и говорит, следуя моей воле, он советуется со мной во всем».

В чем сущность садистских побуждений? Желание причинить боль и страдание не являются самоцелью. Все формы садизма сводятся к единственному стремлению — полностью овладеть другим человеком, стать его абсолютным повелителем, проникнуть в самую его суть, стать для него Богом.

Добиваясь такой неограниченной власти над другим человеком, заставляя его думать и действовать по своему желанию, превращая его в свою собственность, садист как бы отчаянно старается постичь тайну человеческой природы, человеческого бытия. Таким образом, садизм можно назвать крайним проявлением познания другого человека. В этом страстном желании проникнуть в тайну человека, а значит, и в тайну своего «я», за-

ложена одна из главных причин жестокости и тяги к разрушению.

Подобное стремление часто можно наблюдать у детей. Ребенок ломает игрушку, чтобы узнать, что у нее внутри; с удивительной жестокостью он отрывает крылья бабочки, пытаясь отгадать тайну этого существа. Отсюда видно, что основная, глубинная причина жестокости заключается в желании познать тайну жизни.

Возникает ощущение, что стремление к неограниченной власти над другим человеком прямо противоположно мазохистскому стремлению, поэтому трудно понять, как эти два явления могут быть связаны. На самом же деле, при всей своей непохожести, обе эти тенденции имеют одну и ту же психологическую причину — неспособность человека выносить собственное одиночество и слабость его личности.

Как уже говорилось ранее, оба эти явления носят симбиотический характер и поэтому тесно связаны друг с другом. Человек не бывает только садистом или только мазохистом. Между активным и пассивным проявлением симбиотической связи существует тесное взаимодействие, и поэтому иногда довольно трудно определить, какая из двух страстей овладевает человеком в определенный момент. Но в обоих случаях личность утрачивает свою индивидуальность и свободу.

Жертвы этих двух пагубных страстей живут в постоянной зависимости от другого человека и за его счет. И садист и мазохист по-своему удовлетворяют потребность в близости с любимым существом, но оба страдают от собственного бессилия и неверия в себя как личность, ибо для этого необходимы свобода и независимость.

Страсть, основанная на подчинении или господстве, никогда не приводит к удовлетворению, потому что никакое подчинение или господство, сколь бы велико оно ни было, не может дать человеку ощущения полного единения с любимым существом. Садист и мазохист никогда не испытывают полного счастья, так как пытаются добиться все большего и большего.

Результат такой страсти — полный крах. Иначе и быть не может. Направленные на достижение чувства единения с другим, садизм и мазохизм при этом разрушают ощущение целостности самого человека. Те, кто одержим этими страстями, не способны к саморазвитию, они становятся зависимыми от того, кому подчиняются или кого порабощают.

Есть только одна страсть, которая удовлетворяет потребность человека в соединении с другим, в то же время сохраняя его целостность и индивидуальность — это ЛЮБОВЬ. Любовь позволяет развивать внутреннюю активность человека. Переживания любви делают бесполезными всякие иллюзии. Человеку больше не надо преувеличивать достоинства другого или же представления о самом себе, потому что реальность любви позволяет ему преодолевать свое одиночество, ощущая себя частицей тех могучих сил, которые заключены в акте любви.

В любви человек един со всей Вселенной, он открывает для себя целый мир, оставаясь тем не менее самим собой: особым, неповторимым и в то же время ограниченным и смертным существом. Именно из этой полярности единения и обособленности рождается любовь.

Любовные переживания приводят к парадоксальной ситуации, когда два человека становятся единым целым, но при этом остаются двумя равноценными личностями.

Настоящая любовь никогда не ограничивается одним человеком. Если я люблю только одного-единственного и никого больше, если любовь к одному человеку отчуждает меня от других людей и отдаляет от них, то я определенным образом привязан к этому человеку, но я его не люблю. Если я могу сказать: «Я люблю тебя», то тем самым я говорю: «В тебе я люблю все человечество, весь мир, я люблю в тебе самого себя». Любовь противоположна эгоизму, она делает человека, как это ни парадоксально, более сильным и счастливым, а значит, и более независимым.

Любовь — это особый путь познания тайны самого себя и другого человека. Человек проникает в другое существо, и его жажду познания утоляет соединение с любимым. В этом единении человек познает себя, другого, тайну всего живого. Он «познает», но не «узнает». К познанию он приходит не путем размышлений, а соединяясь с тем, кого любит.

Садист способен уничтожить предмет своей страсти, разорвать его на части, но он не может проникнуть в тайну его существа. Только любя, отдавая себя другому и проникая в него, человек открывает себя, открывает другого, открывает человека. Переживания любви — единственный ответ на вопрос, что означает быть человеческим существом, и только любовь может служить гарантией душевного здоровья.

Для большинства людей проблема любви прежде всего заключается в том, как быть любимым. На самом же деле быть любимым гораздо легче, чем любить самому. Любовь — это искусство и ею нужно уметь овладеть так же, как любым другим видом искусства.

Любовь — это всегда действие, проявление силы человеческой натуры, которое возможно только при условии полной свободы и никогда — вследствие принуждения. Любовь не может быть пассивным проявлением чувства, она всегда активна, в состояние любви нельзя «впасть», в нем можно «пребывать».

Активный характер любви проявляется в нескольких качествах. Остановимся подробно на каждом из них.

1. Любовь прежде всего проявляется в желании д а в а т ь, а не получать. Что значит «давать»? При всей своей простоте, вопрос этот таит в себе множество неясностей и сложностей. Большинство людей понимает слово «давать» в совершенно ложном смысле. «Давать» для них означает «отдавать» что-то безвозвратно, лишаться чего-то, чем-то жертвовать. Человек с «рыночной» психологией может охотно отдавать, но в обмен он непременно хочет что-то получить; отдать, ничего не получив, — значит быть обманутым. Люди с такой установкой в любви обычно отказываются давать, давая, они чувствуют себя обедневшими. Но есть и такие, для кого «давать» означает «жертвовать», возводя это качество в добродетель. Им кажется, что давать нужно именно потому, что это причиняет страдание; добродетельность этого акта для них в том и состоит, что они идут на какие-то жертвы. Моральную норму «лучше давать, чем получать» они понимают как «лучше терпеть лишения, чем испытывать радость».

Для людей, любящих активно и плодотворно, «давать» означает совершенно иное. Давать — это наивысшее проявление могущества. Когда я отдаю, я ощущаю свою силу, свою власть, свое богатство. И это осознание моей жизненной силы, моего могущества наполняет меня радостью. Отдавать намного радостнее, чем получать, — не потому, что это жертва, а потому, что, отдавая, я чувствую, что живу. В справедливости этого ощущения нетрудно убедиться на конкретных примерах. Наиболее полно это видно в сфере половых отношений. Высшее проявление мужской половой функции состоит в том, чтобы отдавать; мужчина отдает женщине часть своего тела, часть себя, а в момент оргазма — свое семя. Он не может не отдавать,

если он нормальный мужчина; если он не может отдавать, то он импотент. Для женщины акт любви означает то же самое. Она тоже отдается, открывая мужчине доступ к своему естеству; получая любовь мужчины, она отдает ему свою. Если она может только получать, ничего не отдавая, то она фригидна.

Для женщины процесс «отдавания» продолжается в материнстве. Она отдает себя ребенку, живущему в ней. Не отдавать было бы для нее страданием.

С материальной точки зрения, «отдавать» значит «быть богатым». Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто много дает. Скупец, оберегающий свое богатство, с психологической точки зрения выглядит нищим, как бы велико ни было его состояние. Богат тот, кто может и хочет отдавать, он чувствует себя способным одаривать других. Тот же, у кого ничего нет, лишен радости делиться с другим человеком. Известно, что бедняки отдают охотнее, чем люди богатые. Но когда бедность доходит до такой степени, что отдавать уже нечего, начинается распад личности. Он вызван не столько страданиями нищеты, сколько тем, что человек лишается радости отдавать.

Но, конечно, гораздо важнее, когда человек отдает другому не материальные, а специфически человеческие ценности. Он делится с тем, кого любит, самим собой, своей жизнью, самым дорогим, что у него есть. Это не означает, что он должен пожертвовать своей жизнью ради другого человека, — просто он делится с ним всем, что есть в нем самом: своей радостью, интересами, своими мыслями, знаниями, настроением, своим горем и неудачами. Тем самым человек как бы обогащает другого, увеличивая его жизненную силу за счет своей. Он отдает без всякой цели получить что-то взамен, просто это приносит ему радость. Но когда человек отдает, он обязательно вносит что-то новое в жизнь другого человека, и это «что-то» так или иначе возвращается к нему. Поэтому, отдавая, он все же получает то, что к нему возвращается. Делясь с другим человеком, мы тем самым побуждаем его тоже отдавать, и таким образом имеем возможность поделиться с ним той радостью, которую мы сами и породили.

Когда двое любящих отдают себя друг другу, в их жизни появляется «нечто», за что они не могут не возблагодарить судьбу. Это означает, что любовь есть сила, порождающая любовь. Неспособность породить любовь — духовная импотенция. Наиболее ярко эту мысль выразил Карл Маркс: «Если считать человека человеком, а его отношение к миру — человеческим, то за любовь нужно платить только любовью, за дове-

рие — только доверием. Для того, чтобы наслаждаться искусством, нужно быть надлежащим образом воспитанным; чтобы оказывать влияние на других людей, надо обладать способностью побуждать их к действию, вести за собой, поддерживать их. Если мы вступаем в какие-то отношения с другим человеком, то они обязательно должны отражать нашу индивидуальную жизнь, соответствовать нашей воле. Если же ваша любовь безответна, если она в ответ не порождает любовь; если, проявляя свою любовь, вы не добились такого же чувства у другого человека и тоже не стали любимым, — значит, ваша любовь немощна, значит, она не удалась».

Очевидно, что способность любить, отдавая, зависит от индивидуальных особенностей развития личности. Научиться любить можно, лишь преодолев в себе такие качества, как зависимость, эгоизм, самолюбование, склонность к накопительству и привычку командовать другими людьми. Чтобы полюбить, человек должен поверить в собственные силы, самостоятельно идти к поставленной цели. Чем меньше развиты эти качества в человеке, тем больше он боится отдавать, а значит, боится любить.

2. Любовь — это всегда з а б о т а. Наиболее ярко это выражается в любви матери к своему ребенку. Если мать не заботится о младенце, забывает его купать и небрежно относится к его кормлению, не стремится сделать так, чтобы ему было уютно и спокойно, ничто не убедит нас, что она его любит. Точно так же обстоит дело с любовью к животным или цветам. Например, если женщина говорит, что очень любит цветы, а сама забывает их поливать, то мы никогда не поверим в ее любовь.

Любовь — это деятельная озабоченность и заинтересованность в жизни и благополучии того, кого мы любим. Если в отношениях двоих людей нет такой деятельной озабоченности, значит, там нет и любви.

3. Тесно связано с заботой еще одно качество, необходимое в любви, — о т в е т с т в е н н о с т ь. Ответственность часто отождествляется с обязанностью, то есть с чем-то навязанным извне. На самом же деле — это полностью добровольный акт. Ответственность в любви следует понимать, как ответ на нуж-

ды близкого человека. Быть «ответственным» значит быть способным и готовым «ответить».

На вопрос Господа о своем брате Каин ответил: «Разве я сторож брату моему?» Тем самым он как бы продемонстрировал полное равнодушие к судьбе брата и свою нелюбовь к нему. К тому же, как мы знаем, за этим равнодушием скрывалось куда более страшное преступление. Тот, кто любит, всегда несет ответственность за другого. Жизнь его брата касается и его самого. Он чувствует такую же ответственность за любимого человека, как и за самого себя. В случае материнской любви эта ответственность касается прежде всего жизни и здоровья ребенка, его физических потребностей. В любви двух взрослых людей речь идет об ответственности за душевное состояние другого, продиктованной его нуждами.

4. Повышенное чувство ответственности могло бы легко превратиться в подавление другого человека, в отношение к нему как к собственности, если бы не еще одно качество, определяющее любовь, — у в а ж е н и е.

Уважение — это не страх и не благоговение. Уважать другого человека значит проявлять к нему внимание, наблюдать за ним (в хорошем смысле этого слова); то есть видеть его таким, каков он есть на самом деле во всей своей индивидуальности.

Если я уважаю человека, то я заинтересован в том, чтобы он развивался самостоятельно, по собственному пути. Таким образом, уважение исключает использование любимого человека в своих целях. Я хочу, чтобы тот, кого я люблю, развивался по-своему и для себя самого, а не для того, чтобы служить мне и моим интересам. Если я действительно люблю, то я не отделяю себя от любимого человека; но я признаю и люблю его таким, каков он есть, а не таким, каким бы я хотел его видеть для исполнения моих желаний.

Очевидно, что я могу уважать другого только в том случае, если сам являюсь независимым, самостоятельным человеком и не нуждаюсь в том, чтобы использовать другого в своих целях. Уважение возможно только при наличии свободы, отношения господства не могут породить любовь.

5. Но уважать человека невозможно, не зная его; да и все остальные качества любви не имели бы смысла, если бы в их основе не лежало з н а н и е. Любить человека — означает

знать. Знание, являющееся одним из признаков любви, никогда не бывает поверхностным, оно проникает в самую суть. Это возможно лишь в том случае, если я сумею возвыситься над заботой о себе, посмотреть на другого человека его глазами, с позиции его собственных интересов. Например, я знаю, что близкий мне человек чем-то рассержен, хотя он этого не показывает, старается скрыть свое состояние, не проявляет его открыто. Еще глубже я знаю его, если вижу даже самую незначительную обеспокоенность или встревоженность, которая скрывается за его раздражением. Если я вижу это, значит, я понимаю, что его гнев, озлобленность — лишь внешнее проявление чего-то более глубокого; что он не столько сердится, сколько страдает.

Знание служит выражением любви еще в одном особом аспекте. Глубинная потребность слияния с другим человеком, чтобы вырваться из плена одиночества, тесно связана с желанием познать «тайну» другого человека. Я уверен, что знаю себя, но, несмотря на все мои старания, я все же себя не знаю. То же самое я могу сказать и о любимом человеке.

Парадокс заключается в том, что, чем глубже мы проникаем в глубину нашего существа или существа другого человека, тем больше мы убеждаемся в невозможности достижения цели нашего познания. Как бы мы ни стремились, мы не можем постичь тайну человеческой души. В этом нам может помочь только любовь. Только она позволит нам если не постичь тайну человеческого бытия, то хотя бы приблизиться к его сокровенным истокам».

Размышляя о глубинных потребностях человека, Эрих Фромм приходит к выводу, что каждый индивид пытается разгадать тайну собственной индивидуальности. Кто я? Каждый человек пожизненно приговорен к конкретной земной участи. Это, конечно, безрадостно. Так хочется преодолеть свое «Я». По крайней мере, расщепить его ядро, расширить рамки сугубо индивидуального. Что и говорить, такое стремление оправданно: это глубинная, труднонасыщаемая человеческая потребность...

В истории мировой культуры этот феномен заметить нетрудно. Диоген мысленно продает себя в рабство на базарной площади: довольно быть философом!.. Перегрин в собственных видениях сжигает себя на олимпийских играх: пусть видят все... Каждый отдается на произвол фантазии: вот он разбойник на большой дороге, вор на базарной площади, заключенный в тюрьме, рыцарь-крестоносец, участник эротической оргии тайного культа. Между

прочим, средневековые карнавалы были будто созданы для того, чтобы стереть неповторимую историю личности. Нищий красуется в облике принца. Король обрекает себя на пастушество, покуда не смолкли фанфары. Священник мысленно вкушает запретные радости плоти. Гетера притворяется чистейшим созданием... Декамероновы маски проходят через века...

С одной стороны, человек изо всех сил старается закрепиться в своей психологической нише, обжить ее. А с другой — сам же ее взрывает... И наше столетие наглядно демонстрирует эту потребность... Человек мучительно пытается понять себя, бесконечно проецируя свои внутренние миры. Это распространяется и на тайны пола, порой приводя к транссексуальности, о которой пишет Хелен Б.Шаффер.

ХЕЛЕН Б. ШАФФЕР

Жгучая тайна пола

«Что такое транссексуализм? Это такое явление, когда он (или она) ощущают себя человеком другого пола, чем есть на самом деле. Все большее количество врачей начинают обращать на него свое пристальное внимание.

Те, на кого напало такое несчастье, до сих пор были предоставлены самим себе и жили наедине со своей тайной болезнью. Жили они, пряча свое несчастье от других, порой пытались вести себя в соответствии со своим ненавистным полом или начинали одеваться и держаться так, как это делают представители противоположного пола, но при этом испытывали постоянный страх разоблачения. Разоблачение же означало для них позор, отчуждение друзей, часто потерю работы, развал семьи...

Сегодня в мире уже существует около 40 так называемых «центров половой идентификации», учреждений, которые организованы в тех странах, где готовят специалистов, способных помочь транссексуалам, дать консультацию, лечить и помочь синхронизировать внутреннюю и внешнюю личность человека. Среди этих центров известна американская клиника половой идентификации Джона Хопкинса. Как правило, эти центры создаются при самых престижных медицинских институтах. Работа с транссексуалами в этих центрах привела к рождению новой отрасли знания, имеющей дело преимущественно с более широкой проблемой — с проблемой идентификации пола вообще.

Эта новая область знаний позволяет определить прежде не очень ясное представление о различных оттенках отклоняющегося от нормы поведения. Исследования в данной области охватывают широкий спектр интересных проблем, для решения которых необходимы навыки и интуиция врачей самых разных специальностей: генетиков и неврологов, эндокринологов, хирургов и урологов, психиатров и психологов, дизайнеров по протезированию человеческих органов и специалистов по пост-операционной реабилитации.

Сегодня едва ли еще можно говорить, что борьба за здоровье транссексуалов завершена полной победой. Общественное мнение медленно преодолевает негативное отношение к ним, которое было характерно еще 25 лет тому назад. Тогда один американский солдат по имени Джордж Йоргенсен объявил, что группа датских врачей превратила его в женщину, Кристину Йоргенсен, что теперь все знают его в новом обличье — как женщину-блондинку. В то время это было воспринято как нечто из ряда вон выходящее. (Большинство центральных американских газет опубликовало тогда эту информацию вместе с фотографией. *Прим. перев.)*.

Можно сказать, что сегодня отношение к транссексуалам несколько улучшилось, однако большинство нормальных людей с омерзением относятся к идее перемены пола. Врачи также не единодушны в оценке правильности радикального метода лечения — хирургической трансформации внешних половых органов пациента. После хирургической операции транссексуалы живут, понимая, что полного излечения никогда нельзя добиться, что пока еще никто не может определенно сказать, как долго человек будет оставаться довольным тем, что сделала с ним эта трансформация. Пока еще проведено слишком мало исследований и эти данные недостаточно ясны, чтобы делать определенные выводы.

Те, кто озабочен проблемой половой неидентичности, естественно, ищут врачей, которые могли бы им помочь, при этом полностью сохраняя их тайну, гарантируя ее неразглашение. История же с Йоргенсеном, к которой отнеслись как к жуткому скандалу, а не как к медицинскому феномену, мало способствовала установлению открытости в этом вопросе ни со стороны больных, ни со стороны врачей.

Однако весной 1976 года данная проблема снова привлекла к себе внимание общественности. Дело в том, что высокая 42-летняя теннисистка по имени Рени Ричардс, участвовавшая в открытом женском чемпионате в Ла Джола (Калифорния),

была разоблачена как транссексуалка, которая в своей прежней идентичности была мужчиной, доктором Ричардом Раскиндом, известным нью-йоркским офтальмологом. Доктор перенес хирургическую трансформацию, после чего оставил свою врачебную практику в Нью-Йорке и переселился в Нью-Порт Бич (Калифорния). Когда он был мужчиной, он был одним из ведущих теннисистов, чемпионом нескольких соревнований в Нью-Йорке.

После того как об этой трансформации стало широко известно, Рени Ричардс сказала, что стала получать тысячи писем от тех, кто страдает транссексуализмом. Они умоляли ее принять участие в кампании в их защиту, за сочувствие к ним со стороны общественности, за признание их проблем медициной. И тогда, вспоминает Ричардс, она решила использовать свою неожиданную «дурную славу» на пользу людям, сосредоточиться на игре в теннис и использовать ее «как рычаг для достижения своей социальной цели: доказать, что транссексуалка — тоже человек, что она должна иметь те же права, какие имеет любая женщина».

Примерно тогда же Рени Ричардс решила написать книгу о своих транссексуальных переживаниях. «Я хочу, чтобы люди знали, что мы тоже люди, что у нас тоже есть душа... и что у нас не две головы, мы не психопатки и не чудовища», — говорила она в своем интервью журналу Американской медицинской ассоциации.

Однако когда Ричардс снова попыталась участвовать в чемпионате, группа женщин, участниц чемпионата, выразила протест, и Американская теннисная ассоциация по их настоянию издала указ, по которому «лица, соревнующиеся как женщины» на чемпионатах, должны проходить тест на пол... как это принято в Олимпийских играх». Этот тест довольно прост, он состоит из проверки кусочка ткани, взятой с внутренней поверхности щеки, на хромосомы в клетке — мужские они или женские. Ричардс отказалась от теста, тогда ее не допустили к соревнованиям. Однако в других матчах ей удалось все-таки участвовать.

Позже она говорила, что прошла тесты на хромосомы в местечке Литтл Рок (Арканзас), и на этом основании получила право играть в открытых чемпионатах во Франции и Италии.

В том же году руководство Американской теннисной ассоциации решило, что для участия в матчах в Форест Хиллз Ричардс все же должна пройти тест в больнице Института спортивной медицины в Нью-Йорке. Но она снова отказалась от

теста, поставив при этом условие, что все женщины-теннисистки, участвующие в соревнованиях, тоже должны его пройти. Однако если запрещение участвовать в матчах будет и дальше продолжаться, она подаст на Ассоциацию в суд за дискриминацию. Матч, который она планировала провести с Бобби Риггс в Балтиморе против Билли Джона Кинга и Гарднера Малли, должен был стать поводом для дальнейшего усиления гласности в отношении транссексуалов.

Тяга человека к биологической перемене

Классическим примером истинно мужского транссексуализма является мужчина — по всем биологическим и анатомическим показателям, — но который жаждет обращения с ним, как с женщиной, чтобы по возможности максимально удовлетворять потребности тела в соответствии с внутренним чувством его половой идентичности. Но такие потребности не являются чисто мужскими ощущениями. Женщины-транссексуалки испытывают аналогичные чувства в отношении противоположного пола; транссексуалки — это те биологически функционирующие женщины, которые страстно хотят стать мужчинами, точнее, непоколебимо верят в то, что «внутри себя» они мужчины.

В медицинской литературе чаще всего встречаются описания транссексуалов-мужчин, а не женщин, однако пока не ясно, потому ли, что мужчины с такими заболеваниями встречаются чаще, или потому, что женщины-транссексуалки считают для себя более легкой задачей вживание в предпочитаемую сексуальную роль без медицинского вмешательства. Однако с ростом числа центров половой идентификации и с распространением информации о них все большее число женщин стало обращаться в эти центры за помощью.

Транссексуализм определяется в учебниках как «синдром болезни, когда человек необратимо стремится принять на себя половую идентичность, противоположную его собственной идентичности». Существует и другое определение этой болезни: «Патологическое отклонение в половой идентичности, при которой люди анатомически одного пола имеют настойчивое, непреодолимое желание подвергнуться хирургическому вмешательству, чтобы стать человеком другого пола».

Интенсивность желания транссексуалов изменить свой пол трудно понять человеку с нормальной сексуальностью. Но

в отличие от общепринятого представления главным мотивом этого стремления является не сексуальное влечение. Транссексуальная проблема — это, прежде всего, его или ее стремление к половой идентичности (то есть соответствие внешнего облика и внутреннего самоощущения. *Прим. перев.)* Это непреодолимое стремление «превратиться, утвердиться и быть принятым в противоположной половой роли», и это желание становится в человеке настолько сильным, что превращается в «единственную, всепоглощающую страсть» жизни.

Желание изменить внешние половые органы вызвано у транссексуалов не стремлением усилить сексуальное удовольствие, а лишь стремлением избавиться от напоминания о том, что они выглядят как люди «неправильного пола». Именно с этой целью специалисты, имеющие дело с транссексуалами, предпочитают применять термин «половая идентичность», а не «сексуальная идентичность», поскольку последний термин ассоциируется скорее с сексуальным актом, а не с половой идентичностью личности.

«Отвращение к собственному телу — это характерная черта транссексуалов», — считает скандинавский исследователь Жан Вёлиндер. Изменение пола, естественно, меняет и сам образ повседневной жизни человека. Оно освобождает от постоянного страха быть разоблаченным перед людьми, решает проблему того, как одеваться — в мужской или женский костюм, позволяет создать семью с избранником и снимает препятствия трудиться в избранной области.

Большинство исследователей, изучающих данную проблему, сталкивается с большой трудностью при определении различия между транссексуалами и гомосексуалистами. Гомосексуалисты никогда не испытывают сомнений относительно своей половой идентичности. Он или она могут перенять манеры, присущие противоположному полу (следует отметить при этом, что излишне женственные мужчины и излишне мужественные женщины составляют довольно небольшой процент среди гомосексуалистов), но их поведение не направлено на изменение пола. Настоящий гомосексуалист удовлетворен своим биологическим полом и просто предпочитает в качестве эротического партнера человека одинакового с ним пола. Следовательно, можно сказать, что главное его отличие от транссексуалиста состоит в том, что он не стремится изменить свою генитальную структуру.

Транссексуалы, особенно в годы, предшествующие их полному осознанию своего положения, могут иметь дело с гомо-

сексуалистами, но истинный транссексуал будет рассматривать эти свои отношения как гетеросексуальные. В целом же транссексуалы чаще всего испытывают отвращение к гомосексуалистам. Мужчина-транссексуал, который ищет себе другого мужчину для сексуального партнерства, просто думает, что сам он — женщина с нормальным гетеросексуальным влечением. То же самое можно сказать и о женщине-транссексуалке.

Английский писатель рассказывает, как он превратился в мужчину

Транссексуализм обычно проявляется в очень раннем возрасте, однако его очень трудно распознать до тех пор, пока человек не станет старше — пока он не достигнет подросткового или более зрелого возраста. Изучение периода, когда у человека возникает сознание его половой идентичности (специалисты называют его «моментом половой идентичности»), показывает, что ребенок понимает, мальчик он или девочка — уже к трем годам и даже раньше. Жан Морри, английский писатель и историк, один из немногих людей, подробно описавший историю своего превращения из мужчины в женщину, вспоминает, что ощущение того, что он родился с «неправильным полом» — было «самым ранним моим ощущением».

Некоторые транссексуалы порой предпринимают огромные усилия, чтобы преодолеть глубоко ранящее чувство своей половой неидентичности. Мужчины-транссексуалы — вроде доктора Ричардса в его прежней идентичности, например, могут начать усиленно заниматься спортом, чтобы доказать свою «нормальность» и т.д. Довольно часто транссексуалисты стремятся изменить пол, имея супруга и даже детей. Это стремление обычно не бывает связано с трудностями по созданию семьи, за исключением тех случаев, когда их специфические проблемы не мешают нормальным взаимоотношениям с близкими.

Как Моррис, так и Ричардс с уважением говорили о своих бывших женах и о сочувственном отношении тех к их проблеме. У Морриса было 5 детей от жены, которую, по его словам, он и теперь продолжает любить, сам став женщиной, хотя, конечно, как сестру, а не как супругу. У Ричардса было двое детей. И Моррис, и Ричардс счастливы, что имеют детей, хотя ни тот, ни другой больше не могут быть родителями после того, как

изменили свой пол вследствие хирургической операции. Для обоих самым трудным моментом после трансформации было — «как рассказать об этом детям». Описаны случаи, когда и матери производят подобную операцию; в одном случае новый мужчина женился на женщине с детьми и у них тоже родились дети.

Однако со временем жизнь с аномальным чувством половой неидентичности становится все более и более раздражающей. И нередки случаи, когда некоторые транссексуалы снова обращаются к медикам с просьбой об обратной трансформации (как правило, в среднем или старшем возрасте), хотя и знают, что такая помощь едва ли возможна. Более старшие транссексуалы считают, что можно пережить любую боль, любой риск и любые расходы, лишь бы снова обрести физический комфорт и спокойно прожить оставшуюся жизнь. В целом же чаще всего подвергаются трансформации люди в возрасте от 21 до 35 лет.

Американское транссексуалистское население

Никто определенно не знает, сколько всего существует транссексуалов. Оценки разные: одни говорят, что в Соединенных Штатах их 10 тысяч, другие — что 20. Есть сведения о том, что на каждые 40 тысяч человек приходится один мужчина-транссексуал и на каждые 80-120 тысяч человек — одна женщина-транссексуалка, однако более убедительные данные о количестве транссексуалов обоих полов еще предстоит собрать.

Заметно меньшее количество женщин-транссексуалок может быть действительно существующим фактом либо это может быть связано с тем, что женщины-транссексуалки психологически более легко умеют приспособиться и без медицинского вмешательства.

Во многих случаях «беспокойство в связи с половой идентификацией» может и не достигать такой силы, чтобы заставить человека сменить свой пол с помощью хирургов. Некоторые люди до конца не могут понять всей сложности проблемы транссексуализма, сознавая только дискомфорт в связи со своим полом и свою беспомощность в данном вопросе. Другие пытаются как-то приспособиться к этим ощущениям и без медицинской помощи. Требуют внимания врачей обычно те,

кто страдает от внешних проявлений внутреннего дискомфорта, который становится почти невыносимым.

Врачи, имеющие дело с подобными случаями, считают, что если такому состоянию не придавать значения, транссексуальное беспокойство может привести к психозам, к глубоким депрессиям и к самоубийству. Многие транссексуалы остаются одинокими. Несмотря на свои выдающиеся журналистские достижения и в целом счастливый характер, Джеймс Моррис чувствовал, что в общем-то он остается как бы только наблюдателем, а не участником в мире мужчин: «Я чувствовал, что я... изолирован, как бы и ни с теми, и ни с этими...».

Как утверждают некоторые исследователи, из-за нетерпимого и осуждающего отношения людей к транссексуальности, стремление держать все в тайне может в конце концов привести человека к паранойе. Такая опасность может усилиться, если пациент время от времени обращается к врачам, а равнодушные и жестокие врачи от него отмахиваются. Поэтому некоторые из них бывают вынуждены калечить себя как из-за отвращения к особенностям своей анатомии, так и для того, чтобы вынудить хирургов сделать операцию.

Культурные и медицинские установки

В то время как признание транссексуализма в качестве клинического явления произошло несколько десятилетий тому назад, исторические документы показывают, что как человеческая проблема этот феномен отнюдь не нов... Другие общества в прошлом относились к людям с неопределенным полом менее предосудительно, и, возможно, с этим связана разница в способности транссексуалов приспособиться к своему положению. «Ряд описаний в классической мифологии, классической истории, в истории Ренессанса и XIX века плюс множество источников по культурной антропологии указывают на то, что транссексуальный феномен представляет собой старое распространенное явление», — пишет Ричард Грин, ведущий врач в исследовании и лечении транссексуализма.

Грин указывает, например, что греческая богиня Венера Кастинская была благосклонна к «женским душам, заключенным в мужское тело». Он приводит множество цитат из древних мифов о смене полов, что иногда осуществлялось как исполнение желания, а иногда — как наказание за преступления. Гиппократ, «отец современной медицины», живший за тысячу

лет до Христа, описывал некоторых скифских мужчин, которые одевались и жили как женщины. В древних легендах рассказывается о богах, способных изменить пол животного и человека, о ведьмах, у которых имелись магические снадобья, которые могли изменить пол.

Отдельные исторические деятели прошлого приводят примеры того, что сегодня называется транссексуализмом. Филон Александрийский, философ I века новой эры, описывал мужчин, живших как женщины, которые настолько сильно желали изменить свой пол, что иногда даже «ампутировали свой детородный орган». Ювеналий, римский поэт-сатирик, живший примерно в то же время, саркастически описывал феминизированных мужчин. Несколько позже Генрих III, король Франции XVI века, наряжался в женские одежды и выражал желание, чтобы его считали женщиной.

Антропологические исследования жизни первобытных людей выявили многочисленные примеры того, что так же можно рассматривать, как примеры транссексуализма. Во многих случаях транссексуалам оказывали знаки необычайного уважения. «Если современный западный человек рассматривает смену полов, во всяком случае, до недавнего времени, как что-то чудовищное и возмутительное, — пишет Моррис, — древним людям смена полов представлялась как провозвестие, как признак необычайности. Неопределенность пола не считалась позором, а была особой привилегией и ее часто связывали со сверхъестественными силами, считали признаком святости».

По Грину, в языках таких американских индейских племен как Юман, Кокопа, Мохабе и Навахо имеются слова, означающие мужчину, который стал женщиной. В племенах палеоазиатских, древних Средиземноморских, племенах, живущих по побережью Индийского океана, и среди африканских племен, мужчины, которые приняли образ жизни и одежду женщин, окружались особым почетом и становились шаманами, священниками и колдунами — теми, чьи сверхъестественные силы наводили страх и вызывали глубокое почтение.

Отказ врачей лечить транссексуалов

Размышление над примерами смены полов из древней истории вызывают удивление, почему же современная наука так не спешит изучать этот феномен, несмотря на ослабление сек-

суальных табу и несмотря на рост исследований сексуальности в постфрейдовский период. Отвращение, вызываемое мыслью об искажении нормальных половых органов, явилось сдерживающим фактором в решении проблемы транссексуализма. Естественно, врачи не более других ограждены от приступов негодования, когда возникает «бесчеловечная» просьба от практически здорового пациента. И даже сочувственно настроенного врача все-таки будет удерживать от операции осуждение его коллег — не говоря уже о страхе перед наказанием за нанесенное увечье или ущерб здоровью пациента в силу неопытности врача.

Доктор Милтон Эдгертон, хирург, который провел множество пластических операций на гениталиях, сказал коллегам-ученым в медицинском центре Стэнфордского университета в 1974 году, что понимание транссексуализма — его корней, форм, в которых он проявляется, тех психических сил, которые давят на пациента-транссексуала, и поиски правильных методов лечения в каждом отдельном случае — не будут развиваться дальше, «пока не будет создан такой профессиональный климат вокруг проблемы, который будет свободен от эмоциональных рефлексов».

И только тогда, добавил он, доктора «будут готовы стать лицом к лицу с этой проблемой». Главной причиной, мешающей справиться с ней медицинскими методами, является, с точки зрения доктора Эдгертона, пуританское этическое наследие нации, а также юридические сложности. Те врачи, которые берутся за это дело, должны быть готовы «принять очередную порцию критики со стороны многих юристов, которые не в состоянии понять ни проблему... ни причину того, почему уважаемые медики шутят над транссексуалами при изучении путей изменения их сексуальной анатомии».

Другим серьезным препятствием долго оставался сам пациент. После многих лет тяжких страданий, осажденный семейными проблемами, связанными с его (ее) особым состоянием, пациент часто оказывается в самом неподходящем эмоциональном состоянии, когда он (она), наконец, пришел к хирургу, который смог бы выполнить его просьбу — конечно, если доктор будет уверен, что пациент в здравом уме и способен удовлетворительно перенести послеоперационную перестройку. Доктор Эдгертон добавляет, что только при соблюдении этих условий «предварительные исследования, наконец, будут проведены на нескольких десятках пациентов и что, наконец, у врачей имеется медленно растущее количество фактов, на ко-

торые мы сможем опираться в будущем при принятии решений и при лечении транссексуалов».

Медицинские данные в случаях неясности сексуальных ролей: конец XIX — начало XX века

Одним из первых исследователей транссексуализма был известный немецкий психиатр Ричард фон Краффт-Эбинг. Данные его исследований публиковались в 1886 году в его книге «Психопатия сексуалис». Краффт-Эбинг наблюдал транссексуальных больных и назвал их «метаморфозис сексуалис паранойя». Другие врачи в начале XX века также обращали внимание на подобные случаи, но они относили к одной группе всех, кто по своему желанию носил одежду противоположного пола. Термин «трансверсист» родился примерно в 1910 году для обозначения неосознанного желания переодеваться в одежду противоположного пола, но только значительно позже было признано, что поведение людей такого рода может иметь различную мотивировку и что не все трансверсисты являются транссексуалами.

Эллис Хейвлок, английский писатель-психолог, чьи работы в области «психологии пола» были чрезвычайно популярны в начале века, назвал данный феномен «сексуально-эстетическим облачением», но позднее он стал предпочитать термин «эонизм» — по имени прославленного мужчины-трансверсиста Шевалье д'Эона, который, по общему мнению, очаровал короля Луи XV. Некоторые современные исследователи предпочитают термин «эонизм» как наименее туманный.

Сегодня существует множество других терминов, что является доказательством новизны исследований в данной области знаний, а также отсутствия единогласия среди специалистов относительно природы данного феномена: «психический гермафродитизм», «контрасексизм», «психосексуальная инверсия», «психопатия сексуалис» и др.

Доктор Гарри Бенджамин, 90-летний эндокринолог из Нью-Йорка, известен тем, что предложил термин, который нашел широкое применение, — «транссексуализм». Некоторые ученые считают, что этот термин можно применять только в отношении пациентов, которые уже перенесли физическую смену половых органов. Большинство же предпочитает термин «дисфория половой идентичности», который означает об-

щий дискомфорт по поводу сексуальной неидентичности. Еще более широко применяется термин «синдром половой неидентичности».

Почти все данные краткой истории пробуждающегося интереса к транссексуализму подтверждают мысль о том, что именно доктор Бенджамин был первым человеком, толкнувшим дверь, которая закрывала вход к тайнам этого феномена. Он был не только одним из первых врачей, лечивших пациентов в соответствии с их непреодолимым желанием изменить свой пол, но он также первым стал тщательно изучать каждый случай и открыто выступал перед коллегами с изложением причин, по которым применил тот или иной метод лечения транссексуализма.

Уже в 20-е годы он столкнулся с несколькими случаями, которые совершили переворот во всей его врачебной практике. Позднее он узнал, что доктор Алфред Кинсей и его сотрудники сталкивались с аналогичными случаями в их исследованиях сексуального поведения американцев. Доктор Бенджамин был не только удивлен, но и озадачен тяжкими страданиями этих людей. «Несколько примеров попытки самокастрации у людей, которые были внешне абсолютно здоровыми, меня глубоко потрясли», — пишет он. «Их отчаяние и вся клиническая история болезни и напрасные поиски помощи (иногда с детских лет) заставили меня понять, что медицина относилась к ним как к пасынкам». Доктор Бенджамин писал, что после всех этих случаев он стал относиться к транссексуалам как к «самым несчастным людям».

Растет число клиник для тех, кто страдает «синдромом половой неидентичности»

Доктор Бенджамин опубликовал свою первую статью в журнале «Интернейшнл Джорнел оф Сексолоджи» в 1953 году. В том же году он согласился организовать симпозиум по транссексуализму по просьбе американского психотерапевтического журнала, и все материалы симпозиума практически были опубликованы в этом журнале. Эти публикации способствовали тому, что к доктору Бенджамину обратилось большое количество транссексуалов. К этому времени он «уже стал понимать, что транссексуализм — особый феномен, отличающийся от других форм сексуальных отклонений от нормы,

поднимающий большое число медицинских, а также социальных и юридических вопросов».

Заметное продвижение в изучении транссексуализма имело место в 1964 году, когда группа врачей во главе с Бенджамином осуществила исследовательскую программу. Транссексуалы получили разнообразные тесты, их ответы тщательно обследовались; проверялись и их реакции на разные виды лечения. И как результат: «Там, где было сплошное невежество, появились точные, проверенные знания... и у нас в руках появились надежные данные, с помощью которых мы могли теперь противостоять предрассудкам».

Главным в методике лечения доктора Бенджамина было применение гормонов. Ставили цель — несколько изменить пол пациента в желаемом направлении. Это могло ему помочь легче перейти к роли противоположного пола, а также помогало снять нервное напряжение у больного. Но доктор Бенджамин понимал, что для более серьезных случаев гормональное лечение означало лишь откладывание... «хирургической операции по смене пола». Он лишний раз убедился, что для этих несчастных людей хирургическое вмешательство было единственным лечением и могло даже спасти жизнь, потому что «отказ от операции мог способствовать возникновению попытки самоубийства». Психотерапия, по его мнению, не способна помочь этим людям примириться с их анатомическим и генетическим полом.

До появления методики доктора Бенджамина транссексуалы, стремившиеся с помощью операции изменить свой пол, должны были ехать за границу в поисках тех малоизвестных врачей, которые хотели бы и могли бы осуществить подобную операцию. В 1966 году в Балтиморе была основана единственная в США клиника половой идентификации для исследования и лечения транссексуализма, и в том же году была произведена первая операция по изменению половых органов. Престиж этой больницы, широкое освещение операции в прессе способствовали созданию нескольких аналогичных клиник в стране. Сегодня из 40 клиник половой идентификации в США примерно в половине делают операции, описанные выше. Степень значимости этих клиник подтверждается сообщениями о том, что с тех пор, как в 1966 году при больнице Джона Хопкинса была открыта клиника, сюда поступает около 3 000 заявлений от транссексуалов в год и около 10 операций в год по смене пола проводится только в этой клинике.

Объяснения случаев смены пола

Хирургическая операция по смене пола не проводится, конечно, только по просьбе транссексуала. Те, кто стремится к хирургической смене пола, подвергаются длительному обследованию. Обоснованность просьбы об операции должна проверяться длительное время, за это время больные должны доказать, что неизменны в своем решении, что не отступают от своего намерения ни по психологическим, ни по экономическим соображениям. Операция — процедура необратимая, ни один врач не захочет брать пациента, который после операции может изменить решение... Известно, что не каждый пациент, настойчиво требовавший операции по смене пола, действительно является транссексуалом. Некоторые больны умственно или эмоционально, иные могут страдать от мании или быть побуждаемы преходящими фантазиями. Были случаи, когда гомосексуалисты, страдавшие от чувства вины, надеялись вернуть свою утраченную «невинность» с помощью операции. Были и такие, кто считал, что слово «транссексуал» менее оскорбительно, чем «гомосексуалист».

Врачи теперь научились быть осторожнее, изучая очередную просьбу пациента о помощи. Однажды врачи подобной клиники были потрясены похожестью историй, рассказанных больными. Они звучали как затверженный урок из учебника. В медицине есть такой трюизм: клиническая практика порой рождает «своего» пациента, тип симптомов которого полностью соответствует медицинским стандартам, описанным в учебнике. В данном случае все пациенты один за другим рассказывали доктору, что он (она) ощущали себя мужчиной (женщиной), «втиснутым» в женское (мужское) тело.

Но затем врачей осенила догадка, что среди пациентов ходят слухи, что только хирургическое вмешательство приносит облегчение, и поэтому доктора надо убедить в обоснованности просьбы о перемене пола. «Опытные» транссексуалы советовали, как именно надо вести себя во время предварительных осмотров. Так, например, руководитель вновь созданной Ассоциации половой идентификации в Джексонвиле (Флорида) доктор Ида М.Дашофф рассказала на научной конференции в Стенфордском университете, что медицинские работники разгадали впоследствии причину «стереотипной» истории, «необходимой» для рекомендации оперировать пациента.

Однако эти клиники — хирургические центры медленно продвигаются в начатом направлении, а многие больные не получают направления на операцию, хотя могли бы после тщательного обследования, лечения и консультирования, а также других форм лечения быть прооперированы опытными хирургами. Едва ли больше одного из 10, приходящих в подобные центры в США, действительно нуждаются в такой операции, хотя им предоставляются и другие формы помощи.

Почти все специалисты в этой области согласны с тем, что наиболее важный метод — показ того, как данный больной может успешно приспособиться и жить в выбранной половой роли. Это означает, что он или она уже приняты в общину людей данного пола в новой сексуальной роли, что этот человек имеет хорошие семейные отношения, что он нашел хорошую работу и проявляет все признаки стабильного человека. Это не значит, что человек в этой сексуальной роли будет жить всего несколько дней или недель. Период проверки будет длиться год или больше. Ни один хирург при этом еще не работал с подростками, их пока еще лечат иными способами.

Применение гормонов противоположного пола

Медицинская помощь при смене пола состоит обычно в том, что больному прописывают гормоны — женские мужчинам-транссексуалам, мужские — женщинам.

В противоположность общепринятому мнению, транссексуал — это не женоподобный мужчина и не мужеподобная женщина. Транссексуалы могут иметь совершенно разнообразные внешний вид, вес, свойства и привычки. Дородный мужчина с волосатым телом и низким голосом может настаивать, что он — женщина «внутри себя». Аналогично этому изящная, хрупкая женщина может чувствовать себя «настоящим» мужчиной.

Изменение половых признаков с помощью гормонов — это длительный процесс с ограниченным эффектом. Он никогда не приводит к полной смене пола. Мужское тело, постоянно подвергающееся действию женских гормонов, несколько теряет в объеме мускулатуры, в весе, кожа становится тоньше, несколько увеличиваются груди и расширяется объем бедер; половое влечение снижается до полной импотенции. Пациентам обычно выписывают большие дозы гормонов.

Вспоминая о том, какие начались изменения в его организме после приема значительного количества гормонов, писатель Моррис констатировал:

«Беглый подсчет показал, что за шесть лет лечения я проглотил примерно 12 тысяч таблеток и принял примерно 50 тысяч миллиграмм женских гормонов. Большая часть этой дозы не дала никакого эффекта... но меньшая оказала сильное воздействие и постепенно начала превращать меня из человека, похожего на здорового мужчину... в человека, вполне смахивающего на гермафродита или скорее всего на нечто, ни того, ни другого пола. Скинув одежду, я видел перед собой чудовище (полумужчину, полуженщину), существо, странное даже для меня самого».

Мужские гормоны имеют обратное влияние на женщин-транссексуалок, вызывая рост волос на теле и голове и снижая тембр голоса. Груди опадают, хотя и не атрофируются полностью. Люди обычно охотно принимают гормонотерапию, так как считается, что эта процедура обратима. Если больной изменит свое намерение, то он или она могут прекратить принимать лекарство. Однако человек может и не вернуть свой прежний физический облик полностью, например, особенность голоса после того, как он был понижен с помощью мужских гормонов. Голос обычно не повышается после прекращения приема гормонов. Наука еще не знает никаких химических или хирургических способов поднятия тембра голоса, люди сами могут несколько поднять голос, упражняя голосовые связки.

Социальная и профессиональная помощь в адаптации к новой половой роли

Громадное преимущество гормонотерапии, кроме снятия психического напряжения у больного, связано с половой дисфорией, заключается в том, что смена гормонов облегчает транссексуалам почувствовать себя человеком противоположного пола. Ряд пациентов сообщает, что они стали ощущать себя больше мужчиной (женщиной) после нескольких месяцев гормонотерапии.

Однако в тех случаях, когда вторичные половые органы сильно развиты, гормонотерапия не дает эффекта. Тогда для постепенного перехода в другой пол применяются другие виды терапии. Например, волосатые мужчины-транссексуалы

подвергаются неприятной и болезненной процедуре — с помощью электролиза избавляются от волос, фактически выщипыванием волоска за волоском. Применяются сотни других методов лечения. Иногда имплантируют силиконовую смолу, чтобы придать груди женскую форму. Те, у кого выдается адамово яблоко на горле, подвергаются ларингэктомии, чтобы удалить этот «презренный остаток» мужественности. Чтобы обрести более женственные черты лица, уменьшают нос, для облегчения фигуры уменьшают размеры икр, лодыжек и т.д.

Женщины-транссексуалки удаляют молочные железы и матку, чтобы избавиться от признаков былого пола. Вообще женщинам-транссексуалкам кажется, что достаточно держаться как мужчина, особенно после того, как гормоны понизят голос. Тем более что мода имеет тенденцию подчеркивать мужские линии в туалете, что позволяет этим женщинам легче приспособиться к мужской одежде.

Более передовые центры половой идентификации разработали обширную программу подготовки больных к той жизни, которой он или она будут жить при новой половой идентичности. Эксперты были поражены, узнав, что многие из пациентов не осознавали до конца, что обладают определенными чертами пола, кроме чисто физических; многие предполагали, что, обретя, например, чисто женские черты и ведя себя «сексуально», они будут пользоваться успехом... Развивалась даже специальная «школа шарма» — то есть набор определенных советов, как одеваться мужчине-транссексуалу, ставшему женщиной, как себя вести в женской манере.

Разработаны специальные советы, как найти нужную работу. В этих центрах создан список агентств профессиональной реабилитации в помощь тем, кто изменил свой пол. Несмотря на успехи в феминистском движении, реальная ситуация такова, что разнообразие доступных видов работы и шкала оплаты различна для разных полов в нашем обществе, и транссексуалы должны быть к этому готовы. Они также должны быть готовы к тому, что люди, с которыми они будут сталкиваться в общежитии, на работе, будут обращаться с ними уже как к представителям другого пола; некоторые из изменений для транссексуалов будут приятны, другие — нет, это будет создавать для них трудные проблемы, к которым их тоже следует подготовить.

Кроме того, существует целый ряд практических проблем, по которым центры, имеющие самых разноообразных специалистов для этого, также готовы помочь своим больным.

Смена пола означает перемену всей жизненной истории человека — она означает изменение всей жизненной истории со дня рождения. Необходимо изменить буквально все — свидетельство о рождении, школьный аттестат, свидетельства о браке и разводе. Местная полиция должна быть извещена обо всем этом. Суд тоже должен быть извещен на тот случай, если возникнут проблемы, потребующие его вмешательства. Профессиональный уровень специалистов в этих центрах облегчает подготовку всех нужных документов и изменения соответствующих в них записей, подтверждающих, что он или она принадлежит тому или иному полу.

Завершение исследований: успехи и сомнения

Транссексуалу, прошедшему тщательную проверку и лечение, однако продолжающему страдать от своей половой неопределенности, предлагается хирургическая операция, меняющая внешний вид половых органов. Значительные успехи достигнуты в трансформации мужчины в женщину, но гораздо меньше удачных превращений женщин в мужчин. Не все виды операций приемлемы для транссексуалов. Есть много случаев, когда человек имеет двуполую структуру гениталиев, например, рождаются дети либо неопределенного, либо гермафродического типа половых органов — в таких случаях хирургическая операция безусловно необходима, чтобы человек мог иметь определенный сексуальный облик. Знания, накопленные благодаря подобным операциям, способствовали развитию навыков, которые полезны и при сложных операциях для транссексуалов.

Иногда хирургическая операция осуществляется в несколько приемов. Мужчинам необходимо провести удаление мужских половых органов; их кожа используется для создания внутренних женских органов, при расположении их на достаточной глубине для дальнейшей половой жизни. Уретра сокращается и принимает положение как у женщин и т.д. Если операция проведена корректно, то она не должна нарушать способности к эротическим ощущениям. Хотя здесь возникают другие проблемы, но большинство мужчин-транссексуалов как правило бывают удовлетворены своей новой — женской генитальной структурой.

Женщины-транссексуалки, которые хотят быть похожими на настоящих мужчин, подвергаются более сложной операции — возникает проблема закрытия влагалища, создания мужского полового органа из ткани желудка и мышц бедра пациентки... в этой операции не достигнуто особое совершенство, искусственный орган ставит пациента в неловкое положение, когда ему бывает необходимо оголиться в присутствии нормальных мужчин.

Ограниченные данные о последующей жизни транссексуалов, перенесших операции по смене пола, свидетельствуют о том, что они в значительной степени удовлетворены своей новой половой жизнью. Многие хорошо адаптируются к новому полу. Вероятно, одним из самых чудесных результатов операции является то, что транссексуалы обоих полов могут жениться, притом и на таких, как они сами — то есть на перенесших операцию, и бывают довольны своей сексуальной жизнью... Многие из них сообщают, что их жизнь наполнена любовью.

Доктора и другие участники этой новой деятельности считают, что причина успеха в послеоперационной жизни заключается прежде всего в тщательном отборе больных. В опросе доктора Бенджамина (1966 год) участвовало более 50 человек, из них 17 ответов свидетельствовало о хорошей семейной жизни, 27 — удовлетворительных ответов и 5 — сомневающихся. Лишь один был неудовлетворен новой жизнью, и еще один не знал, что ответить.

Следующий опрос охватывал 74 человека, результаты опроса таковы: никто из пациентов «не страдал после операции» и никто не думал, что «операция была ошибкой». И, наконец, в третьем опросе участвовало 160 человек, его результаты таковы: только трое сожалели об операции: одна — по религиозным мотивам, другая сокрушалась, что пострадало ее общественное положение, а третья считала, что женщине будет труднее найти работу...

«Лет через 15 после операции... наши пациенты порой испытывают разочарование, — сказал доктор Чарльз Игленфельд, сотрудник доктора Бенджамина на симпозиуме в Стэнфордском университете. — Но в целом пациенты выглядят счастливее, лучше адаптируются социально, сексуально и профессионально, чем до операции». Однако доктор Игленфельд высказывает и опасение. По его мнению, вполне возможно, что «по мере старения эти пациенты будут испытывать и разочарование, и досаду...».

Недавно доктор Игленфельд сообщил, что провел пересадку сердца во время операции половых органов. «Нет такого психиатра, специалиста в данной области (и я в их числе), который стремился бы к риску», — сказал он корреспонденту газеты «Нэйшнел обсервер». Он приводил примеры из своего исследования, свидетельствующие о том, что все операции, которые производит хирург, не отвечают его главной задаче — ему даже трудно ее сформулировать... «Вполне возможно, что мы поверхностно лечим то, что лежит очень глубоко».

Одна из проблем послеоперационного лечения заключается в том, что большинство транссексуалов, перенесших операцию на половых органах, стремится вычеркнуть из памяти свое прошлое, все то, что о нем напоминает. Многие не хотят, чтобы люди знали об их беде, хотят, чтобы их воспринимали как обычных мужчин и женщин.

И все же в медицинской литературе порой встречаются описания трагических неудач, разочарований после операции. Некоторые мужчины-транссексуалы снова хотят вернуться к прежней мужской идентичности после того, как пожертвовали своими половыми органами. Нереалистичные мечты о пленительной жизни в образе очаровательной женщины могут привести и к трагическому финалу.

Где кроется причина транссексуализма?

Лечение транссексуалов в будущем зависит и от того, что станет известно о причинах возникновения транссексуализма. От этого зависит и разработка методов предотвращения самого заболевания.

Существует множество теорий относительно возникновения синдрома половой дисфории на биологической основе: в организме человека существует некая хромосомная или гормональная аномалия, возникшая, вероятно, еще в эмбриональном периоде или связанная с особенностями спермы в периоде до созревания яйца.

Психиатры придают большое значение отношению к ребенку в семье с самых первых дней его жизни. Родители передают свои установки ребенку, что также накладывает отпечаток на первые признаки половой идентичности ребенка. Транссексуализм некоторых мужчин может развиваться по той причине, что в самый ранний период своей жизни ребенок так тесно идентифицировал себя с матерью, что воспринимал себя как

ее морфологическая часть, и это могло зафиксироваться в его сознании так, что он и потом считал себя женщиной, а не мужчиной. Существует еще одна точка зрения, в соответствии с которой транссексуалы — это люди, наполовину мужского, наполовину — женского рода, при этом один из них всегда одерживает победу над другим.

Изучение поведения женоподобных мальчиков и мужеподобных девочек в самый ранний период проявления транссексуализма дает возможность понять это явление и помогает найти способ дальнейшего развития транссексуальности. Тот факт, что не все женоподобные мальчики и мужеподобные девочки становятся транссексуалами, едва ли можно объяснить результатами образования...

Вполне возможно, что когда-нибудь хирургия в подобных случаях будет выглядеть самым грубым способом снятия страданий. Но в настоящее время для тех немногих, кто так невыносимо страдает, что даже не хочет жить таким, каким есть, хирургическая операция — единственный выход».

Мы подошли к завершению книги, объединившей, притянувшей к себе немало разнообразных сюжетов об Эросе. Еще несколько слов, и мы поставим — не точку, нет! — скорее, многоточие... Ибо, конечно, любовь — упоительный миг. Но она и вечность, нечто постоянно длящееся, бегущее, перетекающее из века в век, из эпохи в эпоху. Разве можно ставить точку в размышлениях о ней?

Любовь неисчерпаема. Мы только прикоснулись к теме, рассказали, как проявляется эрос в разных культурах, сколь многолик он, как различны одухотворенная и темная страсти. Но мы, пожалуй, не успели рассказать о нюансах этого чувства, о том, как оно зарождается в каждом отдельном случае, кристаллизуется и угасает или, напротив, воскресает к новым радостям.

Зарождение любви, по Стендалю, первая кристаллизация. Мы счастливы, наделяя тысячью совершенств выбранный объект, в любви которого уверены. Мы с бесконечной радостью перебираем мысленно оттенки нашего блаженства. Порой преувеличивая великолепное достояние, упавшее к нам с небес. И это естественно, потому что природа повелевает нам наслаждаться и заставляет играть кровь от приумножения достоинств предмета нашей любви. Когда кристаллизация свершилась, мы упиваемся всякой новой гранью красоты, открываемой в любимом существе.

Что удивительнее всего в любовных отношениях? Первый шаг, необычность перемены, совершающейся в разуме человека. Но и при самой сильной страсти выпадают минуты, когда человеку вдруг кажется, что он больше не любит. Одним из самых неисчерпаемых источников любовных приключе-

ний являются такие мнимые вспышки. Они случаются и в чувственной любви.

Любовь — чудо цивилизации. Это опять-таки мысль Стендаля. У народов диких или слишком варварских мы находим только физическое ее выражение, притом весьма грубое. Стыдливость помогает любви, открывая простор воображению. Даже суровость любимого существа полна бесконечного очарования, которое мы не находим в самые счастливые минуты в других людях.

Мы не коснулись в этой книге ревности, стрелы которой — стрелы огненные. Но это уже иная страсть, и о ней мы скажем в другой раз.

Возможна ли любовь идеальная? Возвышающая личность, направленная на возлюбленного как на воплощение лучших человеческих качеств? Действительно ли любовь — искусство? Да, несомненно, ибо любовь — это действенная забота о жизни и развитии предмета наших чувств. Там, где нет действенной заботы, нет и любви. Искусство любить — ценнейшее из искусств, поскольку открывает человеку путь к свободе, то есть к цели существования.

Любовь — это соединение двух созданий человеческих, сохраняющих при этом свою уникальность. Парадоксально, но двое, сливаясь воедино и растворяясь друг в друге, остаются все-таки индивидуальными существами. И, любя безоговорочно, не проявляют равнодушия и ко всему мирозданию, иначе их чувство было бы не любовью, а всего лишь привязанностью, своеобразной формой эгоизма. Ведь каждый человек — целый мир, со всей гаммой чувств и страстей, и он вписывается в предназначенный ему отрезок времени, эмоционально и личностно определяя это время и суть чувства, которому посвящена эта книга, его всеобъемлющую духовную активность.



СОДЕРЖАНИЕ

ЭРОС

Художник Г. В. КУЛИКОВ

Редактор *И. А. СЕРГЕЕВА*
Художественный редактор *Т. А. СЕРЕБРЯКОВА*
Технический редактор *Н. Н. ТАЛЬКО*
Корректоры *С. Б. БЛАУШТЕЙН, Т. В. МАЛЫШЕВА*

Подписано в печать 04.03.91. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 22,56.
Тираж 50 000 экз. Цена 15 руб. Заказ № 1262.

Издание подготовлено к печати на персональных компьютерах. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель».
121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Выпущено Государственной ассоциацией предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛ»
101402, Москва, Петровка, 26
При участии редакционно-производственного агентства «Олимп»

Московская типография № 7
121019, Москва, пер. Аксакова, 13

ЭРОС. Философские маргиналии проф. П. С. Гуревича. — М.: ГА «АСПОЛ» · РИК «Милосердие» · Олимп, 1992. — 336 с.
ISBN—5—87056—006—3

Книга рассказывает о Любви с древнейших времен до наших дней. Сюжеты, вошедшие в нее, взяты из классических источников, из текстов эпохи Средневековья, из современной философской и научной литературы, из книг замечательных представителей русской и зарубежной культуры: Стефана Цвейга, Владимира Набокова, Стендаля, Дени Дидро, Николая Бердяева, Владимира Соловьева...

От пасторальной и галантной эпохи до «темных страстей» в стиле маркиза де Сада — таков диапазон «Эроса».

Э $\frac{4701000000-006}{669(01)-92}$ без объявл. ББК 84(0)

